

**Э. Хобсбаум**

# **Идеи и Национализм**

**После 1780 года**



**Эрик Хобсбаум**

# **Нации и национализм**

**после 1780 года**







*Предвыборный плакат, призывающий избирателей  
подать свои голоса за великую Германию. Апрель 1933*

**Издательство  
«АЛЕТЕЙЯ»  
Санкт-Петербург  
1998**



**Эрик Хобсбаум**

# **Нации и Национализм**

**после 1780 года**

Перевод с английского *А. А. Васильева*

Издательство  
«АЛЕТЕЙЯ»  
Санкт-Петербург  
1998



**ББК 13011(А.)**

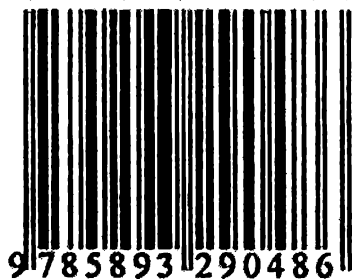
Эрик Хобсбаум — один из самых известных историков, культурологов и политических мыслителей наших дней. Его работы стали вехой в осмыслении современного мира. «Нации и национализм после 1780 г.» — это, быть может, самое актуальное исследование Э. Хобсбаума для российского читателя конца 90-х годов XX века. Взвешенные и тщательно обоснованные аргументы британского ученого дают исчерпывающую картину формирования как самого понятия «нация», так и процесса образования наций и государств.

На русский язык творчество Э. Хобсбаума переводится впервые.

Для самого широкого круга читателей.

*Данное издание выпущено в рамках программы Центрально-Европейского Университета «Translation Project» при поддержке Регионального издательского центра Института «Открытое Общество» (OSI — Budapest) и Института «Открытое общество. Фонд Содействия» (OSIAF — Moscow).*

ISBN-5-89329-048-8



© Издательство «Алетейя» (г. СПб) — 1998 г.

© Васильев А. А. — перевод с английского, 1998 г.



## Введение

Представим, что однажды, после ядерной войны, на нашу ставшую безжизненной планету прибывает некий историк-инопланетянин, чтобы выяснить причины катастрофы, зафиксированной приборами его галактики, на далекой крохотной планете. Он или, может быть, она — от умствований на предмет того, как размножаются обитатели иных миров, я воздержусь — обратится к земным архивам и книгохранилищам: они уцелели, ибо доведенное до совершенства ядерное оружие предназначалось прежде всего для уничтожения людей, а не имущества. Поработав известное время с уцелевшими материалами, наш наблюдатель заключит, что последние 200 лет истории человека на планете Земля останутся совершенно непонятными, если не разобраться прежде в смысле термина «нация» и его производных. Термин этот, надо полагать, обозначает нечто весьма существенное в человеческом бытии. Но что именно? Вот где загадка. Инопланетянин познакомится с книгой Уолтера Бэйджхота, который представил историю XIX века как процесс «образования наций», но при этом заметил со свойственным ему здравым смыслом: «До тех пор, пока нас о ней не спрашивают, мы понимаем, что это такое, но тотчас же это объяснить или определить мы не в состоянии».<sup>1</sup> Сказанное, может быть, и

---

<sup>1</sup> *Walter Bagehot. Physics and Politics. London, 1887. P. 20–21.*

верно для Бэйджхота или для нас с вами — но только не для историков-инопланетян, не обладающих тем человеческим опытом, который, кажется, и придает идее «нации» такую убедительность.

Благодаря литературе последних 15–20 лет сегодня, полагаю, было бы вполне возможно снабдить подобного историка кратким библиографическим списком, опираясь на который это существо неведомого нам пола и произвело бы желанный анализ. Подобный список явился бы дополнением к работе А. Д. Смита «Национализм: обзор основных тенденций и библиография», где содержатся ссылки на большинство публикаций в данной области, вышедших к 1973 году.<sup>1</sup> Это не значит, будто мы бы хотели рекомендовать читателю абсолютно все, написанное в более ранние времена. Из того, что относится к эпохе классического либерализма XIX века, в наш список попало бы весьма немногое — отчасти по причинам, которые мы поясним ниже, а отчасти потому, что тогда вообще чрезвычайно редко появлялись работы, выходившие за рамки упражнений в националистической и расистской риторике. К тому же самые ценные тексты эпохи — например, знаменитая лекция Эрнеста Ренана «Что такое нация?» или соответствующие места из «Размышлений о представительном правлении» Джона Стюарта Милля<sup>2</sup> — особой пространностью не отличались.

---

<sup>1</sup> A. D. Smith. *Nationalism, A Trend Report and Bibliography* в *Current Sociology*, XXI/3, The Hague and Paris, 1973. См. также библиографические обзоры в работах того же автора *Theories of Nationalism*. London, 2<sup>nd</sup> ed, 1983 и *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford, 1986. Для лиц, читающих по-английски, профессор Энтони Смит является в настоящее время важнейшим ориентиром в данной области.

<sup>2</sup> Ernest Renan. *Qu'est ce que c'est une nation?* // Conférence faite en Sorbonne le 11 mars 1882. Paris, 1882; John Stuart Mill. *Considerations on Representative Government*. London, 1861, chapter XVI.



В наш рекомендательный список вошла бы как исторически необходимая, так и факультативная литература, начиная с первой серьезной попытки подойти к данной теме с позиций беспристрастного анализа — я имею в виду весьма содержательные, хотя и не оцененные по достоинству дебаты марксистов Второго Интернационала по поводу того, что они называли «национальным вопросом». Мы еще увидим, почему лучшие умы международного социалистического движения — а ведь там были люди, по мощи своего интеллекта действительно выдающиеся — всерьез занимались этой проблемой. В этой связи достаточно упомянуть Каутского, Розу Люксембург, Отто Бауэра и Ленина.<sup>1</sup> Отсюда в наш список вошли бы, вероятно, некоторые работы Каутского и, несомненно, *Die Nationalitätenfrage* Отто Бауэра\*. В него, однако, нужно было бы внести и «Марксизм и национальный вопрос» Сталина — не столько ради весьма скромных, хотя совсем не заурядных теоретических достоинств этой работы (пусть даже и не вполне оригинальной), сколько ввиду ее последующего политического воздействия.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Полезным введением в предмет, которое включает в себя избранные тексты крупнейших марксистов эпохи, служит: *Georges Haupt, Michel Lowy and Claudie Weill. Les Marxistes et la question nationale 1848–1914. Paris, 1974.* Книга: *Otto Bauer. Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie. Vienna, 1907; (второе издание 1924 г. содержит новое и весьма ценное введение) по непонятным причинам, кажется, до сих пор так и не переведена на английский.* Недавний опыт анализа данной темы см. в: *Horace B. Davis. Toward a Marxist Theory of Nationalism. New York, 1978.*

\* Национальный вопрос (нем.). — *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Текст 1913 г. вместе с позднейшими работами опубликован в: *Joseph Stalin. Marxism and the National and Colonial Question. London, 1936.* Это издание имело широкий международный резонанс, особенно в колониальных и полуколониальных странах, причем не только в коммунистической среде.

Далее, в наш список, на мой взгляд, не стоило бы включать слишком многое из эпохи тех, кого называют «двумя отцами-основателями» академического изучения национализма после Первой мировой войны, — Карлтона Б. Хэйеса и Ганса Кона.<sup>1</sup> Вполне естественно, что данная проблема привлекала внимание исследователей в тот период, когда политическая карта Европы в первый и, как оказалось, в последний раз была перекроена по национальному принципу, а вновь возникшие движения за освобождение колоний и в защиту прав стран Третьего мира усвоили терминологию европейского национализма (по крайней мере, Ганс Кон уделил этим процессам пристальное внимание).<sup>2</sup> Совершенно очевидно и то, что написанные в этот период работы содержат обильные заимствования из более ранней литературы, что может избавить исследователя от чтения значительной части первоисточников. Однако в массе своей они устарели — и главным образом потому, что важнейшее открытие эпохи (предугаданное, между прочим, марксистами) для всех, кроме националистов, уже давно стало общим местом. Теперь мы понимаем — и не в последнюю очередь благодаря исследованиям эпохи Хэйеса — Кона, — что нации вовсе не являются, как полагал Бэйджхот, «столь же древними, как

---

<sup>1</sup> *Carleton B. Hayes. The Historical Evolution of Modern Nationalism. New York, 1931* и *Hans Kohn. The Idea of Nationalism. A Study in its Origin and Background. New York, 1944* содержат ценный исторический материал. Выражение «отцы-основатели» заимствовано из: *A. Kemiläinen. Nationalism. Problems Concerning the Word, the Concept and Classification. Jyväskylä, 1964*, серьезной работы по истории терминологии и понятийного аппарата национализма.

<sup>2</sup> См. его *History of Nationalism in the East. London, 1929*; *Nationalism and Imperialism in the Hither East. New York, 1932*.



и сама история». <sup>1</sup> Современный смысл данного слова возник не раньше XVIII века — или, самое большее, его нечетного предшественника.

В последующие десятилетия академическая литература по национализму умножилась, но особых успехов не достигла. Некоторые, пожалуй, сочтут важным вкладом в изучение проблемы работу Карла Дойча, подчеркнувшего роль социальной коммуникации в процессе становления наций; однако, на мой взгляд, наш список мог бы обойтись и без этого автора. <sup>2</sup>

Не вполне ясно, почему последние два десятилетия стали для литературы о нациях и национализме временем особой плодovitости; впрочем, вопрос этот актуален лишь для тех, кто действительно полагает, что такой расцвет имел место, — между тем подобный взгляд отнюдь не является общепринятым. (Данную проблему мы кратко рассмотрим в заключительной главе.) Как бы то ни было, автор настоящей книги считает, что оригинальных работ, освещающих вопрос о природе наций и национальных движений и об их роли в историческом развитии, в 1968–1988 гг. появилось больше, чем за любой предшествующий 40-летний период. В дальнейшем станет ясно, какие из них я нахожу особенно интересными, однако несколько ценных трудов стоит, пожалуй, отметить уже сейчас (в их число автор счел возможным включить только одно из собственных сочинений по данной теме). <sup>3</sup> Ниже-следующий краткий список может служить введени-

---

<sup>1</sup> *W. Bagehot. Physics and Politics*, P. 83.

<sup>2</sup> *Karl W. Deutsch. Nationalism and Social Communication. An Enquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge MA, 1953.*

<sup>3</sup> Кроме посвященных данной проблеме отдельных глав в книгах *The Age of Revolution 1789–1848* (1962), *The Age of Capital 1848–1875* (1975) и *The Age of Empire 1875–1914*

ем в предмет. Он выполнен в алфавитном порядке — за исключением выделенной особо работы Мирослава Хроча, открывшей новую эпоху в изучении состава национально-освободительных движений.

*Hroch, Miroslav. Social Preconditions of National Revival in Europe. Cambridge, 1985.*

Сюда вошли результаты двух работ, опубликованных автором в Праге в 1968 и 1971 гг.

*Anderson, Benedict. Imagined Communities. London, 1983.*

*Armstrong, J. Nations before Nationalism. Chapel Hill, 1982.*

*Breuilly, J. Nationalism and the State. Manchester, 1982.*

*Cole, John W. & Wolf, Eric R. The Hidden Frontier : Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. New York — London, 1974.*

*Fishman, J. (ed.) Language Problems of Developing Countries. New York, 1968.*

*Gellner, Ernest. Nations and Nationalism. Oxford, 1983.*

---

(1987), сюда относятся работы «The attitude of popular classes towards national movements for independence» (кельтские районы Великобритании) в *Commission Internationale d'Histoire des Mouvements Sociaux et Structures Sociales, Mouvements nationaux d'indépendance et classes populaires aux XIX<sup>e</sup> et XX<sup>e</sup> siècles en Occident et en Orient*, 2 vols. Paris, 1971, vol. 1, P. 34–44; «Some reflections on nationalism» в: *T. J. Nossiter, A. H. Hanson, Stein Rokkan (eds.). Imagination and Precision in the Social Sciences: Essays in Memory of Peter Nettl. London, 1972, P. 385–406*; Reflections on «The Break-Up of Britain» (*New Left Review*, 105, 1977); «What is the worker's country?» (гл. 4 моей книги *Worlds of Labour*, London, 1984); «Working-class internationalism» — в: *F. van Holthoon and Marcel van der Linden (eds.). Internationalism in the Labour Movement. Leiden—New York—Copenhagen—Cologne, 1988, P. 2–16.*



*Hobsbawm, E. J. & Ranger, Terence* (eds.) *The Invention of Tradition*. Cambridge, 1983.

*Smith, A. D.* *Theories of Nationalism* (2<sup>nd</sup> ed, London, 1983).

*Szücs, Jenő.* *Nation und Geschichte: Studien*. Budapest, 1981.

*Tilly, C.* (ed.) *The Formation of National States in Western Europe*. Princeton, 1975.

И наконец, я не могу не прибавить сюда блестящий очерк, написанный с позиции субъективного отождествления с «нацией», но в то же время — с исключительно ясным сознанием ее, нации, исторической обусловленности и изменчивости — *Gwyn, A. Williams*. *When was Wales?* в его кн.: *The Welsh in their History*. London — Canberra, 1982.

Указанная литература возвращается главным образом вокруг следующего вопроса: что такое нация (или данная конкретная нация)? Ибо главная особенность этого способа классификации человеческих групп такова: те, кто принадлежит к «нации», утверждают, что последняя представляет собой в известном смысле важнейшую коренную предпосылку социального бытия и даже индивидуальной идентификации ее членов — при этом, однако, совершенно невозможно указать сколько-нибудь удовлетворительный критерий, который позволил бы нам определить, какие именно из многочисленных человеческих сообществ должны носить ярлык «нации». Само по себе это не удивительно, ведь если мы считаем феномен «нации» недавним «пришельцем» в мире человеческой истории, то вполне естественно, что поначалу он встретится нам в виде, так сказать, отдельных разрозненных колоний, а не сплошной массы, заселившей обширные пространства земного шара. Но ведь проблема в том и заключается, что мы не способны растолковать наблюдателю, как *a priori* отличить нацию от других чело-

веческих сообществ и групп — подобно тому, как можем мы ему объяснить различие между мышью и ящерицей или между отдельными видами птиц. Если бы за нациями можно было наблюдать примерно так же, как и за птицами, занятие это не составило бы особого труда.

Попытки установить объективные критерии «статуса нации» или же объяснить, почему некоторые группы превратились в «нации», а другие — нет, предпринимались часто; они опирались либо на один критерий, например, язык или этническую принадлежность, либо на совокупность таких критериев, как язык, общая территория, общая история, культурные характеристики и т. п. Определение, данное Сталиным, является, вероятно, наиболее известным, но, безусловно, далеко не единственным подобным опытом.<sup>1</sup> Все эти попытки дать объективное определение нации оказывались безуспешными и по вполне очевидной причине: лишь некоторые из обширного класса соответствующих подобным определениям общностей можно причислить к «нациям» совершенно не задумываясь, а значит, всегда находятся исключения. Иными словами, либо феномены, формально подходящие под определение, «нациями», вне всяких сомнений, фактически не являются (еще не являются) или не обладают национальным самосознанием, либо бесспорные «нации» не соответствуют предложенному критерию или совокупности критериев. Да и может ли быть иначе, если учесть, что в жесткие рамки единообразия, всеобщности и постоянства мы пытаемся вогнать

---

<sup>1</sup> «Нация представляет собой исторически сложившуюся, устойчивую общность языка, территории, экономической жизни и духовного склада, проявившуюся в общности культуры». *Joseph Stalin. Marxism and the National and Colonial Question. P. 8.*

явление исторически новое, становящееся, изменчивое и даже в наше время распространенное далеко не всюду?

Более того, сами же критерии, используемые в подобных определениях — язык, этнические характеристики и все прочее, — являются, как мы убедимся в дальнейшем, весьма зыбкими, неустойчивыми и двусмысленными; и путешественнику, желающему определить свое местонахождение, они помогут не больше, чем очертания облаков по сравнению с четкими ориентирами на местности. Разумеется, по этой причине их чрезвычайно удобно использовать в пропагандистских лозунгах и политических программах — но отнюдь не в целях строгого описания. Характерный пример националистического применения подобных «объективных» критериев дает нам современная политическая жизнь Азии:

«Те жители Цейлона, которые говорят на тамильском, по всем основным критериям национальной общности составляют нацию, отличную от сингальской нации. Во-первых, они имеют особое историческое прошлое, связанное с Цейлоном и, по крайней мере, столь же древнее и славное, как и прошлое сингалцев (*sic*). Во-вторых, они образуют совершенно отличную от сингальской языковую общность, опирающуюся как на непревзойденное классическое наследие, так и на современную языковую эволюцию, благодаря которой тамильский язык полностью соответствует всем потребностям сегодняшней жизни. И наконец, в-третьих, тамилы компактно проживают в определенных районах».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Alankai Tamil Arasu Kadchi*. The case for a federal constitution for Ceylon. Colombo, 1951, цит. по: *Robert N. Kearney*. Ethnic conflict and the Tamil separatist movement in Sri Lanka // *Asian Survey*, 25, 9 September, 1985, P. 904.



Практическая цель этого пассажа вполне очевидна: опираясь на идеи тамильского национализма, обосновать претензии на автономию или независимость для региона, составляющего, как утверждается, «более одной трети острова» Шри Ланка. Все остальное в этом тексте — иллюзия, далекая от реальности. Он затушевывает тот факт, что зона обитания тамиллов состоит из двух географически изолированных областей, населенных тамилоязычными жителями разного происхождения (коренными цейлонцами и недавно прибывшими из Индии рабочими-иммигрантами соответственно). Не сказано здесь и о том, что в зоне сплошного расселения тамиллов есть районы, где до трети жителей составляют сингалы и до 41% те носители тамильского языка, которые отказались считать себя тамилами по национальности, предпочитая определение «мусульманин» («мавр»). В самом деле, даже если оставить в стороне центральный регион с его иммигрантами, вовсе не очевидно, что основная зона компактного проживания тамиллов может быть охарактеризована как «единое пространство» в каком-либо ином смысле, кроме чисто картографического: здесь есть области с явным преобладанием тамильского населения (от 71 до 95% — Баттикалса, Муллайтиву, Джаффна), но есть и такие районы, где жители, называющие себя тамилами, составляют 20 или 33% (Ампарал, Тринкомали). Фактически же на переговорах, положивших в 1987 году конец гражданской войне в Шри Ланке, это «единое пространство» было признано лишь в качестве откровенной политической уступки требованиям тамильских националистов. Далее, рассуждения о «языковой общности» скрывают, как мы убедились, тот неоспоримый факт, что автохтонные тамилы, иммигранты из Индии и «мавры» образуют однородное население (по крайней мере, сейчас) лишь

в лингвистическом смысле; впрочем, мы еще увидим, что даже в этом отношении их, вероятно, нельзя признать таковым. Что же касается «особого исторического прошлого», то эти слова звучат как почти бесспорный анахронизм, как утверждение, ничем не доказанное, или же неопределенное до полной потери какого-либо смысла. Нам, конечно, могут возразить, что откровенно пропагандистские лозунги не стоит анализировать так тщательно, как будто это серьезные социологические исследования, — дело, однако, в том, что отнесение практически любого сообщества к разряду «наций» на основе подобных, якобы «объективных» критериев, неизбежно вызовет сходные возражения, если статус «нации» не может быть установлен для данного сообщества на каких-то иных основаниях.

Но каковы же эти «иные основания»? Альтернативой «объективному» определению нации служит «субъективное» — как коллективное (в духе Ренана: «нация — это ежедневный плебисцит»), так и индивидуальное, в трактовке австро-марксистов, полагавших, что «национальность» может быть предметом произвольного выбора конкретной личности, где бы и в каком бы окружении последняя ни проживала.<sup>1</sup> В обоих случаях перед нами явная, хотя и по-разному осуществляемая попытка вырваться из жестких рамок априорного объективизма, приспособив понятие «нации» к территориям, где живут носители раз-

---

<sup>1</sup> Карл Реннер специально сравнивал национальную принадлежность человека с его принадлежностью к определенной религиозной конфессии, т. е. с тем статусом, который «лицо, достигшее совершеннолетия, избирает *de jure* свободно, а несовершеннолетние — через законных представителей, действующих от их имени». *Synopticus. Staat und Nation. Vienna, 1899, S. 7 ff.*

личных языков или иных «объективных» критериев, как это имело место во Франции и Габсбургской империи. В обоих случаях можно возразить: определение нации через самосознание ее членов тавтологично и способно послужить для нас лишь апостериорным руководством к пониманию того, что такое нация. К тому же оно может толкнуть опрометчивых людей к крайностям волюнтаризма, внушив им мысль, будто для создания или воссоздания нации не требуется ничего, кроме простой воли. Иначе говоря, если достаточное число жителей острова Уайт пожелает превратиться в «уайтскую нацию», таковая непременно возникнет.

Подобная установка действительно приводила к попыткам создания наций через [искусственное] стимулирование национальных чувств (особенно начиная с 1960-х годов) — и все же критические замечания по ее поводу мы не вправе относить к столь тонким и сведущим наблюдателям, какими были Отто Бауэр или Ренан, прекрасно понимавшим, что нации, помимо всего прочего, обладают еще и общими объективными характеристиками. Как бы то ни было, упорно настаивая на субъективном самоощущении или произвольном выборе как на ключевом критерии национальной принадлежности, мы незаметно приходим к тому, что все многообразие весьма сложных способов, посредством которых люди относят себя к различным группам (или изменяют однажды принятую самоидентификацию), мы ставим в зависимость от одного-единственного решения, а именно: выбора принадлежности к определенной «нации» или «национальности». В чисто политическом или административном смысле подобный выбор в наше время так или иначе делают все, кто живет в государствах, выдающих своим гражданам паспорта или включающих в переписи вопросы о

языке. Но даже сегодня человек, проживающий в Слоу, вполне способен сознавать себя в зависимости от обстоятельств, например, гражданином Великобритании или (встретившись с британскими гражданами иного цвета кожи) индийцем, или (при общении с другими индийцами) гуджартацем, или (столкнувшись с индуистами или мусульманами) джайнистом; членом какой-то касты, рода или же просто лицом, которое дома говорит не на хинди, а на гуджарати, — и это, разумеется, еще не все возможные варианты. И даже «национальность» нельзя свести к какому-то единственному — политическому, культурному или иному — измерению (если, конечно, не вынудит нас это сделать *force majeure* \* государственной машины). Человек может считать себя евреем, даже если он вполне чужд соответствующим традициям, языку, культуре, историческому опыту, не испытывает какой-либо внутренней близости и не имеет отношения к государству Израиль. Отсюда, однако, не следует, будто «нация» определяется исключительно субъективными критериями.

Таким образом, и субъективные, и объективные определения несовершенны и ставят нас в тупик. В любом случае самой разумной исходной установкой для исследователя является в данной области агностицизм, а потому мы не принимаем в нашей книге никакого априорного определения нации. Наша первоначальная рабочая гипотеза такова: всякое достаточно крупное человеческое сообщество, члены которого воспринимают себя как «нацию», будет рассматриваться в этом качестве и нами. Однако мы не сможем с достоверностью установить, действительно ли данное сообщество считает себя «нацией», если будем обращаться лишь

---

\* Чрезвычайные обстоятельства (фр.). — Прим. пер.



к мнению писателей, публицистов или вождей политических организаций, добивающихся для него подобного статуса. Факт появления у некоей «национальной идеи» группы активных сторонников не следует совершенно сбрасывать со счетов, и все же слово «нация» употребляется сегодня столь широко и беспорядочно, что использование националистической терминологии само по себе мало о чем говорит.

И тем не менее, приступая к анализу «национального вопроса», «разумнее всего начинать именно с понятия “нации” (т. е. с «национализма»), а не с той реальности, которую данное понятие представляет». Ведь «“нацию”, как ее воображают себе националистические движения, можно воспринять в замысле, в идее, тогда как “нацию” реальную — лишь *a posteriori*».<sup>1</sup> Так мы и поступаем в настоящей книге. В ней уделяется серьезное внимание переменам и трансформациям понятия «нации», в особенности тем, которые произошли во второй половине XIX века. Подобные понятия отнюдь не являются частью свободного потока философской мысли отдельного субъекта: они обусловлены историческими, социальными и местными обстоятельствами, в свете которых их и нужно объяснять.

В остальном же позицию автора можно свести к следующим основным положениям:

(1) Термин «национализм» я принимаю в том смысле, в каком его определил Гельнер, а именно как «принцип, согласно которому политические и национальные образования должны совпадать».<sup>2</sup> Со своей стороны, я

<sup>1</sup> E. J. Hobsbawm. Some reflections on nationalism. P. 387.

<sup>2</sup> Ernest Gellner. Nations and Nationalism. P. 1. Это, в основе своей политическое, определение принимают и некоторые другие авторы, например: John Breuilly. Nationalism and the State. P. 3.

бы добавил: данный принцип предполагает, что политический долг руританцев по отношению к государству, которое включает в свой состав руританскую нацию и служит ее представителем, выше всех прочих общественных обязанностей, а в экстремальных случаях (таких, например, как война) он должен подчинять себе любого рода обязанности. Этот признак отличает современный национализм от иных, менее требовательных форм национальной и групповой идентификации (с которыми мы также встретимся ниже).

(2) Подобно большинству серьезных исследователей, я не рассматриваю «нацию» ни как первичное, изначальное, ни как неизменное социальное образование: она всецело принадлежит к конкретному, по меркам истории недавнему периоду. Нация есть социальное образование лишь постольку, поскольку она связана с определенным типом современного территориального государства, с «нацией-государством», и рассуждать о нациях и национальностях вне этого контекста не имеет, на мой взгляд, никакого смысла. Кроме того, я, вслед за Гельнером, склонен подчеркивать ту роль, которую играют в процессе формирования наций искусственное конструирование, целенаправленное изобретение и социальная инженерия. «Нация как естественные, Богом установленные способы классификации людей, как некая исконная... политическая судьба — это миф; национализм, который превращает предшествующие культуры в нации, иногда сам изобретает подобные культуры, а порой полностью стирает следы прежних культур — это реальность».<sup>1</sup> Короче говоря, анализ национализма должен предшествовать анализу наций. Ведь государства и национальные движения не возникают из уже «готовых» наций — все происходит наоборот.

---

<sup>1</sup> E. Gellner. Nations and Nationalism. P. 48–49.

(3) «Национальный вопрос», как его называли старые марксисты, находится в точке пересечения политики, техники и социальных процессов. Нации существуют не только в качестве функции территориального государства особого типа (в самом общем смысле — гражданского государства Французской революции) или стремления к образованию такого; они обусловлены и вполне определенным этапом экономического и технического развития. Сегодня большинство ученых согласится с тем, что литературные национальные языки, как в письменной, так и в устной своей форме, не могут возникнуть до распространения книгопечатания, массовой грамотности, а следовательно, и всеобщего школьного обучения. Некоторые даже утверждают, что, например, разговорный итальянский — как язык, способный не только служить средством домашнего и личного общения, но и в полной мере выражать все, в чем нуждается XX век, — сегодня только еще создается, и стимулом к его формированию служат потребности программ национального телевидения.<sup>1</sup> А значит, нации и связанные с ними явления следует анализировать в русле политических, технических, административных, экономических и прочих условий и потребностей.

(4) Поэтому национальные феномены имеют, на мой взгляд, двойственный характер: в главном они конструируются «сверху», и все же их нельзя постигнуть вполне, если не подойти к ним «снизу», с точки зрения убеждений, предрассудков, надежд, потребностей, чаяний и интересов простого человека, которые вовсе не обязательно являются национальными, а тем более — националистическими по своей природе. И если я в

---

<sup>1</sup> *Antonio Sorella. La televisione e la lingua italiana // Trimestre. Periodico di Cultura, 14, 2-3-4, 1982. P. 291-300.*

чем-то существенном не согласен с работой Гельнера, так это в том, что излюбленная позиция ее автора, рассматривавшего прежде всего модернизацию, проводимую сверху, не позволила ему уделить должное внимание восприятию этих процессов снизу.

Подобный «взгляд снизу», т. е. восприятие нации не с точки зрения правительств или главных идеологов и активистов националистических (или не-националистических) движений, но глазами рядового человека, реального объекта их действий и пропагандистских усилий, уловить чрезвычайно сложно. К счастью, социальные историки постепенно учатся исследовать историю идей, мнений и настроений на сублитературном уровне, а потому сегодня мы уже в меньшей степени рискуем принять передовицы из специально подобранных газет за подлинное общественное мнение, как это обыкновенно случалось с прежними историками. С достоверностью мы знаем немного, однако следующие три обстоятельства вполне очевидны.

Во-первых, официальные идеологии государств и [националистических] движений не слишком помогают нам понять, что же в действительности думали даже самые лояльные граждане и верные сторонники. Во-вторых, — и это уже более конкретно — мы не вправе считать, будто для большинства людей национальная идентификация — если таковая существует — исключает или всякий раз (или вообще когда-либо) превосходит по своей значимости все прочие способы самоидентификации, присущие человеку в общественном состоянии. Фактически она всегда сочетается с иного рода идентификациями — даже там, где ее воспринимают как важнейшую. И наконец, в-третьих, национальная идентификация и все, что, как полагают, с ней связано, способны претерпевать изменения и сдвиги во времени, причем довольно резкие. На мой



взгляд, именно эта сфера национальной проблематики сегодня особенно нуждается в анализе и осмыслении.

(5) Развитие наций и национализма в таких давно сложившихся государствах, как Британия и Франция, не становилось предметом интенсивного изучения, хотя в последнее время эта тема начала вызывать интерес.<sup>1</sup> О наличии подобного пробела свидетельствует то равнодушие, которое проявляется в Британии к проблемам английского национализма (сам этот термин для многих звучит странно) по сравнению с вниманием, уделявшимся национализму шотландскому или валлийскому, не говоря уже об ирландском. В то же время в последние годы достигнуты значительные успехи в исследовании национальных движений, ставящих своей целью создание самостоятельных государств; ориентиром здесь служили новаторские работы Хроча, посвященные сравнительному исследованию национальных движений малых народов Европы. Два важных вывода из проведенного этим замечательным автором анализа отразились и в моих исследованиях. Во-первых, в различных социальных группах и в разных *регионах* «национальное самосознание» развивается неравномерно — этой региональной неоднородности и ее причинам прежде явно не уделялось достаточное внимание. Большинство исследователей, впрочем, согласится: какие бы социальные группы ни становились первыми проводниками «национальной идеи», народные массы — рабочие, крестьяне, прислуга —

---

<sup>1</sup> О масштабах подобной работы можно составить представление по: *Rafael Samuel* (ed.). *Patriotism. The Making and Unmaking of British National Identity*. 3 vols. London, 1989. В особенности плодотворны по своим идеям, на мой взгляд, исследования *Линды Колли* (*Linda Colley*), например: *Whose nation? Class and national consciousness in Britain 1750–1830*. *Past and Present*, 113, 1986. P. 96–117.

испытывают ее влияние в самую последнюю очередь. Во-вторых (это вытекает из первого), я заимствую у Хроча удачное деление истории национальных движений на три этапа. В Европе XIX века (для которой данная схема и разрабатывалась) фаза А относилась исключительно к сферам культуры, фольклора и литературы, а ее политическое и даже национальное воздействие было не более существенным, чем то влияние, которое труды членов Общества цыганского фольклора (не-цыган) оказывают на субъектов этих исследований. На фазе В мы уже находим группу пионеров и активных сторонников «национальной идеи», а также первые признаки собственно политической агитации в ее пользу. Работа Хроча и посвящена главным образом данной фазе — анализу происхождения, состава и распространения этого *minorité agissante*.<sup>\*</sup> Меня же в настоящей книге больше занимает фаза С: именно на этом этапе — и не прежде — националистические движения получают, по крайней мере до известной степени, ту массовую поддержку, на обладание которой сами националисты претендуют всегда. Переход от фазы В к фазе С — это, бесспорно, ключевой момент в истории национальных движений. Порой, как например, в Ирландии, он имеет место накануне создания национального государства, но, вероятно, гораздо чаще это происходит уже после — и в результате — появления собственного государства. В некоторых случаях (страны так называемого «Третьего мира») фаза С не наступает даже тогда.

В заключение я должен заметить, что ни один серьезный историк наций и национальных движений не может быть убежденным политическим националистом. В этом отношении его, самое большее, можно уподобить человеку, который верит в буквальный смысл

---

<sup>\*</sup> Активное меньшинство (фр.). — Прим. пер.

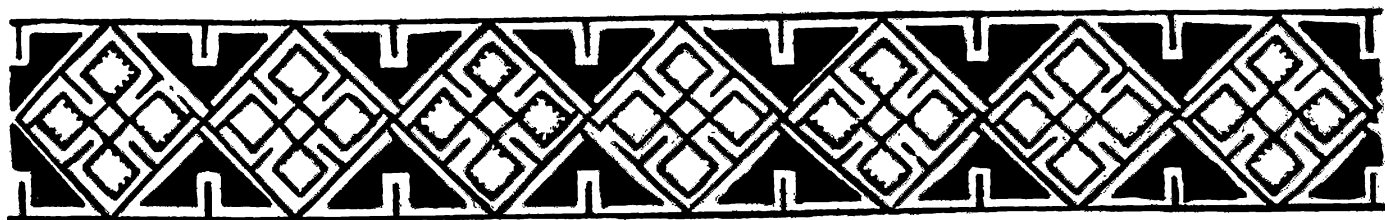
Священного Писания: внести собственный вклад в эволюционную теорию он, конечно, не способен, однако ничто ему не мешает содействовать прогрессу археологии или семитической филологии. Ведь национализм требует слишком твердой веры в то, что явно не соответствует действительности. Как заметил Ренан, «ошибочный взгляд на собственную историю — это один из факторов формирования нации».<sup>1</sup> Историк же профессионально обязан не совершать такой ошибки, по крайней мере, искренне к этому стремиться. Можно быть ирландцем, гордым своими ирландскими корнями, более того, можно с гордостью сознавать себя ирландцем-католиком или ольстерским ирландцем-протестантом, но при этом серьезно изучать ирландскую историю: сами по себе эти вещи не являются несовместимыми. Труднее, на мой взгляд, заниматься этой проблемой, если ты фений или оранжист — точно так же, как и сионисту трудно написать по-настоящему серьезную историю еврейского народа, если, конечно, историк не оставляет собственные убеждения за порогом кабинета или библиотеки. Некоторым историкам-националистам сделать этого так и не удалось. Мне же, когда я принимался за написание настоящей книги, к счастью, не нужно было освобождаться от каких-либо неисторических убеждений.

---

<sup>1</sup> *Ernest Renan. Qu'est que c'est une nation? P. 7-8; «L'oubli et je dirai même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la formation d'une nation et c'est ainsi que le progrès des études historiques est souvent pour la nationalité un danger».*\*\*

\*\* «Забвение, я бы даже сказал — искаженное восприятие собственной истории, — это существенный фактор в процессе формирования нации; вот почему прогресс исторических знаний нередко таит угрозу для национальности» (фр.). — *Прим. пер.*





## *Глава I*

# НАЦИЯ КАК НОВОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ. ОТ ЭПОХИ РЕВОЛЮЦИЙ К ЭРЕ ЛИБЕРАЛИЗМА

**В**ажнейшая особенность современной нации и всего с нею связанного — это историческая новизна. В наше время данное обстоятельство уже в достаточной степени осознано, и все же противоположный взгляд, согласно которому национальная идентификация есть нечто настолько исконное, первозданное и незыблемое, чтобы предшествовать самой истории, распространен чрезвычайно широко, а потому будет нелишним продемонстрировать, что относящаяся к данному предмету терминология возникла в Новое время. Специальный анализ различных изданий Словаря Испанской Королевской Академии<sup>1</sup> показал, что относящиеся к нации, государству и языку термины начинают употребляться в современном смысле не раньше издания

---

<sup>1</sup> *Lluís Garcia i Sevilla. Lengua, nació i estat al diccionari de la real academia espanyola // L'Avenç, 16 May, 1979. P. 50–55.*

1884 г. Здесь нам впервые сообщают, что *lengua nacional* \* это «официальный и литературный язык страны; язык, на котором в данной стране обычно говорят, чем он и отличается от диалектов и языков других наций». Статья «диалект» устанавливает аналогичные отношения между диалектом и национальным языком. Слово *nación* до 1884 обозначало попросту «совокупность жителей страны, провинции или королевства», а также «иностранца». Теперь же оно определяется как «государство или политическое образование, признающее высший центр в виде общего правительства», а также как «территория, которая охватывает данное государство и его жителей, рассматриваемая как целое». Таким образом, элемент общей верховной государственной власти оказывается ключевым для подобных определений, во всяком случае, в иберийском мире. *Nación* это «conjunto de los habitantes de un país regido por un mismo gobierno» (курсив мой. — Э. Х.). <sup>1</sup> *Nação*, согласно (современной) *Enciclopédia Brasileira Mérito*,<sup>2</sup> есть «совокупность граждан государства, живущих в условиях единого режима власти или общей системы правления и имеющих общие интересы; сообщество обитателей определенной территории, объединенных общими традициями, стремлениями и интересами и подчиняющихся центральной власти, которая обеспечивает единство данной группы (курсив мой. — Э. Х.); народ государства, за исключением правительства». Более того, окончательный вариант толкования слова «нация» появляется в Словаре Испанской Академии лишь в 1925 году: «совокупность лиц, которые имеют об-

---

\* «Национальный язык» (исп.). — Прим. пер.

<sup>1</sup> *Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana*. Barcelona, 1907–1934, vol. 37. P. 854–867, «nacion».

<sup>2</sup> *São Paulo-Rio-Porto Alegre* 1958–1964, vol. 13. P. 581.

щее этническое происхождение, говорят, как правило, на одном языке и обладают общими традициями».

Таким образом, *gobierno* (правительство) до 1884 г. не связывается специально с понятием *nación*. Ибо, как показывает нам этимология, первоначально слово «нация» означало род, или происхождение: «*naissance, extraction, rang*», согласно словарю старофранцузского языка, где приводится следующая цитата из Фруассара: «*je fus retourné au pays de ma nation en la conté de Hainault*» (Я вернулся в страну моего рождения/происхождения, в графство Эно).<sup>1</sup> В тех случаях, когда идея «происхождения» относилась к группе людей, этими людьми редко могли быть те, кто представлял государственную власть (если, конечно, речь не шла непосредственно о правителях или их родственниках). Тогда же, когда имелась в виду территория «происхождения», последняя лишь случайно могла совпасть с определенной политической единицей и никогда — с крупным государственным образованием. В Словаре Испанской Академии (1726 г., I-е изд.) слово *patria*, или более распространенное *tierra*, означает лишь «местность, селение или край, где человек родился», или «любой район, округ или провинцию, принадлежащие к какому-либо владению или государству». Именно этот узкий смысл слова *patria* — в современном испанском языке его приходится отличать от более широкого значения с помощью уточняющего оборота *patria chica*, «малая родина», — до XIX века был практически общепринятым (исключение составляли лица с классическим образованием, знакомые с историей Древнего Рима). Лишь в издании 1884 г. *tierra* начинает связываться с государством, и только в 1925 г. мы впервые слышим эмоциональ-

---

<sup>1</sup> L. Curne de Sainte Pelaye. Dictionnaire historique de l'ancien langage françois (Niort n. d.), 8 vols.; «nation».

ные нотки современного патриотизма, определяющего *patria* как «нашу собственную нацию во всем объеме ее материальной и духовной истории, прошлой, настоящей и будущей, которая составляет для патриота предмет любви и преданности». Испания XIX века, как принято считать, едва ли находилась в авангарде идейного прогресса, однако Кастилия — а мы говорим как раз о кастильском языке — стала одним из первых европейских королевств, для которого определение «нация-государство» не было бы совершенно безосновательным. Во всяком случае, можно усомниться в том, что Британия и Франция XVIII века представляли собой «нации-государства» в существенно отличном смысле. А потому развитие соответствующей испанской терминологии может представлять общий интерес.

Слово «нация», в романских языках исконное, для других языков было иностранным заимствованием, что позволяет нам с большей четкостью проследить оттенки и различия в его употреблении. Так, в верхне- и нижненемецком языках слово *Volk* (народ) явно имеет сейчас некоторые из тех же ассоциаций, что и слова, происходящие от «*patio*», однако процесс взаимодействия между ними был довольно сложным. Очевидно, что в средневековом верхненемецком термин *patie*, там, где он использовался — а по его латинскому происхождению нетрудно догадаться, что едва ли он употреблялся кем-либо, кроме людей образованных, коронованных особ, высшей знати и дворянства, — еще не имел коннотации *Volk*; этот смысловой оттенок появляется лишь в XVI веке. Как и в средневековом французском, *patie* обозначает происхождение и принадлежность к определенному роду (*Geschlecht*).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dr. E. Verwijs & Dr. J. Verdam. *Middelnederlandsch Woordenboek*, vol. 4. The Hague, 1899, col. 2078.



Как и повсюду, данное слово постепенно начинает обозначать более крупные замкнутые группы, например гильдии, цехи и прочие корпорации, которые требуется отличить от других групп, существующих рядом с ними. Отсюда — «нации» в значении «иностранцев» (как и в испанском); «нации» иноземных купцов («иностранные общины, преимущественно торговые, которые проживают в каком-то городе, пользуясь там известными привилегиями»);<sup>1</sup> общеизвестные «нации» студентов в старинных университетах, а также гораздо менее известный «полк люксембургской нации».<sup>2</sup> И все же представляется очевидным, что если в одних случаях в процессе эволюции данного слова на первый план могло выйти значение места или территории происхождения — *paus natal* из одного старого французского определения, которая с легкостью превращается, по крайней мере в сознании позднейших лексикографов, в эквивалент «провинции»,<sup>3</sup> — то в других определениях подчеркивались скорее общие родовые корни группы, и таким образом слово эволюционировало в сторону этнической характеристики, как например, у голландцев, где в качестве основного значения *natie* выделялось следующее: совокупность лиц, которые считаются принадлежащими к одному и тому же «*stam*».

В любом случае, проблема отношения к государству коренной «нации», даже в широком смысле, по-прежнему ставила в тупик, ибо представлялось очевидным, что в этническом, языковом и любом ином

<sup>1</sup> Woordenboek der Nederlandsche Taal, vol. 9. The Hague, 1913, cols. 1586–1590.

<sup>2</sup> Verwijs & Verdam. Middelnederlandsch Woordenboek, vol. 4.

<sup>3</sup> L. Huguet. Dictionnaire de la langue française du 16<sup>e</sup> siècle, vol. 5. Paris, 1961. P. 400.

смысле большинство сколько-нибудь крупных государств однородными не являются, а следовательно, не могут быть приравнены к нациям. В качестве характерной особенности французов и англичан голландский словарь специально указывает на то, что слово «нация» обозначает у них всех подданных государства, даже если они не говорят на одном языке.<sup>1</sup> Весьма поучительное рассуждение по поводу этой трудности дошло до нас из Германии XVIII века.<sup>2</sup> Для энциклопедиста Иоганна Генриха Цедлера в 1740 г. нация, в ее исконном, подлинном смысле, означала совокупность *Bürger* (ведя речь о Германии середины XVIII века, это слово лучше так и оставить непЕРЕВЕДЕННЫМ, во всей его пресловутой двусмысленности), связанных общими нравами, обычаями и законами. Отсюда следует, что слово «нация» не может обозначать территорию, поскольку в пределах одной, даже очень небольшой области могут жить представители разных наций (несхожих своим «образом жизни — *Lebensarten* — и обычаями»). Если бы нации обладали внутренней связью с территорией, то живущих в Германии вендов следовало бы называть немцами, каковыми они, что совершенно очевидно, не являются. Вполне естественно, что именно этот пример пришел на ум ученому саксонцу, хорошо знакомому с вендами, последней — и до сих пор сохранившейся — группой славянского населения в зоне распространения немецкого языка. (Приклеить к ней весьма сомнительный ярлык «национального меньшинства» он еще не догадался.) Словом, которое описывает совокупность представителей всех «наций», живущих в

<sup>1</sup> Woordenboek... (1913), col. 1588.

<sup>2</sup> John. Heinrich Zedler. Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste..., vol. 23. Leipzig — Halle, 1740, repr. Graz, 1961, cols. 901–903.

одной провинции или государстве, является для Цедлера *Volck*. И однако, вопреки терминологической точности, термин «Нация» часто используется на практике в том же смысле, что и «*Volck*», а иногда — как синоним «сословия» (*Stand, ordo*) или в значении любой иной ассоциации или общества (*Gesellschaft, societas*).

Каким бы ни было «собственное», «исконное» и какое угодно еще значение слова «нация», реальный смысл этого термина по-прежнему остается весьма далеким от современного. А значит, не вдаваясь в дальнейшие разыскания, мы вправе считать, что идея «нации» — в ее современном, преимущественно политическом смысле — по меркам истории еще весьма молода. Это обстоятельство подчеркивается в еще одном лингвистическом памятнике, «Новом словаре английского языка» (1908), где специально указано, что прежде данное слово обозначало главным образом этническую общность, тогда как новейшее его значение делает упор на «понятии политического единства и независимости».<sup>1</sup>

Учитывая историческую новизну современного понятия «нации», я склонен думать, что лучшим способом постичь ее сущность будет попытка последовать за теми, кто впервые стал систематически пользоваться данным понятием в своих рассуждениях на политические и социальные темы в эпоху революций, — и особенно начиная с 1830-х годов, в дискуссиях о «принципе национальности». Такой экскурс в *Begriffsgeschichte* \* дело непростое, отчасти потому, что люди того времени совершенно не следили за тем, как они употребляют подобные слова, а отчасти потому, что

<sup>1</sup> Oxford English Dictionary, vol. VII. Oxford, 1933. P. 30.

\* История понятий (нем.). — Прим. пер.

одно и то же слово одновременно означало или могло означать весьма различные вещи.

Основное — и чаще всего обсуждавшееся в литературе — значение слова «нация» было политическим. В духе идей Американской и Французской революций здесь ставился знак равенства между «народом» и государством; нам это уравнение хорошо знакомо по таким выражениям, как «нация-государство», «Объединенные Нации», а также по риторике президентов конца XX века. На раннем же этапе истории США авторы политических рассуждений стремились избегать нежелательных централистских и унитаристских выводов из термина «нация», противоречивших представлению о правах отдельных штатов, а потому предпочитали говорить о «народе», «союзе», «конфедерации», «нашей общей земле», «обществе» или «общем благе».<sup>1</sup> Ибо в эпоху революций важным элементом идеи нации было (или, по крайней мере, вскоре стало) представление о том, что нация должна быть, как выражались французы, «единой и неделимой».<sup>2</sup> «Нация» при таком понимании — это совокупность граждан, чей коллективный суверени-

---

<sup>1</sup> *John J. Lalor* (ed.). *Cyclopedia of Political Science*. New York, 1889, vol. II, P. 932, «Nation». Соответствующие статьи данной энциклопедии представляют собой в значительной степени перепечатку, точнее — перевод более ранних французских сочинений.

<sup>2</sup> «Из этого определения, очевидно, следует, что нация составляет одно неделимое целое и может образовать только одно государство» (*ibid.*, 923). Определение, из которого это «очевидно, следует», таково: «нация есть совокупность лиц, которые говорят на одном языке, имеют общие обычаи и обладают определенными духовными качествами, отличающими их от других подобного рода групп». Перед нами один из многочисленных образчиков искусства выдавать недоказанное за доказанное, к которому так часто прибегали в своей аргументации националисты.



тет образует государство, представляющее собой реализацию их политической воли. Ибо какими бы иными качествами ни обладала идея нации, элемент гражданственности, всеобщего волеизъявления и массового участия в делах государства присутствовал в ней всегда. Джон Стюарт Милль определял нацию не только через наличие национального чувства. Он также добавил, что члены национальности «хотят подчиняться единому правительству и желают, чтобы исключительно они сами или их часть составляли это правительство».<sup>1</sup> И нас несколько не удивляет тот характерный факт, что Милль, вместо того чтобы обсуждать идею национальности в какой-то особой работе, кратко касается ее в общем контексте небольшого трактата о Представительном правлении, или о демократии.

Уравнение нация = государство = народ (а тем более суверенный народ), несомненно, связывало нацию с определенной территорией, поскольку структура и понятие государства стали теперь по существу территориальными. Оно также предполагало многочисленность подобных наций-государств, что, разумеется, было необходимым следствием принципа народного самоопределения. Как гласила французская Декларация прав 1795 года, каждый народ, из какого бы числа членов он ни состоял и на какой бы территории ни жил, является независимым и суверенным. Этот суверенитет неотчуждаем.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> *J. S. Mill. Utilitarianism, Liberty and Representative Government. Everyman edition, London, 1910. P. 359–366.*

<sup>2</sup> Отметим, что в Декларациях прав 1789 и 1793 гг. право народов на самоопределение не упоминается. См.: *Lucien Jaume. Le Discours jacobin et la démocratie. Paris, 1989), Appendices 1–3. P. 407–114. См., однако, о подобных взглядах в 1793 г.: O. Dann & J. Dinwiddy (eds.). Nationalism in the Age of the French Revolution. London, 1988. P. 34.*

В Декларации, однако, почти не говорилось о том, что же такое «народ». А главное, не существовало логической связи между, с одной стороны, совокупностью граждан территориального государства, а с другой — определением «нации» по этническим, языковым и прочим критериям или по иным признакам, позволявшим говорить об общей принадлежности к известной группе. Высказывалось даже утверждение, что по этой причине Французская революция «была чужда и даже враждебна национальному принципу или национальному чувству».<sup>1</sup> Как тонко отметил упоминавшийся выше голландский лексикограф, в принципе язык не имел ничего общего с принадлежностью к английской или французской нации; французские же эксперты, как мы убедимся в дальнейшем, упорно отвергали всякую попытку превратить разговорный язык в критерий национальности: национальность, по их мнению, определялась исключительно французским гражданством. Язык, на котором говорили эльзасцы или гасконцы, не имел отношения к их статусу «членов французского народа».

В самом деле, если «нация» с народно-революционной точки зрения имела нечто общее, то этими объединяющими признаками не являлись в сколько-нибудь существенном смысле ни язык, ни этнос, ни какие-либо иные подобные характеристики, — хотя они и могли указывать на принадлежность к определенной группе. Как подчеркивал Пьер Вилар,<sup>2</sup> самым важным в низовом восприятии «нации-народа» было именно то, что подобная «нация» представляла общие интересы, общее благо в противовес частным выгодам и

<sup>1</sup> *Maurice Block. Nationalities, principle of* в *J. Lalor* (ed.). *Cyclopedia of Political Science*, vol. II. P. 939.

<sup>2</sup> *P. Vilar. Sobre los fundamentos de las estructuras nacionales* // *Historia*, 16/Extra V. Madrid, April 1978. P. 11.

личным привилегиям, — о чем свидетельствует и сам использовавшийся до 1800 г. термин «американцы», позволявший говорить о единстве нации, не прибегая к слову «нация». С этой революционно-демократической точки зрения этнические различия между группами были столь же второстепенными, как и в восприятии позднейших социалистов. Совершенно ясно, что отнюдь не этнические характеристики и не язык отличали американских колонистов от короля Георга и его сторонников, и напротив, Французская республика не видела никаких препятствий к тому, чтобы избрать в свой Конвент англо-американца Томаса Пэйна.

А значит, мы не вправе задним числом приписывать идее революционной «нации» что-либо похожее на позднейшие националистические программы образования национальных государств для сообществ, которые определялись согласно столь горячо обсуждавшимся теоретиками XIX века критериям — этнической принадлежности, общности языка, религии, территории и исторических воспоминаний (если вновь воспользоваться замечаниями Джона Стюарта Милля).<sup>1</sup> Ибо, как мы уже убедились, новую американскую нацию ни один из этих признаков не объединял — за исключением территории, не имевшей определенных границ, и, пожалуй, цвета кожи. Более того, с расширением в ходе революционных и наполеоновских войн границ французской «*grande nation*»,\* постепенно включившей в себя области, не являвшиеся французскими ни по одному из позднейших критериев национальности, становилось ясно, что отнюдь не эти критерии лежали в ее основе.

---

<sup>1</sup> *John Stuart Mill. Utilitarianism, Liberty and Representative Government. P. 359–366.*

\* Великая нация (фр.). — *Прим. пер.*

И однако здесь, несомненно, уже присутствовали различные элементы, служившие позднее определением для негосударственных национальностей: они либо ассоциировались с понятием революционной нации, либо создавали для нее сложности, и чем энергичнее настаивала нация на своем единстве и неделимости, тем больше проблем порождала ее внутренняя неоднородность. Едва ли стоит сомневаться в том, что француз, не говоривший по-французски, большинству якобинцев внушал подозрения и что на практике нередко использовались этнолингвистические критерии национальности. Выступая с докладом о языках в Комитете Общественной Безопасности, Барер говорил:

«Кто в департаментах Верхнего и Нижнего Рейна присоединился к предателям, дабы призвать австрийцев и пруссаков к вторжению в наши границы? — Это были жители сельских районов Эльзаса: ведь они говорят на одном языке с нашими врагами, а потому считают себя скорее их братьями и согражданами, нежели братьями и согражданами французов, которые обращаются к ним на другом языке и имеют другие обычаи».<sup>1</sup>

Действительно, начиная с эпохи революций, во Франции настойчиво подчеркивали важность языкового единообразия в государстве, в революционную же эпоху этот мотив был чем-то совершенно исключитель-

---

<sup>1</sup> Цит. по: *M. de Certeau, D. Julia & J. Revel. Une Politique de la langue La Révolution Française et les patois: L'enquête de l'Abbé Grégoire. Paris, 1975. P. 293.* О проблеме «Французская революция и национальный язык» в целом см. также: *Renée Balibar & Dominique Laporte. Le Français national. Politique et pratique de la langue nationale sous la Révolution. Paris, 1974.* Об особой проблеме Эльзаса см.: *E. Philipps. Les Luites linguistiques en Alsace jusqu'en 1945. Strasbourg, 1975* и *P. Lévy. Histoire linguistique d'Alsace et de Lorraine. 2 vols., Strasbourg, 1929.*

ным. К этой теме мы еще вернемся. Стоит, однако, подчеркнуть, что в теории человек становился «французом» отнюдь не потому, что французский уже являлся его родным языком — да и как это было возможно, если сама же Революция так долго и упорно доказывала, сколь немногие во Франции действительно на нем говорят? <sup>1</sup> — но потому, что выказывал готовность усвоить этот язык, наряду с прочими правами, законами и общими чертами свободного народа Франции. В известном смысле усвоение французского языка являлось одним из условий полноправного французского гражданства (а значит, и принадлежности к французской нации) — как знание английского языка стало одной из предпосылок гражданства американского. Чтобы продемонстрировать существенное различие между языковыми в своей основе определениями национальности и французским подходом к этой проблеме (даже в крайних его формах), стоит вспомнить рассуждения немецкого филолога Рихарда Бёка (с ним мы еще встретимся на Международном Статистическом Конгрессе, где он будет убеждать делегатов в необходимости включения вопросов о языке в официальные переписи, см. ниже с. 69–70). В весьма авторитетных работах этого ученого, опубликованных в 1860-х гг., доказывалось, что единственным подлинным критерием национальности является язык — аргумент, как нельзя лучше подходивший для немецкого национализма, поскольку немцы населяли обширные территории центральной и восточной Европы. В итоге Бёку пришлось причислить к немцам и евреев-ашкенази, так как идиш, вне всякого сомнения, представлял собой немецкий диалект, происходивший от средневекового немецкого языка. Сам Бёк прекрас-

---

<sup>1</sup> *De Certeau, Julia & Revel. Une Politique de la langue, passim.*



но понимал, что немецкие антисемиты едва ли согласятся с таким выводом. Однако французские революционеры, выступавшие за интеграцию евреев во французскую нацию, не нуждались бы в подобных аргументах и даже не сумели бы их воспринять. С их точки зрения, и еврей-сефарды, говорившие на средневековом испанском, и еврей-ашкенази, пользовавшиеся идишем, — а во Франции жили и те и другие, — в равной мере являлись французами, коль скоро они принимали условия французского гражданства, в число которых, естественно, входило и владение французским языком. И напротив, довод, будто Дрейфус не мог быть «настоящим» французом по причине своего еврейского происхождения, был истолкован — и вполне справедливо — как откровенный вызов самой сущности Французской революции и завещанному ей пониманию французской нации.

Тем не менее, именно в докладе Барера сходятся два совершенно различных понятия нации — революционно-демократическое и националистическое. Уравнение государство = нация = народ относилось к обоим, однако, по мнению националистов, реализующие данную формулу политические образования должны были корениться в уже существующей общности, четко отделяющей себя от иностранцев, тогда как с революционно-демократической точки зрения ключевым было понятие суверенного народа-гражданина, равного государству, который и составлял по отношению к остальному человечеству «нацию».<sup>1</sup> Не следует забывать и о том, что государствам, каким бы ни было их устройство, приходилось теперь принимать в рас-

<sup>1</sup> «По отношению к государству *граждане* образуют *народ*; по отношению к человечеству они составляют *нацию*», J. Hélie. Nation, definition of в *Lalor. Cyclopedia of Political Science*, vol. II. P. 923.

чет и собственных подданных, ибо в эпоху революций управлять последними стало труднее. Как выразился освободитель Греции Колокотронис, «народы уже не считали своих царей земными богами и не думали, будто им, народам, надлежит провозглашать благом все, что творят их владыки».<sup>1</sup> Божественный авторитет уже не защищал королей. Когда король Франции Карл X возобновил в 1825 г. старинную церемонию коронования в Реймсе, а с нею (весьма неохотно) обряд чудотворного исцеления, то в надежде излечиться от золотухи через прикосновение августейшей руки в Реймс явилось всего лишь 120 человек. На предыдущую коронацию в 1774 г. пришло с этой целью 2400 человек.<sup>2</sup> Мы увидим, что после 1870 г. процесс демократизации сделает проблему законности власти и мобилизации граждан весьма острой и насущной. Вполне очевидно, что для правительства важнейшим элементом формулы государство = нация = народ было государство.

Но какое же место занимало понятие нации, или, если угодно, формула государство = нация = народ (в любом порядке), в теоретических построениях тех, кто в конечном счете сильнее всего повлиял на Европу XIX века, а в особенности на ту эпоху ее истории, (1830–1880 гг.), когда «принцип национальности» самым решительным образом перекроил карту континента, а именно либеральную буржуазию и вышедших из ее среды интеллектуалов? При всем желании они бы не сумели уйти от размышлений на подобную тему, ибо в течение этих 50 лет баланс сил в Европе существенно изменился: образовались две новые великие державы, основанные на национальном принципе

---

<sup>1</sup> Цит. по: *E. J. Hobsbawm. The Age of Revolution 1789–1848. London, 1962. P. 91–92.*

<sup>2</sup> *Marc Bloch. Les Rois thaumaturges. Paris, 1924. P. 402–404.*

(Германия и Италия); фактический раздел по тому же принципу претерпела третья великая держава (Австро-Венгрия после Соглашения 1867 г.). Мы уже не говорим о признании нескольких менее крупных политических образований как независимых государств, претендовавших на новый статус, статус народов, обладающих национальным государством, — от Бельгии на западе до государств, выделившихся из Османской империи на юго-востоке (Греция, Сербия, Румыния, Болгария), или о двух национальных восстаниях поляков, добивавшихся воссоздания того, что они считали национальным государством. Впрочем, либеральные мыслители и не стремились уйти от этих проблем. Для Уолтера Бэйджхота, например, «становление наций» было существенным содержанием исторической эволюции в XIX веке.<sup>1</sup>

Но поскольку общее количество наций-государств в начале XIX века было невелико, перед пытливыми умами сам собою вставал вопрос: какие из населяющих Европу общностей и групп, по тем или иным основаниям причисляемых к «национальностям», обретут собственное государство (или какую-либо иную, менее высокую форму политического или административного признания), и, соответственно, какие из многочисленных существующих государств «пропитаются» свойством «нации». Разработка критериев потенциального или действительного статуса нации, в сущности, служила именно этой цели. Представлялось очевидным, что не все государства совпадут с нациями и не все нации — с государствами. Знаменитый вопрос Ренана, «почему Голландия является нацией, тогда как Ганновер или Великое Герцогство Пармское — нет?»<sup>2</sup> порожд-

<sup>1</sup> *Walter Bagehot. Physics and Politics. London, 1887, ch. III, IV on «Nation-making».*

<sup>2</sup> *Ernest Renan. What is a nation? в Alfred Zimmern (ed.), Modern Political Doctrines. Oxford, 1939. P. 192.*

дал один ряд требующих анализа проблем. С другой стороны, замечание Джона Стюарта Милля о том, что образование национального государства должно быть а) реально осуществимым и б) желанным для самой национальности, — вызывало к жизни вопросы иного рода. Это было верно даже для националистов середины викторианской эпохи, не питавших никаких сомнений относительно ответов на оба рода вопросов касательно их собственной национальности и того государства, в котором она воплощалась. Ведь на соответствующие притязания других национальностей и государств даже они смотрели куда менее благосклонно.

И однако, сделав еще один шаг вперед, мы обнаруживаем в либеральной теоретической мысли XIX века поразительно высокую долю интеллектуальной неопределенности. И объясняется она не столько неспособностью глубоко проанализировать национальную проблему, сколько предположением, что данная проблема, будучи вполне очевидной, и не нуждалась в четкой формулировке. А потому значительная доля теоретических построений, связанных с проблемой нации, возникает у либеральных авторов, так сказать, в стороне от главного направления их мысли. Более того, мы увидим, что основное ядро теоретической доктрины либерализма делало вообще чрезвычайно затруднительным национальный подход к «нации». В оставшейся части данной главы наша задача будет состоять в том, чтобы реконструировать стройную либерально-буржуазную теорию «нации» — так же примерно, как по сохранившимсякладам монет археологи восстанавливают маршруты торговых путей.

Начать же лучше всего, пожалуй, с наименее удачного понятия «нации» — в том смысле, в каком употребляет это слово в названии своей великой книги Адам Смит. Ведь в контексте его труда оно, безусловно, оз-

начает не более чем государство, обладающее известной территорией, или, по выражению Джона Рэя (проницательного шотландца, который в начале XIX века странствовал по Северной Америке и критиковал Смита), «всякую отдельную общину, общество, нацию, государство или народ (термины, которые в применении к нашему предмету можно считать синонимичными)».<sup>1</sup> И все же взгляды знаменитого либерального политэконома должны были иметь вес и для тех либеральных мыслителей среднего класса, которые рассматривали «нацию» с иной точки зрения, пусть даже сами они не были экономистами (как Джон Стюарт Милль) или редакторами «Экономиста» (как Уолтер Бэйджхот). И мы вправе задаться вопросом: было ли исторической случайностью то, что классическая эра фритредерского либерализма совпала с эпохой «становления наций», — процессом, который Бэйджхот считал для своего века решающим? Иными словами, имело ли национальное государство какую-либо особую функцию в процессе развития капитализма? Или по-другому: каким образом истолковывали подобную функцию либеральные теоретики того времени?

Ибо для историка вполне очевидно, что экономика, заключенная в границах государства, играла тогда огромную роль. Мировая экономика XIX века была не космополитической, но скорее *интернациональной*. Теоретики мировых систем пытались доказать, что капитализм как глобальная система зародился на одном конкретном континенте, а не где-либо в другом месте, именно благодаря политическому плюрализму Европы, которая не была ни «мировой империей», ни ее частью. Экономическое развитие протекало в XVI—

---

<sup>1</sup> *John Rae. The Sociological Theory of Capital, being a complete reprint of The New Principles of Political Economy by John Rae. 1834, (ed.) C. W. Mixter. New York, 1905. P. 26.*



XVIII веках на основе территориальных государств, каждое из которых как единое целое тяготело к политике меркантилизма. Еще более характерно то обстоятельство, что, рассуждая о мировом капитализме XIX-начала XX вв., мы оперируем терминами, указывающими на его национальные составляющие в развитом мире: британская промышленность, американская экономика, германский капитализм в отличие от французского и т. д. В течение долгого периода с XVIII века до первых лет после второй мировой войны в глобальной экономике находилось, кажется, немного места и возможностей для тех действительно экстерриториальных, транснациональных и промежуточных образований, которые сыграли столь важную роль в генезисе мировой капиталистической системы и которые сегодня вновь выходят на первый план, — например, независимых мини-государств, чье экономическое значение несоразмерно их малой величине и скромным ресурсам, вроде Любека и Гента в XIV веке или Сингапура и Гонконга в наши дни. В самом деле, оглядываясь на историю становления современной мировой экономики, мы видим, что та эпоха, в которую экономическое развитие было неотделимо от «национальных экономик» ряда развитых территориальных государств, находится между двумя по существу своему транснациональными периодами.

Для либеральных экономистов XIX века или для либералов, которые могли, возможно, согласиться с аргументами классической политэкономии, трудность состояла в том, что экономическое значение наций они могли признавать лишь на практике, но отнюдь не в теории. Ведь классическая политэкономия, и особенно теория Адама Смита, возникла в виде критики «системы меркантилизма», т. е. именно той системы, при которой каждое правительство относилось к национальной экономике как к единому комплексу, кото-

рый надлежит развивать посредством целенаправленных усилий государства. Теории свободной торговли и свободного рынка были направлены как раз против подобной концепции экономического развития нации, неплодотворность которой Смит, как ему представлялось, ясно доказал. А потому экономическая теория разрабатывалась исключительно на основе индивидуальных субъектов предпринимательской деятельности — отдельных лиц или фирм, — которые стремятся рациональным путем увеличить, насколько возможно, прибыли и уменьшить убытки, действуя при этом в условиях рынка, не имеющего определенных пространственных границ. В конечном счете последний превратился (и не мог не превратиться) в рынок мировой. Смит вовсе не отвергал определенных функций государства в экономике, поскольку речь шла об общей теории экономического роста, однако в данной теории не нашлось места ни для нации, ни для какого-либо иного коллектива, более крупного, чем фирма (последняя, кстати говоря, также не стала в ней предметом серьезного исследования).

Так, в разгар либеральной эры Дж. Э. Кэрнс даже потратил добрый десяток страниц на вполне серьезный анализ утверждения о том, что теория международной торговли как чего-то отличного от торговли между частными лицами совершенно бесполезна.<sup>1</sup> Он заключил, что хотя международные торговые связи, без сомнения, постепенно облегчаются, в этой области по-прежнему остается достаточно много трений, а значит, проблемы торговли между государствами все-таки заслуживают особого анализа. Немецкий либеральный экономист Шёнберг сомневался в том, что понятие «национального дохода» обладает каким-либо смыслом

---

<sup>1</sup> *J. E. Cairnes. Some Leading Principles of Political Economy Newly Expounded. London, 1874. P. 355–365.*

вообще. Те, кто удовлетворялся поверхностными представлениями, могли, вероятно, в это поверить, но они, пожалуй, заходили слишком далеко, пусть даже оценки «национального богатства» в денежном измерении и были ошибочными.<sup>1</sup> Эдвин Кэннан<sup>2</sup> полагал, что «нация» Адама Смита состояла лишь из совокупности лиц, живущих на территории одного государства, и задавался вопросом: не вытекает ли из этого факта, что через 100 лет все эти люди уже умрут, полная невозможность рассуждать о «нации» как о сущности, обладающей непрерывным существованием. В терминах политической экономики это означало убеждение в том, что лишь распределение ресурсов через рынок является оптимальным и что с помощью механизмов рынка интересы частных лиц автоматически преобразуются в интересы целого (если в подобных теориях вообще находилось место для такого понятия, как интересы сообщества в целом). И напротив, Джон Рэй написал в 1834 г. свою книгу именно для того, чтобы в полемике с Адамом Смитом доказать, что индивидуальные интересы не совпадают с национальными вполне, т. е. что принципы, управляющие индивидом в его погоне за личной выгодой, вовсе не ведут к неуклонному росту богатства нации.<sup>3</sup> Мы еще убедимся, что воззрения тех, кто не желал следовать за Смитом безоговорочно, нельзя было совершенно сбрасывать со счетов, и все же конкурировать с классической школой их экономические теории не могли. В «Словаре политической экономии» Пэлгрейва термин «нацио-

---

<sup>1</sup> *Dr. Gustav Schönberg* (ed.). *Handbuch der politischen Oekonomie*, Bd. I. Tübingen, 1882. S. 158 ff.

<sup>2</sup> *Edwin Cannan*. *History of the Theories of Production and Distribution in English Political Economy from 1776 to 1848*. London, 1894. P. 10 ff.

<sup>3</sup> *Rae*. *The Sociological Theory of Capital*.

нальная экономика» появляется лишь в связи с немецкими экономическими теориями, а из аналогичного французского труда 1890-х гг. сам термин «нация» совершенно исчезает.<sup>1</sup>

И все-таки даже самым ортодоксальным из экономистов классической школы приходилось иметь дело с понятием национальной экономики. При вступлении в должность профессора политической экономии в Коллеж де Франс сен-симонист Мишель Шевалье каким-то извиняющимся или даже полуироническим тоном объявил в своей лекции:

«Нам велено заниматься общими интересами человечества и не воспрещено исследовать особенное состояние того общества, в котором мы живем».<sup>2</sup>

Или, как скажет лорд Роббинс, и опять же в связи с теориями классических политэкономов, «не похоже, чтобы они шли дальше анализа преимуществ национального государства как критерия экономической политики; еще менее были они готовы рассматривать возможность распада государственных уз».<sup>3</sup> Короче говоря, они не могли, да и не хотели, отходить от понятия «нации», признаки прогресса которой Портер с удовлетворением выискивал уже в 1835 г., ибо, полагал он, стоит «ясно определить те средства, с помощью которых какое-либо сообщество добивается превосходства над прочими нациями». Едва ли требуется

<sup>1</sup> Nouveau Dictionnaire d'Economie Politique, (ed.) Léon Say and Joseph Chailley. Paris, 1892.

<sup>2</sup> Michel Chevalier. Cours d'economie politique fait au Collège de France, vol. I. Paris, 1855. P. 43. Впервые эта лекция была прочитана в 1841 г.

<sup>3</sup> L. Robbins. The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy. 2<sup>nd</sup> ed. London, 1977. P. 9–10. Следует, однако, сделать исключение для действительно глобальных теорий Бентама.

уточнять, что под «каким-либо сообществом» он разумел «свое собственное».<sup>1</sup>

В самом деле, как можно было отрицать экономические функции и даже преимущества национального государства? Существование государств с монополией денежного обращения, общественными финансами, а следовательно, централизованной фискальной политикой представляло собой бесспорный факт. Эти виды экономической деятельности не мог упразднить никто — даже тот, кто хотел бы уничтожить отрицательные стороны их влияния на экономику. Более того, даже крайние сторонники экономической свободы признавали вместе с Молинали, что «деление человечества на самостоятельные нации — феномен, в основе своей экономический».<sup>2</sup> Ведь в конце концов именно государство (а в послереволюционную эпоху — нация-государство) гарантировало охрану собственности и соблюдение договоров, и, как сказал Ж. Б. Сэй, не питавший, как известно, особых симпатий к экономической деятельности государства, «ни одна нация не достигала благосостояния иначе как под властью твердого правительства».<sup>3</sup> К тому же с помощью либеральной политической экономии функции правительства можно было рационально обосновать в терминах свободной конкуренции. Молинали, к примеру, доказывал, что «дробление человечества на отдельные нации полезно и выгодно, поскольку стимулирует

---

<sup>1</sup> *George Richardson Porter*. The progress of the Nation, in its various social and economic relations, from the beginning of the nineteenth century to the present time, 2 pts. London, 1836, Preface.

<sup>2</sup> *Молинали* в *Dictionnaire d'economie politique* (Paris, 1854), repr. in: *Lalor*. Cyclopedia of Political Science, vol. II. P. 957: «Nations in political economy».

<sup>3</sup> *Ibid.* P. 958–959.



чрезвычайно действенный принцип экономического соревнования».<sup>1</sup> В поддержку этого тезиса он ссылался на Всемирную выставку 1851 г. Впрочем, роль государства в экономическом развитии признавалась и без подобных оправданий. Ж. Б. Сэй, усматривавший между нацией и ее соседями не больше различия, чем между соседними провинциями, тем не менее обвинял Францию — т. е. французское государство и правительство — в пренебрежении развитием внутренних ресурсов в силу чрезмерной увлеченности иностранными завоеваниями. В общем, ни один экономист, даже самый радикальный либерал, не мог не замечать или не учитывать фактор национальной экономики. Все дело в том, что либеральные экономисты не любили о ней говорить или же не знали толком, как это делать.

Однако для тех стран, которые развивали собственную экономику в соперничестве с превосходящей экономикой Британии, теория свободной торговли Адама Смита представлялась менее привлекательной. В этих странах не было недостатка в людях, охотно рассуждавших о национальной экономике как о едином целом. Мы уже упоминали о незамеченном в свое время канадце шотландского происхождения Джоне Рэе. Он выдвигал теории, предвосхищавшие, на наш взгляд, политику поощрения импорта технологий и уменьшения зависимости от ввоза товаров, рекомендованную «Экономической Комиссией ООН для стран Латинской Америки» в 1950-е гг. Знаменитый федералист Александр Гамильтон еще более явным образом связывал в одно целое нацию, государство и экономику, используя это единство для доказательства необходимости сильного национального правительства, за которое он выступал в полемике с политиками, проти-

---

<sup>1</sup> Ibid. P. 957.

вившимися подобной централизации. Перечень «важнейших общенациональных мероприятий» Гамильтона, изложенный автором статьи «Нация» из более позднего американского справочника, касается исключительно экономики: организация национального банка, национальная ответственность за долги отдельных штатов, создание института национального долга, защита отечественного производителя посредством высоких тарифов, обязательные акцизные сборы.<sup>1</sup> Возможно, все эти меры, как предполагает восхищенный автор статьи, действительно «имели своей целью развитие зародыша нации»; возможно, впрочем, что Гамильтон (как это было свойственно другим федералистам, которые больше рассуждали не о нации, а о собственно экономических материях) чувствовал, что нация позаботится о себе сама, если только федеральное правительство позаботится об условиях экономического развития, — в любом случае понятие нации предполагало национальную экономику и ее систематическое поощрение и опеку со стороны государства, что в XIX столетии означало политику протекционизма.

В целом же американские исследователи экономического развития были в XIX веке слишком посредственными мыслителями, чтобы извлечь из политики Гамильтона сколько-нибудь существенные теоретические выводы (подобные попытки предпринимались бес-талантным Кэри и некоторыми другими).<sup>2</sup> Тем не менее, соответствующие выводы, ясные и красноречивые, были сделаны немецкими экономистами во главе с Фридрихом Листом. Идеи Листа, которого, безусловно, вдохновляла деятельность Гамильтона, сфор-

---

<sup>1</sup> Ibid. P. 933.

<sup>2</sup> Cf. J. Schumpeter. History of Economic Analysis. Oxford, 1954. P. 515–516.

мировались в 1820-е годы во время его пребывания в США, где он принимал активное участие в общенациональных дискуссиях по экономическим вопросам.<sup>1</sup> Задача экономики — которую немцы с тех пор чаще именовали не «политической экономией», а «национальной экономикой» (*Nationalökonomie*) или «народным хозяйством» (*Volkswirtschaft*) — заключалась, по мнению Листа, в том, чтобы «довести до конца экономическое развитие нации и подготовить ее к вступлению во всемирное общество будущего».<sup>2</sup> Едва ли стоит указывать, что подобное развитие должно было принять форму капиталистической индустриализации, которую решительно осуществляет сильная и энергичная буржуазия.

Однако, с нашей точки зрения, у Листа и у позднейшей «исторической школы» немецких экономистов, вдохновлявшихся его идеями (как это делали и экономические националисты других стран, вроде Артура Гриффита из Ирландии),<sup>3</sup> самым интересным было то, что они четко сформулировали характерную особенность «либеральной» теории нации, что до них во внимание не принималось: чтобы образовать устойчивое и способное к развитию целое, нация должна обладать достаточными размерами. Если же она не

---

<sup>1</sup> Он написал работу: *Outline of American Political Economy*. Philadelphia, 1827, где уже предвосхищались его позднейшие взгляды. О деятельности Листа в Америке см.: *W. Notz. Friedrich List in Amerika // Weltwirtschaftliches Archiv*, 29, 1925. S. 199–265 и *Bd. 22, 1925. S. 154–182*, а также: *Frederick List in America // American Economic Review*, 16, 1926. P. 249–265.

<sup>2</sup> *Friedrich List. The National System of Political Economy*. London, 1885. P. 174.

<sup>3</sup> Удачное резюме его взглядов см. у: *E. Strauss. Irish Nationalism and British Democracy*. London, 1951. P. 218–220.

достигает этого «порога», то для нее не существует исторического оправдания. Все это казалось слишком очевидным, чтобы требовать особых доказательств, и потому редко обсуждалось. Так, *Dictionnaire politique* Гарнье-Паже (1843) попросту находил «нелепым» то, что Бельгия и Португалия представляют собой независимые государства, поскольку они явным образом слишком малы.<sup>1</sup> Джон Стюарт Милль оправдывал вполне очевидный национализм ирландцев тем, что они в конце концов «достаточно многочисленны, чтобы образовать крупную национальность».<sup>2</sup> Другие с этим не соглашались, в том числе Мадзини и Кавур, хотя последние и были горячими поборниками национального принципа. И даже *Новый Словарь Английского Языка* определял слово «нация» не так, как это стало привычным в Британии после Дж. Ст. Милля, а как «значительную совокупность лиц», которая удовлетворяет необходимым требованиям (курсив наш. — Э. Х.).<sup>3</sup>

Итак, Лист недвусмысленно заявляет, что «непременными условиями существования нормальной нации являются многочисленное население и обширная территория, обладающая разнообразными ресурсами... Нация же с ограниченным населением и небольшой территорией, тем более если она говорит на языке, отличном от языков других наций, может иметь лишь весьма бедную литературу, а ее учреждения, призванные поощрять развитие наук и искусств, окажутся

---

<sup>1</sup> *Elias Reghault*. Статья «Nation» в: *Dictionnaire politique*, с предисловием Garnier-Pagès. Paris, 1842. P. 623–625. «N'y-a-t-il pas quelque chose de dérisoire d'appeler la Belgique une nation?»

<sup>2</sup> *Considerations on Representative Government* в: *Utilitarianism*. P. 365.

<sup>3</sup> *Oxford English Dictionary*, VII. P. 30.

неспособными эту задачу выполнить. Маленькое государство никогда не сумеет довести до полного совершенства различные отрасли производства».<sup>1</sup>

История Англии и Франции, считал профессор Густав Кон, доказала экономические преимущества крупных государств (*Grossstaaten*). Разумеется, подобные преимущества уступают выгодам единой всемирной экономики, — но, к сожалению, единое мировое сообщество пока еще недостижимо. Между тем «все, к чему стремится весь род людской... уже сейчас (*zunächst einmal*) достигнуто значительной его частью, т. е. 30–60 млн. человек». А значит, «будущее цивилизованного мира в течение долгого времени будет связано с созданием крупных государств (*Grossstaatenbildung*)».<sup>2</sup> Попутно отметим неизменное предположение (к нему мы вернемся ниже): нация как форма организации уступает по своему совершенству лишь всемирному сообществу.

С подобной теорией соглашались почти все серьезные исследователи данной проблемы, пусть даже они и не формулировали ее с такой же определенностью, как немцы, имевшие к тому некоторые исторические основания; и из этой теории вытекали два следствия.

Во-первых, «принцип национальности» применялся на практике лишь к достаточно многочисленным народам. Отсюда тот поразительный и иначе не объяснимый факт, что Мадзини, поборник данного принципа, не предусматривал независимости для Ирландии. Что же касается народностей еще более мелких — сицилийцев, бретонцев, валлийцев, — то их притязания считались еще менее серьезными. В самом деле, слово *Kleinstaaterei* (система мелких государств) име-

<sup>1</sup> Ibid. P.175–176.

<sup>2</sup> *Gustav Cohn. Grundlegung der Nationaloekonomie, Bd. I. Stuttgart, 1885. S. 447–449.*



ло смысл явно уничижительный; против этой системы и выступали немецкие националисты. А слово «балканизация», порожденное разделом территорий, прежде входивших в состав Турецкой империи, на несколько маленьких независимых государств, до сих пор сохраняет негативный смысл. Оба эти термина принадлежали к лексикону политических оскорблений. Подобный «принцип порога» (или «принцип минимальной достаточности») превосходно иллюстрирует карта будущей Европы наций, составленная в 1857 г. самим Мадзини: она охватывает не более дюжины государств и федераций, из которых лишь одно (разумеется, Италия) безусловно не было бы причислено к многонациональным по позднейшим критериям.<sup>1</sup> «Принцип национальности» в интерпретации президента Вильсона, оказавший решающее влияние на заключенные после Первой мировой войны договоры, имел своим следствием Европу двадцати шести — или даже двадцати семи государств, если прибавить вскоре образованное Ирландское свободное государство. Я лишь добавлю к сказанному, что недавнее исследование регионалистских движений в Западной Европе насчитывает таковых сорок два,<sup>2</sup> ясно демонстрируя, что может случиться, если «принцип порога» будет отброшен совершенно.

Важно, однако, подчеркнуть, что в классическую эпоху либерального национализма никому и в голову не приходило от него отказываться. Право на самоопределение применялось лишь к тем нациям, которые считались жизнеспособными культурно и экономически (как бы ни истолковывали эту «жизнеспособность»

---

<sup>1</sup> См. *Denis Mack* (ed.). *Il Risorgimento*. Bari, 1968. P. 422.

<sup>2</sup> *Jochen Blaschke* (ed.). *Handbuch der westeuropäischen Regionalbewegungen*. Frankfurt, 1980.

конкретно). И в этом смысле понятие о национальном самоопределении у Мадзини и Милля коренным образом отличалось от трактовки президента Вильсона. Причины подобного изменения мы рассмотрим ниже, но уже здесь стоит отметить *en passant*,\* что «принцип порога» не был отброшен вполне даже в эпоху Вильсона. Между двумя мировыми войнами существование Люксембурга и Лихтенштейна по-прежнему вызывало легкое недоумение, как бы ни были эти государства милы сердцам филателистов. Никого не радовало существование вольного города Данцига: недовольны были не только два соседних государства, каждое из которых стремилось включить его в свой состав, но и все те, кто понимал, что город-государство уже не может быть жизнеспособным в XX веке, словно в эпоху Ганзейского союза. А жители «схвостья» прежней Австрии почти единодушно желали присоединения к Германии: они попросту не верили, что такое маленькое государство, как их собственное, может быть экономически жизнеспособным («*lebensfähig*»). Лишь после 1945 г. и даже позднее — в эпоху деколонизации, был открыт путь в сообщество наций таким государственным образованиям, как Доминика, Мальдивские острова или Андорра.

Второе следствие состояло в том, что образование наций неизбежно мыслилось в виде процесса территориального расширения. Это было еще одно объяснение аномальности ирландского случая (как и всякого иного чисто сепаратистского национализма). В теории, как мы видели, признавалось, что социальная эволюция увеличивает размеры социальных единиц: от семьи и племени — к округу и кантону, от местного уровня — к региональному, национальному и в конечном счете — к мировому. А следовательно, нации

---

\* Мимоходом, попутно (фр.). — Прим. пер.

соответствовали общему направлению исторического развития только если они (при прочих равных условиях) расширяли масштабы человеческого общества.

«Если бы нашу теорию нужно было изложить в форме краткого тезиса, то мы бы, пожалуй, выразились так: вообще говоря, принцип национальности является приемлемым тогда, когда он способствует объединению разрозненных групп населения в компактное целое, и, соответственно, неприемлемым, если он приводит к разделу государства».<sup>1</sup>

На практике же это означало предположение, что национальные движения будут движениями за национальное *объединение* или расширение. Таким образом, все немцы и итальянцы мечтали объединиться в одном государстве, как это сделали все греки. Сербь должны были слиться с хорватами в единой Югославии (для которой никаких исторических прецедентов вообще не существовало); тех же, кто стремился к еще более широкому союзу, преследовала химера Балканской Федерации, которая до конца Второй мировой войны оставалась целью коммунистических движений. Чехи должны были слиться со словаками, поляки — объединиться с литовцами и русинами (впрочем, до разделов Польши эти народы действительно составляли одно крупное государство); молдавские румыны — с румынами валахскими и трансильванскими и так далее. Это явно противоречило тому определению нации, которое основывалось на принципе этноса, языка и общей истории, — но, как мы убедились, для либеральной теории становления наций подобные критерии не являлись решающими. Во всяком случае, никто и никогда не отрицал реальную многонациональность, многоязычие и полиэтничность самых ста-

---

<sup>1</sup> *Maurice Block* в *Lalor. Cyclopedia of Political Science*, vol. II. P. 941.

рых и совершенно бесспорных наций-государств, т. е. Британии, Франции и Испании.

То обстоятельство, что «нации-государства» будут в национальном отношении гетерогенными, принималось с тем большей легкостью, что в Европе и значительной части остального мира существовало много таких территорий, где различные национальности смешались столь явным образом, что чисто пространственное их разделение представлялось делом совершенно нереальным. Это стало основой для некоторых позднейших интерпретаций проблемы национальности, например, теории австро-марксизма, связывавшей национальность не с территорией, но с народом. И не случайно подобная инициатива в рамках Австрийской социал-демократической партии исходила главным образом от словенцев, обитавших на территории, где словенские и немецкие поселения (существовавшие часто в виде анклавов, зажатых другими анклавами или пограничными областями с неопределенными или изменчивыми национальными характеристиками) было особенно трудно отделить друг от друга.<sup>1</sup> И все же национальная гетерогенность наций-государств принималась прежде всего потому, что казалось самоочевидным: небольшие, а в особенности — небольшие и отсталые национальности могут только выиграть, слившись с более крупными нациями и через их посредство содействуя общему прогрессу человечества. «Опыт доказывает, — говорит Милль, четко выражая единое мнение здравомыслящих наблюдателей, — что одна национальность может слиться с другой и пол-

---

<sup>1</sup> Об участии Этбина Кристана в работе съезда в Брюнне (Брно), на котором была создана национальная программа, см.: *Georges Haupt, Michel Lowy & Claudie Weill. Les Marxistes et la question nationale 1848-1914. Paris, 1937. P. 204-207.*

ностью в ней раствориться». Для народов отсталых и слаборазвитых это будет немалой удачей:

«Никто не скажет, что для бретонца или баска из французской Наварры было бы менее полезным... стать членом французской нации, допущенным на равных основаниях с другими ко всем правам и преимуществам французского гражданства... нежели уныло прозябать среди родных скал в виде полудикого пережитка прошлого, который вращается в пределах своего убогого умственного кругозора, не принимая участия в мировых событиях и не испытывая к ним интереса. То же самое относится к валлийцу или к шотландскому горцу как членам нации британской».<sup>1</sup>

Коль скоро допускалось, что независимая, или «подлинная», нация должна представлять собой нацию жизнеспособную (согласно принятым тогда критериям), то отсюда также следовало, что некоторые из более мелких языков и народностей обречены на полное исчезновение. Фридрих Энгельс подвергался резкой критике как «великогерманский шовинист» за то, что он предсказывал исчезновение чехов как народа и делал нелестные замечания касательно будущего многих других народов.<sup>2</sup> В самом деле, он гордился своей национальностью и был склонен ставить собственный народ выше прочих во всем — за исключением революционной традиции. Нет также ни малейших сомнений в том, что в суждении о чехах и некоторых других народах он грубо заблуждался. И все же критика его принципиальной установки — которую разделяли все беспристрастные мыслители XIX века —

---

<sup>1</sup> *Mill. Utilitarianism, Liberty and Representative Government.* P. 363–364.

<sup>2</sup> *Cf. Roman Rosdolsky. Friedrich Engels und das Problem der «geschichtslosen Völker» //Archiv für Sozialgeschichte, 4/1964. S. 87–282.*



была бы явным анахронизмом. *Некоторые* народы и языки не имеют собственного будущего — с этим тогда соглашались все, даже те, кто ни в теории, ни на практике не питал к национально-освободительным движениям никакой вражды.

И в этой всеобщей позиции не было ничего шовинистического. Она не предполагала какой-либо враждебности к языкам и культуре этих «коллективных жертв закона прогресса» (как их могли бы тогда называть). Напротив, там, где превосходство основной национальности и государственного языка сомнению не подвергалось, преобладающая нация могла даже заботливо лелеять и поощрять внутри государства диалекты и мелкие языки, равно как фольклорные и исторические традиции более мелких общностей, входивших в его состав, — хотя бы в качестве свидетельства разнообразия цветов на его многонациональной палитре. Более того, небольшие народности и даже нации-государства, видевшие в своем присоединении к более крупным нациям нечто положительное, — или, если угодно, принимавшие законы прогресса, — вовсе не усматривали непримиримых различий между микро- и макрокультурой и даже соглашались избавиться от того, что не поддавалось адаптации к требованиям современности. Именно шотландцы, а не англичане, изобрели после Унии 1707 г. понятие «северного британца».<sup>1</sup> А в Уэльсе XIX века именно носители и поборники валлийского языка сомневались в том, что их собственный язык — столь могущественное и яркое средство выражения и орган религии и поэзии — способен служить универсальным языком культуры XIX века; иначе говоря, они принимали необходимость и выгоды

---

<sup>1</sup> См. Linda Colley. Whose nation? Class and national consciousness in Britain 1750–1830 // Past and Present, 113, 1986. P. 96–117.

двуязычия.<sup>1</sup> Разумеется, они были в курсе перспектив общебританской карьеры, которые открывались для валлийцев, владеющих английским языком, но это несколько не ослабляло их эмоциональных связей с древней традицией. Подобная связь очевидна даже у тех, кто смирился с неизбежным исчезновением валлийского, как например, преп. Гриффитс из Dissenting College в Брекноке, который просил лишь об одном — чтобы люди не вторгались в естественный ход вещей:

«Пусть же его [валлийского языка] кончина будет мирной, благородной и достойной. Как бы ни были мы привязаны к этому языку, немногие из нас пожелают отсрочить его легкую и безболезненную смерть. Однако нет такой жертвы, какую сочли бы мы чрезмерной ради того, чтобы предотвратить его убийство».<sup>2</sup>

Сорок лет спустя другой представитель малой национальности, социалистический теоретик Карл Каутский (чех по происхождению), рассуждал столь же покорным, но отнюдь не равнодушным тоном:

«Национальные языки будут все более и более ограничиваться в своем употреблении домашним кругом, и даже там в них будут видеть полученную в наследство от предков старую мебель — нечто такое, к чему относятся с почтением, пусть даже оно и не приносит особой практической пользы».<sup>3</sup>

Но это были проблемы небольших национальностей, чье самостоятельное будущее представлялось сомнительным. Что же касается англичан, то они, гор-

---

<sup>1</sup> *Ieuan Gwynedd Jones. Language and community in nineteenth-century Wales* в кн.: *David Smith (ed.). A People and a Proletariat: Essays in the History of Wales 1780–1980*. London, 1980. P. 41–71.

<sup>2</sup> *Inquiry on Education in Wales, Parliamentary Paper, 1847, XXVII, part II (Report on the Counties of Brecknock, Cardigan and Radnor)*. P. 67.

<sup>3</sup> *Haupt, Lowy & Weill. Les Marxistes*. P. 122.

дясь доморощенной «экзотикой» Британских островов, едва ли всерьез задумывались о тревогах шотландцев или валлийцев. И действительно, театральные «ирландцы» вскоре обнаружили: те, кто благоволит мелким национальностям, не оспаривающим главенство крупной, делают это тем охотнее, чем менее эти национальности похожи в своем поведении на англичан, чем грубее и откровеннее изображают они свой ирландский или шотландский «характер». Точно так же и пангерманские националисты поощряли литературное творчество на нижненемецком и фризском диалектах, поскольку их роль свелась к невинной функции придатков, а не соперников верхненемецкого; а итальянские националисты гордились произведениями Белли и Гольдони и песнями на неаполитанском диалекте. И франкофонная Бельгия не возражала против того, что некоторые бельгийцы говорят и пишут по-фламандски. Как раз *Flamingants* \* и сопротивлялись влиянию французского. Иногда, правда, бывали случаи, когда основная нация, или *Staatsvolk*, активно пыталась вытеснить мелкие языки и культуры, — но вплоть до конца XIX века за пределами Франции подобное происходило нечасто.

Таким образом, некоторым народам или национальностям никогда не суждено было превратиться в полноценные нации. Другие уже достигли или должны были достигнуть статуса полноправной нации. Но какие из них имели будущее, а какие — нет? Споры о характерных признаках национальности — территориальных, лингвистических, этнических — не слишком способствовали решению вопроса. «Принцип порога» оказывался, естественно, более полезным, но даже он, как мы убедились, не являлся решающим: ведь существовали совершенно бесспорные «нации»

---

\* Сторонники фламандского движения в Бельгии (нидерланд.). — *Прим. пер.*

весьма скромных размеров, не говоря уже о национальных движениях вроде ирландского, чьи возможности образовать жизнеспособное национальное государство оценивались по-разному. Прямой смысл ренановского вопроса о Ганновере и Великом герцогстве Пармском заключался в сопоставлении их не с *какими угодно* нациями, но с нациями-государствами столь же скромных размеров — Нидерландами и Швейцарией. В дальнейшем мы увидим, что появление серьезных национальных движений, опирающихся на массовую поддержку, потребует существенного пересмотра прежних подходов — однако в эпоху классического либерализма лишь немногие из этих движений (за пределами Османской империи) добивались признания в качестве независимых государств как чего-то отличного от разнообразных форм автономии. Ирландский случай и в этом смысле стал — как обычно — аномалией, по крайней мере, с появлением «фениев», добивавшихся создания Ирландской республики, которая не могла не быть независимой от Британии.

На практике же существовало только три критерия, позволявших с уверенностью причислять данный народ к «нациям», — при том обязательном условии, что он достаточно велик, чтобы преодолеть «порог». Первый критерий — историческая связь народа с современным государством или с государством, имевшим довольно продолжительное и недавнее существование в прошлом. А потому существование английского или французского народов-наций, (велико) русского или польского народов не вызывало больших споров, как не было за пределами Испании сомнений относительно испанской нации, обладающей четкими национальными признаками.<sup>1</sup> Ибо, если учесть отожд-

---

<sup>1</sup> Культурные, языковые и политические различия между народами королевств Арагона и Кастилии были вполне

дествление нации с государством, то для иностранцев было вполне естественным предполагать, что единственным народом в стране является самый крупный, — привычка, до сих пор раздражающая шотландцев.

Вторым критерием было существование давно и прочно утвердившейся культурной элиты, обладающей письменным национальным языком — литературным и административным. Именно это было основой притязаний на статус нации со стороны немцев и итальянцев, хотя указанные народы не имели единого государства, с которым могли бы себя отождествить. А потому в обоих случаях национальная идентификация была по своему характеру преимущественно лингвистической, пусть даже национальный язык использовало в повседневном обиходе лишь незначительное меньшинство (для Италии на момент объединения его определяли в 2,5%),<sup>1</sup> тогда как остальные говорили на различных диалектах и часто не понимали друг друга.<sup>2</sup>

Третьим критерием — к несчастью, приходится сказать и об этом — являлась уже доказанная на практике способность к завоеваниям. Фридрих Лист прекрасно понимал: быть имперским народом — вот что лучше всего остального заставляет население осознать свое коллективное единство как таковое. Кроме того, завоевание представляло собой для XIX века доказательство успешной эволюции данного социального вида.

---

очевидными внутри самой Испании, а тем более — в Испанской империи, в которую Арагон не входил.

<sup>1</sup> *Tullio de Mauro. Storia linguistica dell'Italia unita. Bari, 1963. P. 41.*

<sup>2</sup> «Obwohl sie alle in einem Reich "Deutscher Nation" nebeneinander lebten, darf nichts darüber hinwegtäuschen, dass ihnen sogar die gemeinsame Umgangssprache fehlte» Hans-Ulrich Wehler, *Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Bd. I. Munich, 1987. S. 50.*

Других кандидатов на статус нации не исключали априори — но и никаких априорных аргументов в их пользу не существовало. Самым надежным положением для них была, вероятно, принадлежность к такому политическому образованию, которое по стандартам либерализма XIX века причисляли к отжившим, устаревшим и обреченным на смерть законами исторического прогресса. Самым бесспорным эволюционным «ископаемым» такого рода была Османская империя — но также и империя Габсбургов, как это становилось все более очевидным.

Таковы были представления о нации и национальном государстве идеологов эпохи торжествующего буржуазного либерализма (примерно с 1830 до 1880 г.). В либеральную идеологию они входили по двум причинам. Во-первых, потому, что становление наций представляло собой, несомненно, особый этап эволюции человечества, его прогрессивного развития от малых групп к более крупным, от семьи и племени — к области, нации и в конечном счете к грядущему объединенному миру, в котором, если сослаться на довольно поверхностное, а потому типичное мнение Дж. Л. Дикинсона, «национальные барьеры, характерные для младенческого возраста человечества, растают и совершенно исчезнут под яркими лучами науки и искусства».<sup>1</sup>

Предполагалось, что этот мир будет объединен даже лингвистически. О едином мировом языке (сосуществующем, разумеется, с национальными языками, низведенными, правда, до сентиментальной роли местных диалектов) задумывались и президент Улисс С. Грант,

---

<sup>1</sup> B. Porter. Critics of Empire. British Radical Attitudes to Colonialism in Africa, 1895–1914. London, 1968. P. 331, где цитируется: G. Lowes Dickinson. A Modern Symposium. 1908.



и Карл Каутский.<sup>1</sup> Теперь мы знаем, что подобные прогнозы не были вполне беспочвенными. Попытки создания искусственных мировых языков, предпринимавшиеся с 1880-х гг. (вслед за изобретением телеграфного и сигнального кодов в 1870-е гг.), действительно оказались безуспешными, пусть даже один из них, эсперанто, до сих пор сохраняется в узких кружках энтузиастов и под покровительством некоторых режимов — покровительством, обусловленным принципами социалистического интернационализма того периода. Зато разумный скепсис Каутского по отношению к подобным попыткам и его предсказание о том, что один из основных государственных языков превратится *de facto* в язык мировой, оказались вполне справедливыми. Этим международным языком стал английский, хотя он скорее дополняет, а не заменяет собой языки национальные.

Итак, в свете либеральной идеологии нация (т. е. жизнеспособная крупная нация) представляла собой определенный этап эволюционного развития, достигнутый человечеством в середине XIX века. А потому обратной стороной медали «нация как порождение прогресса» была — вполне логическим образом — ассимиляция мелких сообществ и народов более крупными. Это не предполагало непременно отказ от прежних привязанностей и чувств, хотя, разумеется, подобное не исключалось. Географически и социально подвижные группы, которым не о чем было жалеть и не на что оглядываться в собственном прошлом, были к этому вполне готовы. В особенности это относилось ко многим евреям среднего класса, жившим в тех государствах, где ассимиляция предполагала полное равенство в правах (ведь Париж «стоил мессы» не только

<sup>1</sup> Соответствующее место из инаугурационной речи президента Гранта см. в: *E. J. Hobsbawm. The Age of Capital 1848–1875. London, 1975, эпиграфы к гл. 3.*

по мнению Генриха IV) — пока они не стали обнаруживать с конца XIX столетия, что их безусловная готовность к ассимиляции сама по себе может быть недостаточной, если ассимилирующая нация не готова вполне принять в свое лоно ассимилируемых. С другой стороны, нужно помнить, что США вовсе не были единственным государством, свободно предоставлявшим членство в «нации» всякому, кто только пожелает в нее влиться, и что «нации» допускали открытый доступ с большей готовностью, чем классы. Поколения, жившие до 1914 года, изобиловали «великодержавными» шовинистами, чьи отцы, не говоря уже о матерях, даже не владели языком того народа, который стал «избранным» для их сыновей, и чьи имена, славянские или мадьяризированные немецкие или славянские, свидетельствовали об этом выборе. Выгоды ассимиляции могли быть весьма существенными.

Но понятие современной нации входило в либеральную идеологию также и иным путем. С остатками великих либеральных лозунгов прошлого оно соединялось скорее через долгую и устойчивую ассоциацию, нежели через логически необходимую связь: как «свобода» и «равенство» — с «братством». Иначе говоря, нация как таковая представляла собой исторически новую реальность, поэтому консерваторы и традиционалисты ее не принимали, а для их оппонентов она была чем-то привлекательным. Ассоциацию между двумя направлениями мысли можно проиллюстрировать на примере типичного пангерманиста из Австрии, который родился в Моравии, зоне острых национальных конфликтов. Арнольд Пихлер,<sup>1</sup> служивший

---

<sup>1</sup> *Franz Pichler. Polizeihofrat P. Ein treuer Diener seines ungetreuen Staates. Wiener Polizeidienst 1901–1938. Vienna, 1984.* За это указание я выражаю благодарность Клеменсу Геллеру.

в венской полиции с неизменной преданностью, которую не сумели поколебать все политические трансформации 1901–1938 гг., был тогда, а в известном смысле остался на всю жизнь страстным немецким националистом, антисемитом и врагом чехов, хотя он и возражал против отправки всех без исключения евреев в концентрационные лагеря, как того желали другие антисемиты.<sup>1</sup> В то же время он был убежденным антиклерикалом и даже либералом в политике; во всяком случае, сотрудничал в самых либеральных венских газетах Первой республики. Национализм и евгенические аргументы сочетаются в его писаниях с восторгами по поводу индустриальной революции и — что еще удивительнее — по поводу создания в результате этой революции сообщества «граждан мира (Weltbürger)... которое... будучи чуждым местечковому провинциализму и узкому горизонту церковной колокольни» открывает весь мир для тех, кто прежде томился в своем глухом захолустье.<sup>2</sup>

Такова была теория «нации» и «национализма» в представлении либеральных мыслителей эпохи расцвета буржуазного либерализма, совпавшего также с тем периодом, когда «принцип национальности» впервые стал важной темой международной политики. Мы увидим, что в одном существенном отношении она отличалась от принципа самоопределения наций президента Вильсона (в теории его разделял и Ленин), принципа, который с конца прошлого века и вплоть до наших дней оказывает решающее влияние на дискуссии по этим вопросам. Либеральная теория допускала исключения. В этом смысле она отличалась также и от радикально-демократических взглядов, выраженных в цитированной выше Декларации прав человека эпохи

---

<sup>1</sup> Ibid. S. 19.

<sup>2</sup> Ibid. S. 30.

Французской революции, которая недвусмысленно отвергала «принцип порога». На практике, однако, маленькие народы обычно не могли реализовать гарантированные им права на самоопределение и образование суверенных государств: тому противодействовали более крупные и хищные соседи, да и среди самих этих народов сторонники принципов 1795 года были, как правило, весьма немногочисленны. Вспомним хотя бы (консервативные) свободные горные кантоны Швейцарии, которые наверняка приходили на ум читателям Руссо, составлявшим в ту пору Декларации прав человека. Время левого автономизма или движений за независимость для подобных сообществ еще не наступило.

С точки зрения либерализма — и не только либерализма, как показывает пример Маркса и Энгельса, — положительная роль нации заключалась в том, что она представляла собой этап в историческом развитии человеческого общества, а основанием для создания конкретного национального государства служило его соответствие историческому прогрессу или способность — ясно доказанная — этому прогрессу содействовать, независимо от субъективных чувств представителей данной национальности или личных симпатий исследователя.<sup>1</sup> Несмотря на всеобщее буржуазное восхищение шотландскими горцами, государственного

---

<sup>1</sup> Ср. Фридрих Энгельс, письмо к Бернштейну, 22–25 февраля 1882 г. (*Werke*, vol. 35. P. 278 ff.), о балканских славянах: «Если бы даже эти люди обладали такими же достоинствами, как воспетые Вальтером Скоттом шотландские горцы, тоже, впрочем, злейшие грабители скота, мы все-таки могли бы судить только лишь те *методы*, которые применяет для расправы с ними современное общество. Будь мы у кормила власти, мы тоже должны были бы положить конец укоренившимся у этих молодцов стародавним традициям разбоя».

статуса для них не требовал, насколько мне известно, ни один автор — даже из числа сентименталистов, оплакивавших крах попыток реставрации Стюартов при Веселом принце Чарли, главной опорой которого были кланы горной Шотландии.

Коль скоро единственным исторически оправданным национализмом был тот, который соответствовал ходу прогресса, т. е. скорее расширял, нежели ограничивал сферу действия человеческих обществ, экономик и культур, то каким же образом могли себя защитить в подавляющем большинстве случаев малые народы, языки и традиции, если не через консервативное по своей природе сопротивление железной поступи истории? Малые народы, языки и культуры вписывались в прогресс лишь постольку, поскольку принимали подчиненный статус по отношению к какой-то более крупной общности или же отступали с поля битвы, чтобы превратиться в хранилище ностальгических чувств — короче говоря, принимали статус ветхой домашней мебели, назначенный им Каутским. И, разумеется, некоторым казалось, что многие малые общности и культуры уже принимают подобный статус. Так почему же — мог бы спросить образованный наблюдатель-либерал, — почему же носители гаэльского языка должны вести себя иначе, чем те, кто говорит на нортумберлендском диалекте? Что же им мешает стать двуязычными? Английские авторы, писавшие на диалектах, избирали диалект не *в пику* литературному общенациональному языку, но ясно понимая, что и тот и другой имеют свою ценность и свое особое место и назначение. Если же с течением времени местный диалект отступит перед национальным языком или совершенно угаснет, как это уже произошло с некоторыми мелкими кельтскими языками (на корнуоллском языке и на языке жителей острова Мэн

перестали говорить в XVIII веке), то процесс этот, несомненно, следует считать прискорбным — но, вероятно, неизбежным. Их смерть не останется неоплаканной, и все же то поколение, которое придумало слово «фольклор» и разработало его концепцию, умело отличить живое настоящее от пережитков прошлого.

А значит, чтобы уловить, чем же была «нация» для эпохи классического либерализма, следует помнить, что понятие «становления наций» — при всей важности этого процесса для истории XIX века — относилось лишь к некоторым нациям. Требование обращаться к «принципу национальности» также не являлось повсеместным. И как международная проблема, и как вопрос внутренней политики, принцип этот затрагивал ограниченное число народов и регионов — даже в пределах многонациональных и полиэтнических государств, вроде Габсбургской империи, где он уже явно доминировал в политической жизни. Не будет преувеличением сказать, что после 1871 года мало кто ожидал каких-либо новых существенных перемен на политической карте Европы (медленно распадавшуюся Османскую империю мы здесь оставляем в стороне) и видел какие-либо национальные проблемы, способные их породить (кроме вечного «польского вопроса»). В самом деле, вне Балкан единственным изменением политической карты Европы в период между образованием Германской империи и Первой мировой войной стало отделение Норвегии от Швеции. Более того, после эпохи национальных волнений 1848–1867 гг. можно было предполагать, что даже в Австро-Венгрии страсти со временем улягутся. Во всяком случае, именно на это рассчитывали чиновники Габсбургской империи, когда согласились (весьма неохотно) с резолюцией Международного Статистического Конгресса в Петербурге (1873) о включении вопроса о



языке в будущие переписи населения, но предложили отсрочить решение до 1880 г., чтобы волнение умов успело немного успокоиться.<sup>1</sup> Едва ли они могли ошибиться в своем прогнозе более поразительным образом.

Отсюда также следует, что нации и национализм как правило не представляли тогда важнейшую внутреннюю проблему для политических образований, достигших статуса «наций-государств», какими бы разнородными в национальном смысле ни являлись они по современным стандартам, хотя подобные проблемы доставляли немало беспокойства не-национальным империям, которые не были (анахронистически) «многонациональными». Ни одно из европейских государств к западу от Рейна — кроме Британии с ее вечной ирландской аномалией — еще не сталкивалось с серьезными осложнениями по этой части. Сказанное не означает, что политики ничего не знали о существовании каталонцев или басков, бретонцев или фламандцев, шотландцев или валлийцев; в них, однако, видели главным образом фактор, способный выступить за или против какой-то общегосударственной политической силы. Так, шотландцы и валлийцы выступали в роли подкрепления для либерализма, бретонцы и фламандцы — как союзники католического традиционализма. Разумеется, политические режимы наций-государств по-прежнему с большой для себя выгодой пользовались отсутствием демократической избирательной системы, которой суждено было в будущем подорвать национальную теорию и практику либерализма — как, впрочем, и многое другое в либерализме XIX века.

---

<sup>1</sup> *Emil Brix. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den zisleitanischen Volkszählungen 1880–1910. Vienna—Cologne—Graz, 1982.*

Вероятно, именно поэтому серьезные теоретические исследования по национализму были в либеральную эпоху немногочисленными и носили какой-то случайный и нерегулярный характер. Такие наблюдатели, как Милль и Ренан, довольно равнодушно относились к составляющим «национального чувства» (к этносу) — вопреки страстной увлеченности викторианцев проблемами «расы» (языком, религией, территорией, историей, культурой и прочим): ведь то, какой именно из этих факторов будет сочтен наиболее важным, с точки зрения практической политики тогда еще не играло особой роли. Однако начиная с 1880-х годов дискуссии по «национальному вопросу» приобретают серьезность и остроту, особенно среди социалистов, поскольку политическое влияние национальных лозунгов на массы потенциальных или действительных избирателей или сторонников массовых политических движений превратилось теперь в насущный вопрос реальной политики. Дебаты по таким вопросам, как теоретические критерии статуса нации, стали теперь бурными и страстными, поскольку предполагалось, что любой конкретный ответ влечет за собой вполне определенную политическую программу и особую стратегию политической борьбы. Эти вопросы были важны не только для правительств, сталкивавшихся с различными видами национальных движений и притязаний, но и для политических партий, которые стремились привлечь избирателей, опираясь на национальные, не-национальные или альтернативные национальные лозунги. Социалистам центральной и восточной Европы было далеко не безразлично, на какой именно теоретической основе разрабатывается понятие нации и ее будущего. Маркс и Энгельс, подобно Миллю и Ренану, считали подобные вопросы второстепенными. Зато во Втором Интернационале подобные дискуссии играли решающую роль, и целое созвездие выдающих-

ся личностей (или тех, кого знаменитость ожидала в будущем) — Каутский, Роза Люксембург, Бауэр, Ленин и Сталин — посвятили им серьезные работы. Но если подобные проблемы занимали марксистских теоретиков, то, скажем, для сербов и хорватов, македонцев и болгар также было чрезвычайно важно — с практической точки зрения, — какое именно определение будет дано «южнославянской» национальности.<sup>1</sup>

«Принцип национальности», о котором спорили дипломаты и который изменил карту Европы в 1830–1878 гг., отличался, таким образом, от феномена политического национализма, игравшего все более важную роль в эпоху массовой политики и демократизации европейских государств. Во времена Мадзини еще не имело особого значения то обстоятельство, что для большинства итальянцев никакого Рисорджименто вообще не существовало, что и признал Массимо Д'Адзельо в своей знаменитой речи: «Италию мы уже создали, теперь нам предстоит создать итальянцев».<sup>2</sup> Для людей, изучавших «польский вопрос», было очевидно, что большинство польскоязычных крестьян (а тем более одна треть населения старой Речи Посполитой, говорившая на других языках) еще не ощущало себя польскими националистами. Как признал будущий освободитель Польши полковник Пилсудский: «Не нация создает государство, а государство — нацию».<sup>3</sup> Однако после 1880 г. отношение к национальности самых обыкновенных людей приобретало все более

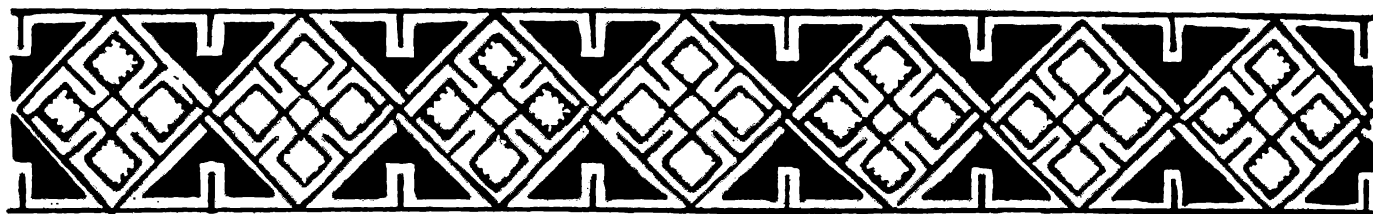
<sup>1</sup> Cf. Ivo Banac. *The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics*. Ithaca and London, 1984. P. 76–86.

<sup>2</sup> Эти слова были произнесены на первом заседании парламента вновь созданного Итальянского королевства См.: E. Latham. *Famous Sayings and Their Authors*. Detroit, 1970.

<sup>3</sup> H. Roos. *A History of Modern Poland*. London, 1966. P. 48.

**важное значение, поэтому нам важно проанализировать чувства и мнения простого народа доиндустриальной эпохи, к которым впоследствии могли апеллировать новые лозунги политического национализма. Этому и будет посвящена следующая глава.**





## Глава II

### НАРОДНЫЙ ПРОТОНАЦИОНАЛИЗМ

**К**ак и почему понятие «национального патриотизма», столь далекое от реального жизненного опыта большинства людей, могло так быстро превратиться в чрезвычайно мощную политическую силу? Ссылки на универсальный опыт человеческих существ, которые так или иначе принадлежат к определенным группам и сознают друг друга членами определенных коллективов или общностей, а всех остальных, соответственно, воспринимают как «чужаков», — подобные ссылки явно недостаточны. Ведь источник возникшей перед нами трудности в том и состоит, что современная нация — и как отдельное государство, и как народ, стремящийся подобное государство создать, — по своей природе, величине и сложности структуры отличается от действительно существовавших сообществ, с которыми люди отождествляли себя на протяжении большей части истории, и предъявляет к ним совершенно иные требования. Это (по удачному выражению Бенедикта Андерсона) «воображаемая общность», и ею, несомненно, можно заполнить эмоциональный вакуум, возникший вследствие ослабления, распада или отсутствия *реальных* человеческих сообществ и связей, — но перед нами по-прежнему стоит вопрос: почему, утратив реальную общность, люди склонны

«воображать» именно такой тип компенсации? Вероятно, одна из причин заключается в том, что во многих регионах мира государства и национальные движения могли использовать в собственных целях определенное чувство коллективной принадлежности; чувство, которое уже существовало и обладало, так сказать, потенциальной способностью действовать на новом, макрополитическом уровне, соответствующем современным нациям и государствам. Подобные связи я буду называть «протонациональными».

Есть два типа этих связей. Во-первых, существуют надлокальные формы массовой идентификации: они возвышаются над формами, ограниченными той реальной территорией, на которой люди проводят большую часть своей жизни. Так, культ Девы Марии объединяет неаполитанских католиков со всем миром (хотя в большинстве случаев затрагивает верующих города Неаполя как отдельную общность); между тем поклонение святому Януарию, чья кровь должна истекать (и, по непреложно гарантированному чуду, действительно истекает) каждый год, если городу не грозит какое-либо бедствие, имеет более прямое и конкретное значение именно для Неаполя. Во-вторых, существуют политические отношения, идеи и понятия, свойственные узким группам и более тесно связанные с определенными государствами и институтами, — при этом, однако, способные к последующему обобщению, массовому распространению и широкой популяризации. С современной «нацией» они имеют больше общего. И все же ни первый, ни второй тип «протонациональных» феноменов мы не вправе отождествлять с современным национализмом как с их якобы прямым продолжением, поскольку они не имели или не имеют *необходимой* связи с единым территориально-политическим образованием —



важнейшим критерием того, что мы сегодня понимаем под «нацией».

До 1945 года (а отчасти и до сих пор) носителями различных диалектов немецкого языка, а также его литературной формы, присущей, скорее, правящему классу, были горожане и крестьяне, жившие не только в центрально-европейском регионе, но и по всему востоку и юго-востоку континента. Существовали также небольшие немецкие колонии в Северной и Южной Америке. Несомненно, все эти люди считали себя в известном смысле «немцами», подчеркивая свое отличие от других народов, среди которых им приходилось жить. Между немцами и другими этническими группами часто возникали трения и конфликты, преимущественно там, где немцы монополизировали важнейшие социальные функции (как, например, землевладельческий правящий класс в Прибалтике), — и однако, вплоть до XIX века не было, насколько я могу судить, ни одного случая, чтобы крупные политические проблемы возникали из-за того обстоятельства, что эти немцы жили под властью правителей иной национальности. Точно так же и евреи, жившие в рассеянии по всему миру в течение нескольких тысячелетий, всюду неизменно воспринимали себя как особый народ, отличающийся от всевозможных язычников, их окружавших, — однако подобная самоидентификация никогда (по крайней мере, со времен возвращения из вавилонского плена) не предполагала серьезного стремления к образованию собственных государственных структур, а тем более территориального государства, — пока в самом конце XIX века по аналогии с новомодным западным национализмом не был изобретен национализм еврейский. А значит, духовную связь евреев с праотческой землей Израиля, ценность паломничества в эти места или надежду на возвращение туда с приходом Мессии (ибо, по мнению

евреев, он, бесспорно, еще не явился) было бы совершенно неправомерно отождествлять с желанием объединить всех евреев в одно территориальное государство современного типа, расположенное на Святой Земле. С таким же успехом можно утверждать, что правоверные мусульмане, высшей мечтой для которых является путешествие в Мекку, совершая его, на самом деле хотят провозгласить себя гражданами страны, известной как Саудовская Аравия.

Так в чем же истинная сущность народного протонационализма? Вопрос необыкновенно сложный, ибо он требует проникновения в мысли и чувства людей неграмотных, вплоть до XX века составлявших громадное большинство населения земного шара. Мы знакомы с идеями той части образованного слоя, которая не только читала, но и писала (по крайней мере, некоторых подобных лиц), но переносить наши выводы с элиты на массу, с грамотных на неграмотных мы, безусловно, не вправе, пусть даже два эти мира и невозможно совершенно отделить друг от друга, а писаное слово влияло даже на тех, кто умел лишь говорить.<sup>1</sup> То, как воспринимал *Volk* \* Гердер, нельзя считать бесспорным свидетельством о мыслях вестфальского крестьянина. Потенциальную глубину этой пропасти между образованными и необразованными иллюстрирует следующий пример. Немцы, составлявшие в Прибалтике класс феодалов, горожан и людей образованных, разумеется, чувствовали, что «над их головами висит Дамоклов меч национального мщенья», поскольку, как выразился в своей «Ливонской Истории»

---

<sup>1</sup> См. *Roger Chartier. The Cultural Uses of Print in Early Modern France. Princeton, 1987, Введение*; а также: *E. J. Hobsbawm. Worlds of Labour. London, 1984. P. 39–42*, о взаимодействии народной и господствующей культур.

\* Народ (нем.). — *Прим. пер.*

(1695 г.) Кристиан Кельх (Kelch), эстонские и латышские крестьяне имели множество причин их ненавидеть («Selbige zu hassen wohl Ursache gehabt»). И все же у нас нет оснований думать, что эстонские крестьяне мыслили в подобных национальных терминах. Во-первых, они, по всей видимости, еще не признавали себя отдельной этно-лингвистической группой. Само слово «эстонец» вошло в употребление только в 1860-е годы, а до этого крестьяне называли себя попросту «маарах-вас», т. е. «деревенскими людьми». Во-вторых, основным значением слова *saks* (саксонец) было «господин» или «владыка», а значение «немец» оставалось вторичным. Один видный эстонский историк высказал весьма правдоподобное предположение: там, где люди образованные (немцы) читали в письменных памятниках «немец», крестьяне скорее всего имели в виду просто «помещика» или «господина»:

«С конца XVIII века местные священники и чиновники имели возможность читать сочинения просветителей о покорении Эстонии (эстонские крестьяне подобных книг не читали); слова крестьян они толковали соответственно собственному образу мыслей».<sup>1</sup>

А потому мы начнем с работы покойного Михаила Чернявского *Царь и народ*<sup>2</sup> — одной из немногих попыток выяснить взгляды тех, кто редко формулирует свои мысли по общественным вопросам в системати-

<sup>1</sup> Факты и цитаты заимствованы у: *Juhan Kahk. Peasants' movements and national movements in the history of Europe // Acta Universitatis Stockholmensis. Studia Baltica Stockholmensia*, 2, 1985: National movements in the Baltic Countries during the 19<sup>th</sup> century. P. 15–16.

<sup>2</sup> *Michael Cherniavsky. Tsar and People. Studies in Russian Myths. New Haven and London, 1961.* См. также: *Jeffrey Brooks. When Russia Learned to Read. Princeton, 1985, ch. VI, Nationalism and national identity, esp. P. 213–232.*

ческой форме и никогда их не записывает. Среди прочего Чернявский исследует в этой книге понятие «Святой Руси», или «святой Русской земли», для которого он находит не так уж много параллелей (самая близкая — «Святая Ирландия»). Пожалуй, он мог бы прибавить к ним и «das heil'ge Land Tirol» (святая земля Тироль), что дало бы повод для некоторых интересных сопоставлений.

Согласно Чернявскому, земля становится «святой» только тогда, когда получает возможность претендовать на исключительную роль в деле всеобщего спасения, т. е. в случае с Россией — не ранее середины XV века, когда попытки воссоединения церковей и положившее конец Римской империи падение Константинополя сделали Россию единственной в мире православной страной, а Москву — Третьим Римом, иначе говоря, единственным источником спасения для человечества. Так, по крайней мере, должны были думать цари. И все же данное замечание Чернявского, строго говоря, не вполне уместно, поскольку выражение «Святая Русь» вошло в широкое употребление не раньше «смутного времени» (начало XVII века), когда ни царя, ни государства в России фактически не было. Более того, если бы даже они продолжали существовать, то никак не могли бы способствовать распространению этого термина, ибо ни царь, ни бюрократия, ни церковь, ни идеологи московской власти, судя по всему, *никогда* — ни до, ни после «смутного времени» — подобный оборот не использовали.<sup>1</sup> Короче говоря, понятие «Святой Руси» возникло, по-видимому, в народе и отражало народные представления. Его смысл хорошо иллюстрирует поэтическое творчество донских казаков середины XVII века, например, «Сказание об

---

<sup>1</sup> Cherniavsky. Tsar and People. P. 107, 114.

азовском осадном сидении» (город осаждали турки). Осажденные казаки поют:

«Никогда уже не вернуться нам на Святую Русь; грешная наша жизнь кончится в степях. Мы умираем за твои чудотворные иконы, за веру христианскую, за царя и за все Московское государство».<sup>1</sup>

Следовательно, святая Русская земля определяется через святые иконы, веру, царя, государство. Это весьма мощное сочетание — и не только потому, что «иконы», т. е. визуальные символы, например, флаги, до сих пор остаются самым обычным способом представления того, что невозможно увидеть глазами. Святая Русь, несомненно, есть идея народная, неофициальная, а вовсе не спущенная сверху властью. Рассмотрим вместе с Чернявским слово «Россия», которое он анализирует с тонкостью и проницательностью, унаследованными от своего учителя Эрнста Канторовича.<sup>2</sup> Держава царей как политическое целое была *Россией* (неологизм XVI–XVII вв., ставший официальным названием со времен Петра Великого). Между тем святая Русская земля всегда именовалась *Русью*, и до сих пор жители России называют себя *русскими*. Ни одно производное от официального «Россия» — а в XVIII веке подобные слова изобретались неоднократно — так и не сумело закрепиться в качестве определения русского народа и его представителей. Быть *русским*, напоминает нам Чернявский, значило быть *крестьянином-христианином* (характерный дублет!), а также «истинно верующим», т. е. православным. Такое народное и даже простонародное в своей основе понимание Святой Руси само по себе не имеет необходимой связи с

<sup>1</sup> Ibid. P. 113.

<sup>2</sup> См. новаторскую работу: *Ernst Kantorowicz. The King's Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957.*

понятием современной нации. В России их сближению явно способствовало то, что Святая Русь отождествлялась с главой церкви и государства. В «святой земле Тироля» подобного сближения, очевидно, не происходило, поскольку возникший после Тридентского собора понятийный комплекс «земля — иконы — вера — император — государство» работал в пользу римско-католической церкви и кайзера из династии Габсбургов (как собственно императора или как графа Тирольского) и против новейших концепций немецкой, австрийской и какой угодно «нации». Не стоит забывать, что в 1809 году тирольские крестьяне восстали не столько против французов, сколько против своих соседей-баварцев. В любом случае, независимо от того, можно ли отождествить «народ святой земли» с позднейшей «нацией» или нет, первое понятие безусловно предшествует второму.

Заметим, однако, что среди признаков Святой Руси, Святого Тироля (и, вероятно, Святой Ирландии) отсутствуют те самые элементы, которые для нашего современного понимания «нации» являются чрезвычайно характерными, если не центральными: язык и этнос.

И действительно, как же быть с языком? Разве не язык есть самая сущность того, что отличает один народ от другого, «нас» от «них», человека от варвара, который не способен говорить на человеческом языке, а только издает нечленораздельные звуки? Разве не известно всякому читателю Библии о Вавилонской башне и о том, как по правильному выговору слова «шиболет» различали своих и врагов? Разве греки, отнеся остальное человечество к «варварам», не определили себя тем самым через язык, «протонациональным» образом? И разве незнание языка другой группы не является самой очевидной помехой для общения, а потому и самой очевидной границей между



группами, так что умение изъясняться на особом арготизме до сих пор служит знаком принадлежности к определенной субкультуре, которая стремится отделить себя от прочих субкультур или от общества в целом?

Едва ли можно отрицать, что люди, которые живут бок о бок и говорят на друг другу непонятных языках, должны сознавать себя носителями одного определенного языка, в членах иных общностей видеть носителей других языков или, по крайней мере, людей, не владеющих их собственным (*варваров* или, как говорят славяне, *немцев*). Однако суть проблемы не в этом. Вопрос в том, действительно ли подобные лингвистические препятствия воспринимаются как непреодолимые барьеры между теми образованиями, которые можно рассматривать в качестве потенциальных национальностей или наций, а не просто как группы людей, испытывающих трудности в понимании речи своих соседей. Данная проблема переносит нас в область исследования сущности народных разговорных языков и их использования в качестве критерия принадлежности к определенной общности. Изучая оба эти вопроса, мы снова должны будем тщательно остерегаться смешивать дискуссии образованной элиты (а это почти единственные наши источники) с представлениями неграмотной массы и анахронистически переносить в прошлое понятия и институты XX века.

Нелитературный народный язык всегда является совокупностью местных вариантов или диалектов, которые взаимодействуют между собой с разной степенью легкости или трудности, зависящей от географической близости или доступности. Некоторые из них — главным образом, в горных районах, способствующих изоляции, — могут быть настолько непонятными для соседей, как если бы они принадлежали к иной языковой семье. Затруднения, которые испытывает житель Северного Уэльса в понимании валлий-

ского языка выходцев из Южного Уэльса, или албанец, говорящий на гегском диалекте, — в понимании тоскского диалекта, стали в соответствующих странах темой для шуток и анекдотов. То обстоятельство, что каталанский ближе к французскому, нежели баскский, может сыграть решающую роль для филолога, но для моряка из Нормандии, оказавшегося в Байонне или в Порт Бу, местный язык мог быть поначалу столь же непонятным. До сих пор образованные немцы из какого-нибудь Киля способны испытывать огромные трудности в понимании речи образованных швейцарских немцев, когда последние говорят на том чисто немецком диалекте, который является для них обычным средством устного общения.

А значит, до введения всеобщего начального образования никакого разговорного «национального» языка не было и быть не могло, — за исключением тех литературных или административных форм и оборотов, которые записывались, приспособлялись или специально изобретались для устного употребления: либо в виде «лингва франка», на котором могли общаться люди, обычно говорившие на диалектах, либо (и это, пожалуй, ближе к нашей теме) в целях обращения к народной аудитории поверх диалектальных границ, т. е. для проповедников или для исполнителей песен и поэм, распространенных в более широком культурном ареале.<sup>1</sup> Размеры этой области потенциального понимания могли быть весьма различными.

---

<sup>1</sup> Чрезвычайно полезное введение в этот комплекс проблем см. у: *Einar Haugen. Dialect, language, nation // American Anthropologist*, 68, 1966. P. 922–935. Материалы по сравнительно новой области социолингвистики см. в сборнике: *J. A. Fishman (ed.). Contributions to the Sociology of Language*, 2 vols. The Hague–Paris, 1972, особ. статью редактора: *The sociology of language: an interdisciplinary social science approach to language in society* in vol. 1.

Почти наверняка они были шире у представителей элиты, сфера деятельности и кругозор которых были не столь привязаны к определенной территории, как, например, у крестьян. И все же трудно представить по-настоящему разговорный «общенациональный язык», который бы развился исключительно на основе живой устной речи и охватывал сколько-нибудь значительный регион, — кроме гибридных языков типа «пиджин» или «лингва франка» (способных, разумеется, превратиться со временем в универсальный, «многоцелевой» язык). Иными словами, реальный, подлинный «родной язык», язык, который дети усваивали естественным образом от своих неграмотных матерей и использовали в повседневном общении, ни в каком смысле не мог быть языком «национальным».

Но это, как я уже заметил, не исключает известного рода массовой *культурной* идентификации с определенным языком или с совокупностью бесспорно родственных диалектов, которые свойственны данной группе сообществ и отличают ее от соседей (как в случае с говорящими на венгерском). В пользу сказанного свидетельствует то обстоятельство, что позднейший национализм действительно мог порою иметь подлинно народные языковые протонациональные корни. Именно так, вероятно, обстояло дело с албанцами, которые со времен классической древности испытывали влияние соперничающих между собой культур, а кроме того разделялись на приверженцев трех, а если прибавить к исламу, православию и католицизму местный исламский культ бекташи, то даже четырех религий. И для пионеров албанского национализма

---

Конкретный анализ проблемы развития/создания языков см. у пионера подобных исследований: *Heinz Kloss. Die Entwicklung neuer germanischer Kultursprachen von 1800 bis 1950. Munich, 1952.*

было вполне естественно искать основу культурного единства албанцев именно в языке, поскольку религия, как и почти все остальное в Албании, скорее вносила раздор, нежели объединяла.<sup>1</sup> Но даже в этом, по видимости столь простом случае мы должны остерегаться чрезмерного доверия к свидетельствам людей образованных. Ибо нам отнюдь не ясно, в каком смысле и даже до какой степени простые албанцы конца XIX—начала XX вв. видели в себе албанцев и признавали взаимную близость. Когда юноше-горцу с севера, проводнику Эдит Дархем, сказали, что у южных албанцев есть православные церкви, он ответил: «Они не христиане, а тоски». Это едва ли свидетельствует о сильном чувстве общности, и «невозможно с точностью определить, сколько же албанцев приехало в Соединенные Штаты, ибо первые иммигранты редко называли себя албанцами».<sup>2</sup> И даже зачинатели национального

---

<sup>1</sup> «Les grands noms de cette littérature <...> ne célèbrent jamais la religion dans leurs oeuvres; bien au contraire ils nemanquent aucune occasion pour stigmatiser l'action hostile à l'unité nationale des différents clergés <...> Il semble que [la recherche de l'identité culturelle] <...> se soit faite essentiellement autour du problème de la langue».\* Christian Gut in Groupe de Travail sur l'Europe Centrale et Orientale. Bulletin d'information, no. 2, June 1978, p. 40 (Maison des Sciences de l'Homme, Paris).

\* «Выдающиеся представители этой литературы <...> никогда не восхваляют в своих сочинениях религию; напротив, они пользуются любой возможностью для того, чтобы заклеймить противодействие духовенства различных церквей становлению национального единства <...> Кажется, что [поиск культурного своеобразия] <...> ведется преимущественно в связи с проблемой языка» (фр.). — *Прим. пер.*

<sup>2</sup> *Edith Durham. High Albania. 1909, нов. изд. London, 1985. P. 17; S. Thernstrom et al. Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups. Cambridge and London, 1980. P. 24.*

движения в Албании — стране смертельно враждующих кланов и владык — прежде чем апеллировать к языку, прибегали к иным, более убедительным доводам в пользу солидарности. Наим Фрашери (1846–1900) выразился так: «Все мы — единое племя и единая семья; у нас одна кровь и один язык».<sup>1</sup> Язык хотя и не забыт, но упомянут последним.

Следовательно, национальные языки почти всегда являются наполовину — а порой, как в случае с современным ивритом — вполне искусственными образованиями. Они представляют собой противоположность тому, чем их склонна считать националистическая мифология, т. е. первоосновой национальной культуры и глубочайшим истоком национального самосознания. Обычно это результат попыток построить единый образцовый язык из множества реально существующих в живой речи вариантов, которые низводятся затем до уровня «диалектов». Ключевая проблема подобного конструирования заключается обыкновенно в том, какой из диалектов следует избрать в качестве основы для стандартизированного и упорядоченного языка. Дальнейшие задачи — стандартизация и унификация грамматики и орфографии и обогащение новыми элементами лексики — являются второстепенными.<sup>2</sup> История почти каждого ев-

<sup>1</sup> Цит. по Groupe de Travail, p. 52.

<sup>2</sup> Компактный обзор материала по данной проблеме, с ясным сознанием «искусственности» большинства литературных языков см. у: *Marinella Lörintzi Angioni*. Appunti per una macrostoria delle lingue scritte dell'Europa moderna // *Quaderni Sardi di Storia*, 3, July 1981–June 1983. P. 133–156. Он в особенности полезен в отношении менее крупных языков. О различии традиционного и современного фламандского см. замечания *E. Coornaert* в *Bulletin de la Société d'Histoire Moderne*, 67<sup>e</sup> année, 8, 1968, в ходе полемики вокруг *R. Devleeshouwer*, «Données historiques des problèmes linguistiques belges». См. также: *Jonathan Steinberg*. The

ропейского языка ясно свидетельствует о его региональных истоках: болгарский литературный язык основывается на западно-болгарском диалекте, литературный украинский — на юго-восточных говорах; литературный венгерский возникает в XVI веке из сочетания нескольких диалектов; литературный латышский — это результат комбинации трех вариантов, литературный литовский — двух и т. д. Там же, где известны имена «создателей языков», — обычно это относится к языкам, достигшим литературного статуса в XVIII–XX вв. — выбор основы может быть произвольным (хотя и опирающимся на определенные аргументы).

Иногда подобный выбор является политическим или, по крайней мере, имеет очевидный политический подтекст. Так, например, хорваты говорили на трех диалектах (*чакавском*, *кайкавском* и *штокавском*), один из которых был также основным диалектом сербов. *Кайкавский* и *штокавский* диалекты выработали собственные литературные варианты. Великий апостол «иллиризма» хорват Людевит Гай (1809–1872) говорил и писал на своем родном *кайкавском* диалекте, но с 1838 года, желая подчеркнуть единство южных славян, перешел в своих трудах на *штокавский*. Таким образом он добился того, что а) сербохорватский стал развиваться как более или менее единый литературный язык (хотя на письме католики-хорваты использовали латинский алфавит, а православные сербы — кириллицу); б) хорватский национализм утратил языковое оправдание; в) сербы, а позднее и хорваты получили предлог для экспансии.<sup>1</sup> Порой, однако, «создате-

---

historian and the Questione della lingua в сборнике: *P. Burke & Roy Porter* (eds.). *The Social History of Language*. Cambridge, 1987. P. 198–209.

<sup>1</sup> Данный вопрос хорошо изложен у: *Ivo Banac*. *The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics*.



ли языков» могут допускать ошибки. Около 1790 года в качестве основы словацкого литературного языка Берноляк избрал диалект, так и не сумевший утвердиться в этой роли, — зато через несколько десятилетий Людовит Штур нашел, как оказалось впоследствии, более жизнеспособный фундамент. В Норвегии националист Вергеланд (1808–1845) требовал создания более чистой формы норвежского языка, отличной от языка письменного, подверженного чрезмерному датскому влиянию, и подобный язык (*ландсмаль*, известный теперь как *нюнорск*) был очень быстро разработан. После того как Норвегия стала независимой, он получил официальную поддержку, однако смог утвердиться лишь в качестве языка, на котором говорит меньшинство, а с 1947 года в стране существуют *de facto* два письменных языка, причем только 20% норвежцев, главным образом на западе и в центре страны, используют *нюнорск*.<sup>1</sup> Разумеется, в некоторых более старых литературных языках необходимый выбор совершала история — когда, например, диалекты, связанные с областью действия королевской администрации, становились основой литературного языка в Англии и во Франции; или когда сочетание культурного престижа, македонской поддержки и широкого использования в сфере торговли и мореплавания способствовали превращению аттического диалекта в эллинистическое *койне*, или общегреческий язык.

---

Ithaca and London, 1984 (откуда и заимствованы эти сведения): «Уникальность языковой ситуации в Хорватии, т. е. одновременное использование трех диалектов, невозможно было согласовать с романтической верой в то, что именно язык есть глубочайшее выражение национального духа. Одна нация явно не могла иметь целых три духа, а две национальности — общий диалект» (с. 81).

<sup>1</sup> Einar Haugen. The Scandinavian languages: An Introduction. London, 1976.

Мы пока оставляем в стороне менее обширную, но также весьма насущную проблему: каким образом следует модернизировать подобного рода старый «национальный» литературный язык, чтобы приспособить его к требованиям современной жизни, не предусмотренным Французской Академией или доктором Джонсоном. Проблема эта универсальна, хотя во многих случаях (особенно у голландцев, немцев, чехов, исландцев и некоторых других народов) она осложняется тем, что можно было бы назвать «филологическим национализмом», т. е. упорным стремлением к лингвистической чистоте национального словарного фонда, которое заставляло немецких ученых переводить «кислород» как *Sauerstoff*, а сегодня вдохновляет французов на отчаянные арьергардные бои с наступающим *franglais*.<sup>\*</sup> Но эта задача неизбежно встает с еще большей остротой перед теми языками, которые до сих пор не принадлежали к числу важнейших носителей культуры, а теперь желают стать удобными инструментами в сфере высшего образования или средствами обмена технической и экономической информацией. Не будем преуменьшать серьезность подобных проблем. Валлийский язык претендует (и, возможно, не без оснований) на звание самого древнего из живых литературных языков, поскольку восходит он примерно к VI веку. И однако в 1847 году было отмечено, что многие из самых простых положений науки или политики невозможно выразить на валлийском так, чтобы сделать их смысл вполне понятным даже умному валлийцу, который не знает английского языка.<sup>1</sup>

---

<sup>\*</sup> «Франглийский язык» — французский язык, испорченный неумеренными заимствованиями из английского. — Прим. пер.

<sup>1</sup> Отчет комиссии по изучению состояния образования в Уэльсе (Parliamentary Papers, XXVII of 1847, part III, p. 853 n.).

А следовательно, критерием национальной принадлежности язык мог быть разве что для правителей и для людей образованных, но даже этим последним необходимо было вначале сделать выбор в пользу живого национального языка (в его стандартизированной литературной форме), а не языка священного, классического, который для узкого слоя элиты был средством административного или интеллектуального общения, публичных дебатов и даже литературного творчества (вспомним классический персидский в Империи Великих Моголов или классический китайский в хэйанской Японии). В конце концов подобный выбор был сделан всюду, за исключением, пожалуй, Китая, где «лингва франка» лиц, получивших классическое образование, стал единственным в огромной империи средством общения между носителями взаимно «непроницаемых» диалектов, а сейчас постепенно превращается в некое подобие разговорного языка.

И действительно, почему *сам по себе* язык должен служить столь важным критерием принадлежности к определенной группе, если языковая дифференциация не накладывается при этом на какие-то иные признаки, позволяющие провести различие между группами? Даже институт брака не предполагает общности языка, иначе едва ли могла бы существовать официально признанная экзогамия. И у нас нет причин не согласиться с весьма эрудированным историком, специально изучавшим человеческие представления о множественности языков и народов, который утверждает, что «лишь вследствие довольно позднего обобщения тех, кто говорит на одном языке, стали причислять к друзьям, а носителей иных языков — к врагам».<sup>1</sup> Там, где

---

<sup>1</sup> Arno Borst. Der Turmbau von Babel: Geschichte der Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen der Völker, 4 Bden. in 6. Stuttgart, 1957–1963, Bd. IV. S. 1913.

нельзя услышать никакой другой язык, наш собственный является критерием групповой принадлежности не в большей степени, чем то, что есть у каждого человека без исключения, — например, ноги. Там же, где сосуществуют разные языки, многоязычие может быть столь обычным явлением, что самоидентификация с каким-то одним языком становится вполне произвольной. (А потому переписи, требующие подобного исключительного выбора, представляют собой весьма ненадежный источник лингвистических сведений).<sup>1</sup> В таких районах (например, Словения и Моравия при Габсбургах) статистические данные могут испытывать громадные колебания от одной переписи к другой, поскольку самоидентификация с определенным языком зависит не от знания последнего, но от иных факторов, подверженных большим изменениям. Кроме того, люди могут говорить и на своем собственном языке, и на официально не признанном «лингва франка», как например, в некоторых районах Истрии,<sup>2</sup> и подобные языки вовсе не взаимозаменяемы. Жители Маврикия не могут переходить с креольского на какой-нибудь из местных языков произвольно, поскольку каждый из них они используют для особых целей. Так же поступают и швейцарские немцы, которые пишут на верхненемецком, а говорят на *Schwyzerdütsch*; сходным образом ведет себя и словенец-отец из замечательного романа Йозефа Рота *Radetzky-marsch*, когда из уважения к статусу габсбургского

---

<sup>1</sup> *Paul M. G. Lévy. La Statistique des langues en Belgique // Revue de l'Institut de Sociologie (Bruxelles), 18, 1938. P. 507–570.*

<sup>2</sup> *Emil Brix. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachstatistik in den zisleitanischen Volkszählungen 1880–1910. Vienna–Cologne–Graz, 1982. e. g. S. 182, 214, 332.*

офицера обращается к сыну, получившему офицерское звание, не на родном языке, как того ожидал молодой человек, но на «обычном для армейских славян ломаном немецком».<sup>1</sup> В самом деле, мистическое отождествление национальности с некоей платоновской идеей языка, которая скрыто существует за всеми его несовершенными вариантами или парит над ними, характеризует, скорее, идеологические построения националистически настроенных интеллектуалов (пророком которых является Гердер), нежели реальное самосознание обычных носителей данного языка. Это чисто «литературная», а не экзистенциальная концепция.

Сказанное, впрочем, не означает, что сознание различий между языками и даже языковыми семьями не является частью реального опыта народных масс. Для большинства народов, говоривших на германских языках, большинство иностранцев, обитавших к западу и к югу, — главным образом, латиноязычное, но также и кельтское население, — были *вельхами*, тогда как большинство носителей финских, а впоследствии и славянских языков на востоке и юго-востоке были *вендами*; и наоборот, для большинства славян все те, кто говорит на германских языках, являются *немцами*. И однако всем всегда было ясно, что язык и народ, каким бы образом их ни определяли, не совпадают вполне. В Судане оседлые племена фор живут в симбиозе с кочевыми племенами баггара, но к соседнему стойбищу фор, говорящих на фор, они относятся так, как если бы это были баггара, поскольку важнейшее отличие между этими двумя народами заключается не в языке, но в образе жизни. А то обстоятельство, что данные конкретные кочевники говорят

---

<sup>1</sup> *Joseph Roth. The Radetzky march. Harmondsworth, 1974. P. 5.*

на фор, «лишь несколько облегчает ход обычных дел, которые чаще всего приходится вести с баггара: покупку молока, определение мест для стоянок, приобретение навоза и т. п.». <sup>1</sup>

Если же выразить все это более «научными» терминами, то, по мнению Ансельма из Лана (ученика великого Ансельма Кентерберийского), каждый из знаменитых семидесяти двух «языков», на которые раскололось человечество после Вавилонского столпотворения, — по крайней мере, согласно средневековым комментаторам Книги Бытия, — охватывал несколько *nationes*, или племен. Уильям из Алтона, английский доминиканец середины XIII века, продолжая мыслить в том же духе, делил людей по языковым семьям (в соответствии с языком, на котором они говорили), по *generationes* (в соответствии с их происхождением), по территориям, на которых они обитали, и по *gentes* (в соответствии с различиями в их нравах и обычаях). Результаты этих классификаций не обязательно совпадали, и их не следовало смешивать с *populus*, или народом: последний он определял через волю к повиновению общим законам, а потому народ представлял собой скорее историко-политическую, нежели «естественную» общность. <sup>2</sup> В своем анализе Уильям из Алтона обнаружил изумительную проницательность и реализм, — впрочем, вплоть до второй половины XIX столетия качества эти были не такими уж редкими.

Язык был лишь одним из многих критериев, по которым различались культурные общности, — и не обязательно главным. Геродот полагал, что греки, несмотря на свою географическую и политическую раз-

---

<sup>1</sup> *Frederik Barth* (ed.). *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston, 1969. P. 30.

<sup>2</sup> *Borst*. *Der Turmbau von Babel*. S. 752–753.



дробленность, образуют единый народ, поскольку они имеют общее происхождение, общий язык, общих богов, общие священные места и религиозные празднества, общие обычаи, нравы и взгляды на жизнь.<sup>1</sup> Для образованных людей, вроде Геродота, язык, безусловно, имел решающее значение. Однако являлся ли он столь же важным критерием принадлежности к «греческому народу» и для обыкновенного беотийца или фессалийца? — Этого мы не знаем. Зато нам хорошо известно, что в новое время националистические движения осложнялись порой тем, что определенная часть лингвистической группы отказывалась от политического единства с носителями одного с нею языка. Такого рода случаи (так называемое *Wasserpolacken* в Силезии при немецком господстве или так называемое *Windische* в пограничной зоне между будущей Австрией и словенской частью Югославии) порождали яростную полемику: поляки и словенцы обвиняли «великогерманских шовинистов» в том, что они попросту выдумали подобные категории, чтобы оправдать свою территориальную экспансию, и обвинения эти, разумеется, не были совершенно беспочвенны. И все же невозможно полностью отрицать факт существования групп польско- и словенскоязычного населения, которые по каким-то причинам предпочитали считать себя в политическом смысле немцами или австрийцами.

А потому язык — в гердеровском смысле языка, на котором говорит *Volk*, — не являлся *прямо и непосред-*

---

<sup>1</sup> Геродот. История, VIII, 144. Обсуждая этот вопрос, Борст указывает: в целом греки считали «язык» и «народ» взаимосвязанными и поддающимися подсчету, однако Еврипид полагал, что язык в данном случае не играет важной роли, а Зенон-стоик был билингвом, пользуясь как греческим, так и финикийским (ibid. S. 137, 160).

*редственно* важнейшим фактором в становлении протонационализма, хотя и мог иметь с этим процессом косвенную связь. И однако именно языку было суждено «окольным путем» превратиться в ядро современного определения нации, а значит, и массовых о ней представлений. Ибо там, где литературный или административный язык элиты уже существует (каким бы незначительным ни было число его реальных носителей), он способен превратиться в важный фактор протонационального сплочения. Три причины подобного феномена хорошо изложены у Б. Андерсона.<sup>1</sup>

Во-первых, такой язык служит формированию общности внутри самой элиты, и если географические пределы этой общности совпадают или могут совпасть с территорией какого-либо государства или зоной распространения живого народного диалекта, то она способна превратиться в своеобразную модель или «пилотный проект» для более крупной общности типа «нации». В этом смысле разговорные языки и в самом деле имеют связь с будущей национальностью. Мертвые же языки («классические» или священные) при всем своем престиже не годятся для роли национальных языков, в чем ясно убедились в Греции, где существовала реальная лингвистическая преемственность между древнегреческим языком и разговорным языком тогдашних греков. Вук Караджич (1787–1864), великий реформатор, а фактически — творец современного сербохорватского литературного языка, был, несомненно, прав, когда противился скороспелым попыткам создать литературный язык из церковно-славянского (предвосхитившим конструирование современного иврита на основе древнееврейского) и строил

---

<sup>1</sup> *Benedict Anderson. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London, 1983. P. 146–149; о языке более подробно — гл. 5.*

его, опираясь на живые диалекты сербского народа.<sup>1</sup> Исходный импульс к созданию современного разговорного иврита, равно как и конкретные обстоятельства, позволившие ему прочно утвердиться, слишком уникальны, чтобы служить примером общего правила.

Но если диалект, на основе которого формируется национальный язык, действительно используется в живой речи, то малочисленность тех, кто на нем говорит, не имеет особого значения, коль скоро данное меньшинство обладает достаточным политическим весом. Поэтому французский язык стал существенным элементом понятия «Франции», хотя в 1789 году 50% французов вообще на нем не говорили и только 12–13% говорили «правильно», а за пределами парижского района — даже в области *langue d'oui* \* — он был обычным средством общения лишь в городах, да и то не во всяком городском предместье. В северной и южной Франции практически никто по-французски не говорил.<sup>2</sup> Но

---

<sup>1</sup> Об аналогичных дискуссиях в связи со словацким языком см.: *Hugh Seton-Watson. Nations and States: An Enquiry into the Origins of Nations and the Politics of Nationalism. London, 1977. P. 170–171.*

\* Имеется в виду территория Франции примерно к северу от р. Луары, зона распространения диалектов старофранцузского языка, один из которых (диалект провинции Иль-де-Франс с центром в Париже) лег в основу современного французского. *Langue d'oui* (старофр.: *langue d'oil*) противопоставляется области *langue d'oc* (отсюда — провинция Лангедок), т. е. южной Франции, где говорили на диалектах провансальского языка. Названия *langue d'oui* (*langue d'oil*) и *langue d'oc* восходят к средневековой классификации романских языков Европы по звучанию латинского слова *si* («да»): старофр. *oil* (фр.: *oui*), прованс. *oc*.

<sup>2</sup> Основной источник в этой области — *Ferdinand Brunot* (ed.). *Histoire de la langue française. 13 vols., Paris, 1927–1943*), особ. vol. IX; а также: *M. de Certeau, D. Julia, J. Revel.*

если французский язык уже имел, по крайней мере, государство, «национальным языком» которого он мог со временем стать, то единственной основой объединения Италии был итальянский язык, связывавший культурную элиту полуострова в качестве читателей и писателей, хотя, согласно подсчетам, на момент образования единого итальянского государства (1860 г.) лишь 2,5% жителей страны использовали этот язык в повседневном обиходе.<sup>1</sup> Эта крошечная группа была тогда в реальности «одним из итальянских народов», а потенциально — единственным итальянским народом. Точно так же и «Германия» оставалась в XVIII веке чисто культурным понятием, ибо только в этой сфере существовала «истинная Германия» как нечто отличное от множества больших и малых немецких княжеств и государств, разделенных религией и политическими интересами. Эту «Германию» составляли самое большее 300–500 тысяч читателей<sup>2</sup> книг на литературном немецком; тех же, кто действительно использовал

---

Une politique de la langue: La Révolution Française et les patois: l'enquête de l'Abbé Grègoire. Paris, 1975. О превращении официального языка меньшинства в общенациональный язык во время Французской революции и в позднейшую эпоху см. превосходную работу: *René Balibar*. L'Institution du français: essai sur le co-linguisme des Carolingiens a la République. Paris, 1985; а также: *R. Balibar & D. Laporte*. Le Français national: politique et pratique de la langue nationale sous la Révolution. Paris, 1974.

<sup>1</sup> *Tullio de Mauro*. Storia linguistica dell'Italia unita. Bari, 1963. P. 41.

<sup>2</sup> Вплоть до «начала девятнадцатого века», т. е. в течение 30–40 лет, все произведения Гете и Шиллера, как в собраниях сочинений, так и в отдельных изданиях, разошлись тиражом не более 100 000 экземпляров. *H. V. Wehler*, Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1700–1815. Munich, 1987. S. 305.

«Hochsprache», или культурный язык, в повседневном обиходе, наверняка было гораздо меньше.<sup>1</sup> Главным образом, это были актеры, которые исполняли (новые) пьесы, ставшие классикой немецкой литературы, ибо в отсутствие опирающегося на государственные институты образца (каким, например, в Англии был «королевский», т. е. образцовый, литературный английский) именно в театре вырабатывались и устанавливались языковые нормы.

Вторая причина состоит в том, что общий язык, именно потому, что он не возникает «сам собою», но

---

<sup>1</sup> Было бы, пожалуй, некоторым преувеличением утверждать, что где-либо за пределами Швейцарии «anche oggi il tedesco (*Hochdeutsch*)», ancor più che l'italiano, è una vera e propria lingua artificiale di cultura, sovradialettale «sotto» o insieme con la quale la maggior parte degli utenti si servono anche di una *Umgangsprache* locale» (*Lörinczi Angioni. Appunti. P. 193n.*)\* Но в начале XIX века это было действительно так. Например, Мандзони, чей роман *Promessi sposi* \*\* заложил основы итальянского как языка художественной прозы, не использовал его в повседневной жизни: с женой-француженкой он общался на ее языке (на котором, вероятно, говорил лучше, чем по-итальянски), а с другими — на своем родном миланском диалекте. И действительно, в первом издании знаменитого романа все еще присутствовали многочисленные следы этого диалекта, — недостаток, от которого Мандзони методически стремился избавиться во втором издании. Этими сведениями я обязан Конору Фахи.

\* «до сих пор немецкий язык в еще большей степени, чем итальянский, является самым настоящим искусственным языком культуры, языком наддиалектным, параллельно которому (или «под» которым) большинство использует также и какой-нибудь из местных говоров» (итал.). — *Прим. пер.*

\*\* «Обрученные» (итал.). — *Прим. пер.*

создается искусственно, а в особенности после того, как он становится языком печатной литературы, приобретает повышенную устойчивость и начинает казаться более «неизменным», а значит (вследствие своеобразного обмана зрения), и более «вечным», чем он был на самом деле. Отсюда — важная роль, которую играет не только изобретение книгопечатания само по себе (в особенности там, где перевод священных книг на народный язык заложил основы литературного языка, а это происходило довольно часто), но и деятельность знаменитых борцов за чистоту и норму, которые появляются в истории каждого литературного языка, причем всякий раз уже в эпоху печатного слова. В большинстве языков (за исключением малого числа европейских) эти явления приходятся в основном на период с конца XVIII до начала XX вв.

В-третьих, официальный язык правящего слоя или язык культурной элиты обычно превращался в реальный разговорный язык современных государств посредством общественного образования и других централизованных административных механизмов.

Как бы то ни было, все это факторы довольно поздние. В эпоху, предшествовавшую возникновению национализма, а тем более — во времена всеобщей неграмотности, они едва ли могли влиять на язык простого народа. Разумеется, мандарин связывал воедино огромную Китайскую империю, многие народы которой не понимали язык своих соседей, — однако делал он это не непосредственно через язык, но с помощью централизованной государственной власти, которая использовала единый комплекс идеограмм, служивший средством общения элиты. И большинству китайцев было бы все равно, если бы даже мандарины перешли на латынь, как для большинства жителей Индии не имел никакого значения тот факт, что в 1830-х годах Ост-



Индская компания заменила английским персидский, прежде служивший административным языком в Империи Моголов. Оба языка были для них в равной степени чужими, а поскольку сами индийцы ничего не писали и даже не читали, то языки эти не могли иметь к ним никакого отношения. К великому огорчению позднейших националистических историков, безжалостное офранцуживание общественной и государственной жизни в эпоху революции и при Наполеоне отнюдь не восстановило фламандское население будущей Бельгии против французов, и даже Ватерлоо не породило «во Фландрии сколько-нибудь заметного движения в поддержку фламандского языка и фламандской культуры».<sup>1</sup> Да и почему это вообще должно было случиться? Ведь для тех, кто совершенно не понимал французского языка, даже режим фанатиков от лингвистики должен был делать на практике административные уступки. И неудивительно, что наплыв иностранцев-франкофонов в сельские общины Фландрии вызывал раздражение не по причинам лингвистического свойства, а скорее потому, что они не желали ходить по воскресеньям к обедне.<sup>2</sup> Короче говоря, если оставить в стороне особые случаи, то у нас нет оснований полагать, что язык был чем-то большим, нежели одним из многих критериев принадлежности к определенной человеческой общ-

---

<sup>1</sup> *Shepard B. Clough. A History of the Flemish Movement in Belgium: A Study in Nationalism. New York, 1930, repr. 1968. P. 25.* О медленном росте языкового самосознания см. также: *Val R. Lorwin. Belgium: religion, class and language in national politics in: Robert A. Dahl. Political Opposition in Western Democracies. New Haven, 1966, P. 158 ff.*

<sup>2</sup> *S. B. Clough. A History of the Flemish Movement in Belgium. P. 21–22.*

ности. И совершенно ясно, что в ту эпоху язык еще не имел политического потенциала. В 1536 году французский комментатор рассказа о Вавилонской башне заметил:

«В наше время на земле существует больше, чем LXXII языка, ибо сейчас стало больше отдельных государств, нежели в те времена».<sup>1</sup>

Новые языки появляются вместе с новыми государствами, а не наоборот.

А как обстоит дело с этносом? В обыденной речи это слово почти всегда связывается со смутной идеей общего происхождения, которое, как предполагается, обусловило общие свойства и характеристики членов определенной этнической группы. Ясно, что чувство «родства» и «крови» лучше многого другого помогает членам группы сплотиться и отделить себя от чужаков, а потому для этнического национализма оно имеет решающее значение. «Культура (Kultur) не приобретается через образование. Культура — в крови. Лучшее тому доказательство — нынешние евреи, которые способны лишь воспринять нашу цивилизацию (Zivilisation), но никогда не могут усвоить нашу культуру». Этими словами национал-социалистский крайсляйтер Инсбрука Ганс Ганак (забавная деталь: его имя свидетельствует о славянских корнях) поздравлял в 1938 году местных нацистов с тем, что попытки евреев подорвать их «высокий и почтенный статус» проповедью равенства мужчин и женщин имели лишь временный успех.<sup>2</sup> И все же чисто генетический подход к этносу явно не имеет отношения к сути дела, поскольку основные признаки этнической группы как формы

---

<sup>1</sup> Borst. Der Turmbau von Babel.

<sup>2</sup> Цит. по Leopold Spira. Bemerkungen zu Jörg Haider // Wiener Tagebuch, October 1988. S. 6.

социальной организации скорее культурные, нежели биологические.<sup>1</sup>

Кроме того, население крупных территориальных государств (даже если оставить в стороне результаты современной иммиграции) почти всегда слишком гетерогенно, чтобы претендовать на общие этнические корни; во всяком случае, из демографической истории обширных регионов Европы нам известно, насколько разнородным может быть происхождение этнических групп, особенно в тех областях, чье население резко сокращалось, а затем вновь увеличивалось за счет новых волн переселенцев, как например, на обширных пространствах центральной, восточной и юго-восточной Европы и даже в некоторых районах Франции.<sup>2</sup> Точное соотношение доримского иллирийского слоя, римлян, греков, разного рода славянских переселенцев и многочисленных волн центрально-азиатских завоевателей, от аваров до турок-османов, — а именно эти элементы образуют этнически состав любого народа юго-восточной Европы — является предметом нескончаемых споров (особенно в Румынии). Так, черногорцы, которые прежде считались сербами, а ныне объявлены особой «национальностью» и имеют свою республику в составе Югославии, представляют собой, очевидно, результат смешения сербских крестьян (осколков древнесербского королевства) с валахскими пастухами, переселившимися на обезлюдившие после турецкого завоевания земли.<sup>3</sup> Разумеет-

---

<sup>1</sup> Я опираюсь на убедительные доводы *Frederik Barth. Ethnic Groups and Boundaries.*

<sup>2</sup> *Theodore Zeldin. France 1848–1945. Oxford, 1977, vol. I. P. 46–47.*

<sup>3</sup> *Ivo Banac. The National Question in Yugoslavia. P. 44.* Эти факты заимствованы из обширной ученой работы *Istoriја Crne Gore*. Последняя, однако, была опубликована в 1970 г.

ся, нельзя отрицать, что, скажем, венгры XIII века рассматривали себя как этническую общность, поскольку они имели (или могли претендовать на) общее происхождение от центральноазиатских кочевников, говорили на диалектах языка, совершенно не похожего на языки соседних народов, занимали особую территорию, создали самостоятельное государство и, без сомнения, имели общие обычаи и традиции. Но подобные случаи довольно редки.

И однако этнос в Геродотовом понимании являлся порой в прошлом, кое-где является сейчас и может явиться в будущем фактором, способным объединить в некое подобие «протонации» те группы, которые живут на обширной территории (и даже в диаспоре) и не имеют общего государства. Это замечание можно отнести к курдам, сомалийцам, евреям, баскам и другим народам. И все же подобного рода этническая общность не имеет исторической связи с тем, что служит важнейшим признаком современной нации, т. е. с образованием национального государства или, если угодно, государства вообще, как доказывает пример древних греков. Можно даже утверждать, что именно те народы, которые обладали самым сильным и прочным чувством «племени», не просто оказывали сопротивление навязывавшемуся им извне государству современного типа, национальному или какому-то иному, но очень часто не желали принимать государство *как таковое*. Примеры легко приходят на ум: пуштуязычные народности в Афганистане и сопредельных странах, шотландские горцы до 1745 года, берберы Атласа и т. д.

---

в столице республики, само существование которой основывается на тезисе о различии сербов и черногорцев, а потому читатель должен постоянно помнить о возможной ангажированности авторов. (Это относится к балканской историографии в целом.)

И напротив, «народ», разделенный изнутри этническими (и лингвистическими) границами, какими бы явными они ни были, мог порою отождествлять себя с определенным государством. Среди жителей «святой земли Тироль», поднявшихся под руководством Андреаса Хофера против французов в 1809 году, были немцы, итальянцы и, без сомнения, те, кто говорил на латинском диалекте.\*<sup>1</sup> Полиэтническим, как известно, является и швейцарский национализм. И даже если предположить, что греческие горцы, которые в эпоху Байрона восстали против турок, являлись «националистами», — а это маловероятно, — мы не сможем не отметить, что самые грозные бойцы из их числа были не эллинами, но албанцами (сулиотами). Кроме того, следует подчеркнуть, что и среди современных национальных движений лишь очень немногие изначально основываются на обостренном чувстве этноса, хотя, пройдя определенный этап в своем развитии, нередко стимулируют его искусственно и в откровенно расистских формах. Короче говоря, не стоит удивляться, если донские казаки исключили этнос, или общее происхождение, из определения того, что делало их сыновьями Святой Руси. И между прочим, казаки были правы, поскольку они — как и многие другие сообщества свободных крестьян-воинов — имели чрезвычайно сложные этнические корни. Кроме великороссов, среди них было множество украинцев, татар, поляков, литовцев; и объединяло их не общее происхождение, но вера.

Так неужели этнические, или «расовые» характеристики не имеют никакого отношения к современному национализму? Это, конечно, не так, ибо порою несход-

---

\* Ретороманский диалект. — *Прим. пер.*

<sup>1</sup> *John W. Cole & Eric R. Wolf. The Hidden Frontier: Ecology and Ethnicity in an Alpine Valley. New York and London, 1974. P. 112–113.*

ство внешних физических данных слишком бросается в глаза, и его слишком часто использовали для того, чтобы обозначить или подчеркнуть различие между «нами» и «ими» (в т. ч. и различие национальное). По поводу подобных различий следует лишь сделать некоторые замечания. Во-первых, исторически они выполняли роль не только «вертикальных», но и «горизонтальных» границ, а в эпоху, предшествовавшую современному национализму, обычно отделяли друг от друга социальные слои, а не целые сообщества. В реальной истории различие по цвету кожи чаще всего использовалось таким образом, что внутри одного и того же общества людям с более светлой кожей приписывался более высокий социальный статус (например, в Индии), хотя массовая миграция и социальная мобильность способны были чрезвычайно запутать дело или даже совершенно изменить эту связь. В итоге «правильная» расовая классификация может теперь определяться общественным положением независимо от физических данных, как например, в андских странах, где переходящие в класс мелкой буржуазии индейцы автоматически меняют расовый статус и становятся «метисами», или *cholos*, независимо от своего внешнего вида.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> И напротив, те, кому неизвестен социальный статус данного человека, — вероятно, потому, что он лишь недавно переселился в большой город, — судят об этом статусе исключительно по цвету кожи, а значит, бывают склонны его принижать. Очевидно, именно возмущение по этому поводу и служило главной причиной политической радикализации студентов Лимы в 1960–1970-х гг., когда массы выходцев из семей провинциальных *cholos*, имевших тенденцию к социальному росту, хлынули в быстро растущие университеты. Здесь я выражаю благодарность Николасу Линчу, в неопубликованной работе которого о маоистских студенческих лидерах университета Сан-Маркос и доказывается это положение.



Во-вторых, «визуальные» этнические характеристики склонны приобретать негативный оттенок, так как они гораздо чаще используются для описания «чужой», а не своей этнической группы. Отсюда общеизвестные расовые стереотипы («еврейский нос»), относительная невосприимчивость колонизаторов к различиям цвета кожи у тех, кого огульно причисляют к «черным», и обычная фраза: «для меня все они на одно лицо», основанная, вероятно, на избирательном социальном восприятии того, что, как принято думать, является общим для «других», например, узкие глаза и желтая кожа. Там, где на этническо-расовой гомогенности своей «национальности» делают упор (а это происходит далеко не всегда), последняя принимается на веру, пусть даже самый поверхностный взгляд способен внушить на этот счет сомнения. Ибо «нам» кажется вполне очевидным, что наша «национальность» охватывает широкий спектр различных форм, величин и внешних особенностей, но при этом все ее члены имеют известные общие характеристики, к примеру, определенный тип темных волос. И только для «них» все мы выглядим одинаково.

В-третьих, подобное негативно окрашенное восприятие этноса имеет отношение к протонационализму, в сущности, лишь тогда, когда этнос ассоциируется или может быть ассоциирован с чем-то вроде государственной традиции, как это, вероятно, имеет место в Китае, Корее и Японии. Последние представляют собой чрезвычайно редкие примеры исторических государств, население которых почти или совершенно однородно в этническом отношении.<sup>1</sup> В таких случаях

---

<sup>1</sup> Так, среди (неарабских) государств Азии нынешние Япония и обе Кореи гомогенны на 99%, а 94% населения КНР составляют ханьцы. Эти государства сохранили в той или иной мере свои исторические границы.

отождествление этнической принадлежности и политической лояльности вполне возможно. Особое значение династии Мин для происходивших в Китае после ее свержения восстаний — а ее реставрация была и, возможно, до сих пор остается целью влиятельных тайных обществ — связано с тем, что в отличие от своих предшественников-монголов и преемников-маньчжуров эта династия была чисто китайской, или ханьской. Следовательно, самые явные этнические различия оказывали в целом весьма незначительное воздействие на генезис современного национализма. После испанского завоевания латиноамериканские индейцы остро чувствовали свое этническое отличие от белых и метисов, тем более что испанская колониальная система, разделив население на касты по расовому признаку, еще сильнее его подчеркнула и придала ему официальный статус.<sup>1</sup> И однако, насколько мне известно, это чувство ни разу не выливалось в какое-либо националистическое движение, и, если исключить интеллектуалов-*indigenista*, крайне редко порождало сознание паниндейской общности.<sup>2</sup> Далее, относитель-

---

<sup>1</sup> Образцовый труд по данному вопросу — *Magnus Mörner. El mestizaje en la historia de Ibero-America. Mexico City, 1961*; см. также: *Alejandro Lipschutz. El problema racial en la conquista de América y el mestizaje. Santiago de Chile, 1963*, особ. гл. V. «Хотя в *Leyes de Indias* нередко упоминаются касты, понятия и терминология остаются весьма неустойчивыми и противоречивыми» (*Sergio Bagú. Estructura social de la Colonia. Buenos Aires, 1952. P. 122*).

<sup>2</sup> Важнейшее исключение, подтверждающее выводы настоящей главы, — см. ниже, с. 216–218 — это историческая память об империи инков в Перу, которая вдохновляла мифы и (местные) движения, ставившие своей целью реставрацию этой империи. См. антологию *Ideologia mesiánica del mundo andino*, ed. *Juan M. Ossio A. (Lima, 1973)* и *Alberto Flores Galindo. Buscando un Inca: identidad y Utopia en los*

но темный цвет кожи является общим признаком африканцев, живущих к югу от Сахары, и именно он отделяет их от белых завоевателей. Ощущение *négritude* \* действительно существует, и не только в среде черных интеллектуалов и элиты: оно возникает всякий раз, когда группа лиц с более темной кожей имеет дело с людьми светлокожими. Это чувство способно превратиться в фактор политики, и однако само по себе сознание цвета кожи не стало причиной образования ни одного африканского государства, — даже Ганы и Сенегала, основатели которых вдохновлялись panafricanскими идеями. Подобное чувство не могло повлиять и на фактические границы африканских государств, унаследованные от бывших европейских колоний, единственным источником внутренней цельности которых были несколько десятилетий колониальной администрации.

А значит, у нас, в сущности, остается два критерия — те самые признаки Святой Руси, как ее понимали казаки XVII века: религия и верховная власть (государство).

Связь между религией и национальным самосознанием может быть очень тесной, как это доказывает пример Польши или Ирландии. Она крепнет по мере

---

Andes (Navana, 1986). И однако, из проделанного Флоресом превосходного анализа идеологии индейских движений и состава их участников явствует, что а) выступления индейцев против *mistis* имели по существу социальный характер; б) «национальная» окраска оставалась им чужда, — хотя бы потому, что лишь после Второй мировой войны индейцы Андов начали ощущать себя жителями Перу (с. 321) и в) что тогдашние интеллектуалы — *indigenista* — практически ничего не знали о реальных индейцах (с. 292).

\* Принадлежность к чернокожей расе; негритюд, дух чернокожей расы (фр.). — Прим. пер.

того, как национализм из идеологии меньшинства и отдельных групп активистов превращается в массовую силу. В героическую эпоху палестинского *Йишува* сионистские боевики предпочли бы, скорее, демонстративно есть бутерброды с ветчиной, нежели носить ритуальные головные уборы, как это делают ревностные иудеи в современном Израиле. В арабских странах национализм сегодня настолько прочно отождествляется с исламом, что и друзьям, и врагам бывает чрезвычайно трудно включить в его рамки арабские христианские меньшинства — коптов, маронитов и греков-католиков, — которые были главными его зачинателями в Египте и Турецкой Сирии.<sup>1</sup> Все более тесная идентификация национализма с религией характерна также и для ирландского национального движения. И это не удивительно. Ведь религия — это старый испытанный способ, позволяющий через общую обрядовую практику и своеобразное братское чувство соединить людей, в остальном имеющих между собой мало общего.<sup>2</sup> А некоторые ее варианты, например, иудаизм, специально предназначаются для того, чтобы служить знаком принадлежности к определенной человеческой общности.

И все же религия — это довольно-таки парадоксальная и двусмысленная «скрепа» для протонационализма и даже для современного национализма, который чаще всего (по крайней мере, в периоды своей особой воинственности) относился к ней весьма сдер-

---

<sup>1</sup> *George Antonius. The Arab Awakening. London, 1938;* его выводы в целом подтверждаются у *Maxime Rodinson. Développement et structure de l'arabisme* в книге *Marxisme et monde musulman. Paris, 1972. P. 587–602.*

<sup>2</sup> *Fred R. Van der Meijden. Religion and Nationalism in Southeast Asia: Burma, Indonesia, the Philippines. Madison, 1963.*

жанно, поскольку усматривал в религии силу, способную оспорить монопольное право «нации» на лояльность ее членов. Как бы то ни было, действительно *племенные* религии оперируют, как правило, на слишком ограниченном для современной нации пространстве и противятся его расширению. С другой стороны, мировые религии, возникшие между VI в. до н. э. и VII в. н. э., по определению универсальны, а потому должны стирать этнические, языковые, политические и прочие различия. Испанцы и индейцы в колониальные времена, парагвайцы, бразильцы и аргентинцы после обретения независимости были в равной мере верными сыновьями римской церкви и с помощью своей религии не могли признавать себя в качестве самостоятельных общностей. К счастью, системы универсальных истин нередко конкурируют, и народы, живущие на границах распространения одной из них, способны избрать в качестве знака этнической принадлежности другую. Например, русские, украинцы и поляки могли отличать друг друга по религиозному признаку как соответственно православных, униатов и римских католиков (ведь именно христианство с наибольшим успехом порождало соперничающие между собой универсальные истины). К подобному явлению следует, очевидно, отнести и то обстоятельство, что обширная конфуцианская китайская империя охватывается с суши огромным полукругом малых народов, которые исповедуют иные религии (главным образом, буддизм, но также и ислам). Тем не менее стоит отметить, что господство транснациональных религий, во всяком случае, в тех регионах, где зародился современный национализм, ограничивало возможности религиозно-этнической идентификации. Подобная идентификация далеко не повсеместна; там же, где отождествление религии и этноса действительно

существует, оно, как правило, отличает данный народ не от всех его соседей, но лишь от некоторых. К примеру, римский католицизм отделяет литовцев не от поляков (столь же ревностных католиков), но от лютеран (немцев и латышей) и православных (русских и белорусов). В Европе лишь ирландские националисты, не имеющие иных соседей, кроме протестантов, определяются исключительно через свою религию.<sup>1</sup>

Но что же конкретно означает идентификация этноса с религией там, где она имеет место? Очевидно, в некоторых случаях народ избирает этническую религию прежде всего потому, что чувствует свое отличие от соседних народов и государств. Иран шел своим собственным «божественным путем» и в качестве зороастрийского государства, а после обращения в ислам (или, по крайней мере, со времени Сефевидов), и в качестве государства шиитского. Ирландцы идентифицировали себя с католицизмом лишь после того, как не сумели или, скорее, не пожелали присоединиться вслед за англичанами к Реформации; а массовая колонизация части Ирландии протестантскими переселенцами, которые захватили у ирландцев лучшие земли, едва ли могла побудить их к обращению в протестантскую веру.<sup>2</sup> Церковь Англии (Англиканская церковь) и [пресвитерианская] Церковь Шотлан-

---

<sup>1</sup> Однако в XIX веке различия между ревностно верующими, с одной стороны, и людьми равнодушными или безбожными, с другой, позволили расширить сферу использования национально-религиозных символов. Это побудило католическую церковь с сочувствием отнестись к таким национальным движениям, как бретонское, баскское и фламандское.

<sup>2</sup> В таких графствах, как Антрим, говорят: достаточно взять в руки горсть земли, чтобы определить, кем населена данная местность — католиками или протестантами.



дии обладают четкими политическими характеристиками, хотя вторая из них представляет ортодоксальный кальвинизм. А имевший место в первой половине XIX века массовый переход в диссентерские (неангликанские) протестантские секты жителей Уэльса (прежде не слишком склонных к поискам особого религиозного пути) явился, очевидно, элементом роста национального самосознания. (В недавнее время этот процесс стал предметом тщательного анализа).<sup>1</sup> С другой стороны, столь же ясно, что обращение в разные веры может способствовать формированию двух различных национальностей, ведь именно римский католицизм (вместе со своим «побочным продуктом», латинской графикой) и православие (вместе с кириллицей) разделяют сербов и хорватов, имеющих общий литературный язык. Хотя, опять же, существуют и такие народы — например, албанцы, — которые, несомненно, обладали определенным протонациональным самосознанием, будучи при этом разделены бóльшим числом религиозных границ, чем это обычно свойственно для стран, сопоставимых по своей территории с Уэльсом (различные формы ислама, православие, католицизм). И наконец, далеко не ясно, действительно ли само по себе чувство принадлежности к определенной религии, каким бы сильным оно ни было, сходно по своей природе с национализмом. Сейчас эти феномены принято отождествлять, ибо мы уже отвыкли от такой модели многокорпоративного государства, где различные религиозные общины сосуществуют под эгидой верховной власти в качестве до известной степени автономных самоуправляющихся образований, как это

---

<sup>1</sup> Cf. *Gwyn Alfred Williams. The Welsh in their History. London and Canberra, 1982; When was Wales? London, 1985.*

было, например, в Османской империи.<sup>1</sup> Отнюдь не очевидно, что создание Пакистана явилось результатом национального движения среди мусульман тогдашней британской Индии, хотя в нем можно видеть реакцию против всеиндийского национального движения, не сумевшего в должной мере отразить особые настроения и потребности мусульман. И хотя в эпоху современных национальных государств территориальное разделение казалось единственно возможным выходом, едва ли можно утверждать, что Мусульманская Лига с самого начала стремилась к образованию отдельного государства или что она вообще стала бы этого добиваться, если бы не непреклонность Джинны (который и в самом деле представлял собой нечто вроде мусульманского националиста, ибо верующим он, безусловно, не был). И вполне достоверно, что основная масса простых мусульман мыслила в терминах религиозных общин, а не национальностей, и едва ли сумела бы согласовать понятие национального самоопределения с верой в Аллаха и Его Пророка.

Без сомнения, нынешние пакистанцы, как и бангладешцы, успев прожить определенное время в отдельном государстве, рассматривают себя в качестве членов самостоятельной (исламской) нации. Без сомнения, боснийские или китайские мусульмане в конце концов станут считать себя особой национальностью, поскольку их правительства относятся к ним именно так. И тем не менее, эти, как и многие другие национальные феномены, явятся (или являются) результатами *ex post facto*. В самом деле, какой бы энергичной ни была идентификация мусульман с исламом, следует отметить, что в той обширной области, где

---

<sup>1</sup> О системе миллетов в Османской империи см.: Н. А. R. Gibb & Н. А. Bowen. *Islamic Society in the West*. Oxford, 1957, vol. I, pt. 2. P. 219–226.

ислам соприкасается с другими религиями, существует не так уж много протонациональных или национальных движений с ясно выраженным исламским характером (очевидное исключение — Иран). То, что они, возможно, приобретают подобный характер в нынешнем противостоянии Израилю (или в постсоветских среднеазиатских республиках), это уже другой вопрос. Одним словом, связи между религией и протонациональной или национальной самоидентификацией остаются чрезвычайно сложными и неясными. Они, безусловно, не терпят поверхностных обобщений и поспешных выводов.

И все же, как подчеркивает Гельнер,<sup>1</sup> контакт с более крупными и развитыми, а в особенности — с письменными культурами (нередко опосредуемый принятием одной из мировых религий) действительно позволяет народу приобрести такие качества, которые впоследствии могут помочь ему структурироваться в нацию. Гельнер убедительно доказывает, что те африканские народы, которые вступают в подобные культурные контакты, имеют больше шансов выработать собственный национализм. В качестве примера можно привести регион Африканского Рога, где как христиане-амхарцы, так и мусульмане-сомалийцы с большей легкостью превратились в «государственные народы», поскольку они уже были «народами книги», — хотя, по выражению Гельнера, в различных и соперничающих между собою изданиях. В целом это выглядит довольно правдоподобно. И все же было бы интересно выяснить, в какой степени факт принадлежности соответствующих групп к различным христианским исповеданиям повлиял на единственные в неарабской Африке (помимо упомянутых выше) политические

---

<sup>1</sup> Gellner. Nations and Nationalism. Oxford, 1983.

феномены, напоминающие по своему характеру современный массовый национализм, а именно попытку отделения от Нигерии провинции Биафра (1967) и создание Южно-африканского Национального Конгресса.

Если религия сама по себе и не является необходимым отличительным признаком протонациональности (хотя мы можем понять, почему в XVII веке она стала таковым для русских, испытывавших давление со стороны католической Польши и мусульман-турок и татар), то «святые иконы», напротив, представляют собой важнейший компонент как протонациональности, так и современного национализма. Они олицетворяют обряды, ритуалы или общие коллективные действия — единственное средство придать осязаемую реальность той общности, которая в противном случае останется воображаемой. Это могут быть изображения (как например, собственно иконы) или практические действия, вроде пяти ежедневных молитв у мусульман, или даже ритуальные обороты, например, мусульманское «Аллах Акбар» или еврейское «Шема Исроэль». Это могут быть образы, имеющие собственное имя и отождествляемые с территориями, достаточно обширными для того, чтобы образовать нацию, как например, Матерь Божья Гваделупская в Мексике или Монсерратская Божья Матерь в Каталонии. Это могут быть периодические празднества или состязания, соединяющие воедино разрозненные группы, как например, греческие Олимпийские игры или позднейшие националистические изобретения в том же духе, вроде каталонских *Jocs Florals*, валлийских *Eisteddfodan* и т. д. Смысл и функцию «святых икон» можно проиллюстрировать повсеместным использованием обычных кусков цветной ткани, а именно флагов, в качестве символов современных наций и их связью с особо знаменательными ритуальными действиями и важными событиями.

И однако, какими бы ни были их природа и форма, «святые иконы», подобно самой религии, могут оказаться слишком широкими или слишком узкими для того, чтобы служить адекватным символом протонации. Саму по себе Деву Марию трудно ассоциировать с каким-то ограниченным районом католического мира, а на каждую местную Богоматерь, действительно ставшую протонациональным символом, приходится десятки и сотни таких, которые остаются покровительницами небольших сообществ или по другим причинам не могут иметь отношения к нашему предмету. С протонациональной точки зрения самыми влиятельными и действенными являются, бесспорно, те «иконы», которые прямо ассоциируются с государством, — в донациональной фазе его развития — с божественным или имеющим божественное помазание царем, королем или императором, чья держава совпадает с пределами будущей нации. К подобной ассоциации совершенно естественным образом апеллируют те правители, которые *ex officio* \* являются главами своих церквей (как например, в России), однако королевский сан обнаруживает свою магическую силу даже там, где церковь и государство разделены (Англия и Франция).<sup>1</sup> Теократий, способных развиться в нацию, сравнительно немного, а потому нам трудно судить, каковы в этом смысле возможности власти, опирающейся исключительно на божественный авторитет. Решение данного вопроса следует предоставить специалистам по истории монголов и тибетцев или, если взять более «западный» пример, историкам средневековой Армении. Однако в Европе XIX века этот авторитет оказался явно недостаточным, в чем и убеди-

---

\* По должности, по сану (лат.). — Прим. пер.

<sup>1</sup> Классическим анализом этой темы по-прежнему остается работа: *Marc Bloch. Les Rois thaumaturges*. Paris, 1924.

лись итальянские неогвельфы, пытавшиеся построить итальянский национализм на основе идеи папства. Они потерпели неудачу — хотя папство представляло собой *de facto* итальянский институт, а вплоть до 1860 года — даже *единственный* в прямом смысле слова общеитальянский институт. И все же едва ли можно было всерьез рассчитывать на то, что Святая Церковь согласится превратить себя в узконациональное, а тем более националистическое учреждение, и меньше всего следовало ожидать подобного от Пия IX. О том, чем могла бы стать Италия XIX века, объединившись под знаменем папы, не стоит даже строить предположения.

Это приводит нас к последнему и, вне всякого сомнения, важнейшему критерию протонационализма — чувству принадлежности (в настоящем или в прошлом) к устойчивому политическому образованию.<sup>1</sup> Безусловно, самая мощная протонациональная «скрепа» из всех нам известных — это, выражаясь жаргоном XIX века, «историческая нация», в особенности если государство, образующее «каркас» будущей «нации», ассоциируется с определенным *Staatsvolk*, или «государственным народом» (великороссы, англичане, кастильцы и т. д.). Здесь, однако, важно провести четкую грань между прямым и косвенным воздействием «национальной историчности».

Ибо та «политическая нация», которая первоначально создает систему понятий и образов для буду-

---

<sup>1</sup> Не следует, однако, думать, будто подобное чувство затрагивало все слои населения одинаковым образом или охватывало нечто, соотносимое с территорией современной «нации», или предполагало существование национальности современного типа. Например, в массовом сознании греков (вероятно, уходившем корнями в наследие византийской эпохи) это было чувство принадлежности к Римской империи (*romaiosyne*).



щего «народа-нации», представляет в большинстве случаев лишь малую часть жителей данного государства, а именно его привилегированную элиту: титулованную знать и дворянство. Описывая крестовые походы как *gesta Dei per francos*,\* французские феодалы отнюдь не намеревались ассоциировать торжество креста с основной массой населения Франции (и даже той части территории, которая носила это название в конце XI века), — хотя бы потому, что большинство людей, считавших себя потомками франков, видели в подвластной им черни потомков народа, франками покоренного. (В демократических целях этот взгляд был заменен на прямо противоположный Республикой, которая упорно внушала через свои школьные учебники, что «нашими предками» были не франки, но галлы. В послереволюционную эпоху к нему вновь обратились — на этот раз в реакционных и евгенических целях — реакционеры вроде графа Гобино.) В этом «национализме знати» можно, разумеется, видеть протонациональный феномен, поскольку «три элемента: *patrio*, политическая *fidelitas* и *communitas*, т. е. понятия “национальности”, политической “лояльности” и “политической общности” <...> уже слились воедино в социально-политическом сознании и в эмоциях определенной общественной группы (*einer gesellschaftlichen Gruppe*)».<sup>1</sup> Он является прямым предшественником национализма в таких странах, как Польша и Венгрия, где идея польской и венгерской нации могла превосходно уживаться с тем фактом, что значительная часть жителей земель, подвластных короне святого Стефана или Речи Посполитой, с точки зрения современного понимания нации, венграми и по-

\* Божье дело, творимое франками (лат.). — Прим. пер.

<sup>1</sup> Jenő Szűcs. Nation und Geschichte. Budapest, 1981. S. 84–85.

ляками не были. Эти плебеи шли в расчет не больше, чем плебеи-поляки или венгры, и из состава «политической нации» они исключались по определению. Подобную «нацию» ни в коем случае нельзя смешивать с современной национальностью.<sup>1</sup>

Общая идея «политической нации» и связанная с ней терминология могли, конечно, со временем распространиться настолько, чтобы охватить нацию как совокупность всех жителей данной страны, хотя происходило это почти наверняка много позже, чем это угодно думать ретроспективному национализму. Кроме того, историческая связь между двумя типами нации почти наверняка была косвенной. В самом деле, у нас есть множество свидетельств того, что простые люди могли отождествлять себя со страной и народом в целом через личность верховного правителя, царя или короля (как это делала, например, Жанна Д'Арк), — однако весьма сомнительно, чтобы крестьяне пожелали отождествить себя со «страной», состоящей из сословия

---

<sup>1</sup> «Дворяне были единственным классом, члены которого поддерживали между собой постоянную связь. Средством ее служили административные округа и сословные собрания, где представители знати обсуждали важные вопросы и принимали решения в качестве «хорватской политической нации». Это была нация без «национальности» <...>, т. е. без национального самосознания <...>, поскольку дворяне не отождествляли себя с прочими членами хорватской этнической общности — крестьянами и горожанами. Феодал-«патриот» любил свое «отечество», однако подобное «отечество» охватывало в сущности лишь поместья и владения равных ему по рангу лиц и «королевство» вообще. «Политическая нация», членом которой он являлся, означала для него территорию и традиции прежнего государства: *Mirjana Gross. On the integration of the Croatian nation: a case study in nation-building // East European Quarterly, XV, 2, June 1981, p. 212.*

господ, которое неизбежно являлось главной мишенью их недовольства. Если же они по какой-то причине испытывали привязанность к своему конкретному господину, то это не предполагало ни сочувствия к интересам остальной части дворянства, ни внутренней связи с территорией более обширной, чем их и его родной край.

И когда в донациональную эпоху мы встречаем то, что в современных понятиях было бы описано как массовое национальное движение против иноземных захватчиков (например, в Центральной Европе XV–XVI вв.), следует помнить: его идеология была, по всей видимости, не национальной, но социальной и религиозной. Вероятно, крестьяне приходили к выводу, что их предали дворяне, чей долг как *bellatores* \* состоял в том, чтобы защищать их от турок. А может быть, они, дворяне, и вовсе вступили с захватчиками в тайный сговор? В итоге простому народу оставалось защищать истинную веру против язычников собственными силами с помощью крестового похода.<sup>1</sup> При определенных условиях подобные движения могли заложить основы более широкого национального патриотизма, как например, в гуситской Богемии (первоначально гуситская идеология не была ориентирована на чешский национализм) или на военных границах христианских государств в среде вооруженных свободных крестьян (примером служат упомянутые выше казаки). И все же там, где традиция государственности не обеспечивала эти чувства твердым и устойчивым каркасом, подобного рода низовой патриотизм редко мог прямо и непосредственно перерасти в современный национальный патриотизм.<sup>2</sup> А правитель-

<sup>1</sup> Szűcs. Nation und Geschichte, S. 112–125.

\* Воинов (лат.). — Прим. пер.

<sup>2</sup> Ibid. P. 125–130.

ства старого режима едва ли к этому стремились, ибо долг подданных этих режимов (кроме тех, на кого были специально возложены воинские обязанности) заключался не в преданности и деятельном рвении, но в послушании и спокойствии. Фридрих Великий вознегодовал, когда верноподданные берлинцы предложили ему помощь в отражении подступавших к столице русских войск: война, считал король, это дело солдат, а не штатских. Все мы помним характерную реакцию императора Франца II на известие о восстании его верных тирольцев: «Сегодня они стали патриотами ради меня, а завтра будут патриотами против меня».

Тем не менее, нынешняя или прежняя причастность к историческому (или действительному) государству способна оказывать непосредственное воздействие на сознание простого народа и порождать протонационалистические чувства, а может быть даже, как в тюдоровской Англии, и нечто близкое к современному национализму. (Было бы излишним педантизмом отказывать в этом ярлыке шекспировским пропагандистским пьесам из английской истории, но мы, разумеется, не вправе предполагать, что обыкновенный зритель или читатель находил в них тогда то же самое, что и мы сейчас.) Нет причин отвергать наличие протонациональных чувств у сербов до XIX века, и вовсе не потому, что сербы были православными в отличие от своих соседей, католиков и мусульман, — данный признак не смог бы отличить их от болгар, — но потому, что память о древнесербском королевстве, разгромленном турками, сохранялась в песнях, героических сказаниях и — что, может быть, еще важнее — в ежедневном богослужении сербской церкви, канонизировавшей большинство сербских королей. То, что в России был царь, безусловно, помогало русским сознавать себя в качестве своего рода нации. Вполне очевидно, сколь привлекательной — ввиду потенци-

ального воздействия на массы — может быть традиция государственности для современного национализма, цель которого — становление нации в форме территориального государства. Это заставляло некоторые из национальных движений выходить далеко за пределы реальной исторической памяти своих народов, дабы отыскать в прошлом подобающее (и подобающим образом внушительное) национальное государство. Так обстояло дело с армянами, которые после I в. до н. э. не имели сколько-нибудь крупного государства, и с хорватами, чьи националисты видели в себе (без особых оснований) наследников «хорватской политической нации». Здесь, как и во всех других случаях, националистическая пропаганда XIX века оказывается весьма ненадежным источником сведений о том, что же на самом деле думали и чувствовали простые люди, прежде чем они встали под знамена национальной борьбы.<sup>1</sup> Это, конечно, не означает, что протонациональное самосознание, на которое мог бы опереться позднейший национализм, не было свойственно армянам или (хотя, вероятно, и в значительно меньшей степени) хорватским крестьянам до XIX века.

И однако там, где, как нам представляется, существует преемственная связь между протонационализмом и национализмом, она вполне может оказаться мнимой. Так, например, нет никакой исторической преемственности между еврейским протонационализмом и современным сионизмом. Немецкие жители «святой земли Тироль» стали в нашем веке особым подклассом немецких националистов и самыми горячими сторонниками Адольфа Гитлера. Все это так, и однако данный процесс, превосходно проанализированный в на-

---

<sup>1</sup> Недостаточный учет этого обстоятельства делает аргументы I. Ванас'а (в остальном превосходные) менее убедительными, когда он ведет речь о Хорватии.

учной литературе, не имеет внутренней связи с тирольским народным восстанием 1809 года под руководством хозяина постоянного двора Андреаса Хофера (этнического и лингвистического немца), пусть даже пангерманским националистам угодно думать иначе.<sup>1</sup> А иногда мы можем обнаружить полную несовместимость протонационализма и национализма даже там, где они существуют одновременно и известным образом соприкасаются. Поборники и зачинатели греческого национализма первой половины XIX века (люди ученые), бесспорно, вдохновлялись воспоминаниями о древней эллинской славе, которая вызывала восторженные чувства и у образованных — классически образованных! — филэллинов за пределами Греции. Созданный ими (и для них) национальный литературный язык (т. н. «кафаревуса») был и остается неоклассическим языком высокого стиля, который стремится вернуть речь потомков Фемистокла и Перикла к «истинным» корням, очистив ее от уродливых следов двухтысячелетнего рабства. И однако реальные греки, взявшиеся за оружие во имя того, что впоследствии оказалось новым независимым национальным государством, изъяснялись по-древнегречески не в большей мере, чем итальянцы — по-латыни. Они говорили и писали на обычном народном языке (т. н. «димотика»). Перикл, Эсхил, Еврипид, славные деяния древних Афин и Спарты едва ли что-либо для них значили, а услышав эти слова, они воспринимали их как нечто весьма далекое от действительной жизни. Парадоксальным образом они отстаивали скорее «Рим», нежели «Грецию» (*romaiosyne*), иначе говоря, видели в себе наследников христианизированной Римской империи (Византии). Они сражались как христиане против неверных мусульман, как римляне против «турецких собак».

---

<sup>1</sup> *Cole & Wolf. The Hidden Frontier. P. 53, 112–113.*



Тем не менее вполне очевидно — хотя бы из только что приведенного примера Греции, — что протонационализм, там где он существовал, облегчал задачу национализма, каким бы значительным ни было отличие между ними, ибо уже возникшие и достаточно развившиеся чувства и символы протонациональной общности могли быть поставлены на службу современному государству. Сказанное, однако, не означает, что оба эти феномена тождественны, или что один из них неизбежно влечет за собой другой.

Ибо вполне очевидно, что протонационализм сам по себе не способен создавать национальности, нации, а тем более государства. Национальных движений (связанных или не связанных с определенным государством) гораздо меньше, нежели человеческих групп, способных, согласно нынешним критериям «нации», подобные движения создать; и их, бесспорно, меньше, чем тех коллективов, которые обладают чувством общности, по природе своей едва ли отличимым от протонационального самосознания. Сказанному не противоречит тот факт, что серьезные притязания на статус независимого государства могут выдвигать такие малочисленные группы, как 70 000 человек, борющихся за независимость Западной Сахары, или 120 000 человек, уже фактически объявивших независимость турецкой части Кипра (если даже отвлечься от вопроса о самоопределении 1800 обитателей Фолклендских, или Мальвинских островов). Следует согласиться с Гельнером: повсеместное, на первый взгляд, преобладание национализма в современной идеологии есть своего рода оптическая иллюзия. Если бы протонационализма самого по себе было достаточно для образования нации, уже давно возникли бы серьезные национальные движения мапучей или аймара. Если же подобные движения появятся завтра,

то это будет означать, что в действие вступили иные факторы.

Во-вторых, пусть даже протонациональная основа желательна и, может быть, необходима для серьезного национального движения, ставящего своей целью образование самостоятельного государства (хотя сама по себе она явно недостаточна для создания такого движения), она, эта основа, *не является* необходимой для формирования национального патриотизма и чувства лояльности, коль скоро подобное государство *уже существует*. Не раз отмечалось, что нации чаще всего представляют собой следствие образования государства, а не его причину. США и Австралия — характерные примеры наций-государств, все специфические национальные черты и признаки которых сформировались после второй половины XVIII века, а до основания соответствующих государств попросту не могли существовать. Едва ли, впрочем, стоит напоминать, что самого по себе основания государства еще недостаточно для создания нации.

И наконец, следует еще раз призвать к осторожности в выводах. Мы слишком мало знаем о том, что происходило прежде — и, если угодно, что происходит сейчас в умах и душах большинства относительно «бессловесных» мужчин и женщин, чтобы сколько-нибудь уверенно рассуждать об их мыслях и чувствах по поводу национальностей и национальных государств, притязающих на их лояльность. А потому истинная связь между протонациональным самосознанием и последующим национальным или государственным патриотизмом во многих случаях неизбежно останется для нас непонятной. Мы знаем, что имел в виду Нельсон, когда накануне Трафальгарского сражения дал своему флоту сигнал: «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг», — однако нам не-

известно, какие мысли посещали в тот день матросов Нельсона (хотя было бы неразумно сомневаться в том, что некоторые из них можно определить как «патриотические»). Мы знаем, каким образом национальные партии и движения интерпретируют действия тех представителей нации, которые оказывают им поддержку, — однако нам неизвестно, что конкретно желают получить сами эти «покупатели», приобретая набор весьма разнородных товаров, предложенных им в одной упаковке торговцами от национальной политики. Иногда мы способны довольно точно определить, какие элементы из этой смеси им не нужны (например, в случае с ирландским народом — повсеместное употребление гаэльского языка), но подобные «молчаливые референдумы» по отдельным вопросам редко бывают возможны на практике. Мы постоянно рискуем впасть в ошибку, принявшись ставить людям оценки за те предметы, которые они не изучали, и за тот экзамен, который они вовсе не собирались сдавать.

Вообразим, к примеру, что готовность умереть за родину мы примем за доказательство патриотизма, — само по себе это кажется довольно разумным, а националисты и национальные правительства всегда были склонны понимать дело именно так, что с их стороны вполне естественно. В таком случае нам следует думать, что солдаты Вильгельма II и Гитлера — по всей видимости, более восприимчивые к национальным аргументам — сражались более храбро, чем гессенцы XVIII века, проданные за границу в качестве наемников собственным государем и национальной мотивации явно не имевшие. Но так ли это было на самом деле? И действительно ли они дрались лучше, чем, скажем, турецкие солдаты эпохи Первой мировой войны, которых едва ли можно было считать «патриотами своей нации», или гуркские стрелки, которых ника-

кой патриотизм — ни британский, ни непальский — наверняка не воодушевлял? Эти довольно-таки абсурдные вопросы мы ставим не для того, чтобы добиться ответа или стимулировать исследования, но чтобы указать на густой туман, окружающий проблему национального сознания простых людей, и прежде всего в ту эпоху, когда современный национализм еще не успел превратиться в массовую политическую силу. А для большинства наций (даже в Западной Европе) процесс этот завершился не ранее второй половины XIX века. Тогда, по крайней мере, прояснился сам выбор, — хотя, как мы убедимся в дальнейшем, отнюдь не его содержание.





## *Глава 3*

### ПОЗИЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВ

**А** теперь мы оставим простых обывателей и перенесемся на те вершины, с которых люди, руководившие обществами и государствами после Французской революции, смотрели на проблемы наций и национальностей.

Государство современного типа, получившее свою систематическую форму в эпоху французских революций (хотя во многих отношениях предвосхищенное развитием европейских монархий XVI–XVII вв.), в целом ряде аспектов представляло собой исторически новый феномен. С точки зрения географии, такого рода государство определялось как особая территория (желательно сплошная и непрерывная), все жители которой подчинялись единой государственной власти; причем от других подобных территорий ее отделяли ясные и четкие границы. В политическом отношении государство управляло этим населением прямо и непосредственно, не прибегая к промежуточным механизмам в виде особой касты правителей или автономных корпораций. Оно стремилось, насколько это вообще возможно, подчинить всю свою территорию единым законам и административным установлениям, хотя после Французской революции уже не пыталось навязать населению общую религиозную или светскую

идеологию. Со временем государство обнаружило, что ему приходится все в большей степени учитывать мнения своих подданных, или граждан, поскольку его политическое устройство предоставляло им определенную возможность высказаться (обычно — через разного рода выборных представителей), и/или поскольку государство нуждалось в их поддержке, согласии или практической активности иного рода, например, в качестве налогоплательщиков или потенциальных призывников. Короче говоря, государство управляло территориально определенным «народом», выступая в роли высшего «национального» органа на данной территории, чьи представители постепенно получали реальную возможность доходить до самого скромного обитателя самой захолустной деревеньки.

В течение XIX века подобное вмешательство стало в «современных» государствах столь повсеместным и обычным делом, что лишь поселившись в каком-нибудь медвежьем углу, семья могла надеяться на то, что кто-то из ее членов сумеет избежать постоянных контактов с национальным государством и его агентами — например, через почтальона, полицейского или жандарма, а впоследствии и через школьного учителя; через служащих железных дорог (там, где последние находились в государственной собственности), не говоря уже об армейских гарнизонах и военных оркестрах, игру которых можно было расслышать и с более далекого расстояния. Периодические переписи населения (правда, ставшие всеобщими не ранее середины XIX века), теоретически обязательное посещение начальной школы и — там, где это было возможно, — всеобщая воинская повинность позволяли государству осуществлять все более полный и строгий учет своих подданных и граждан. Личные документы и система регистрации, введенные в хорошо управляемых государствах с развитой бюрократией, ставили



жителей в еще более тесную связь с административным аппаратом, в особенности если человеку приходилось переселяться с одного места на другое. В государствах, предоставлявших гражданскую альтернативу церковному освящению важнейших событий человеческой жизни (а таких государств было большинство), человек, присутствовавший на этих эмоционально насыщенных церемониях, вполне мог столкнуться с представителями власти, сами же эти акты непременно фиксировались, и, таким образом, механизм переписей дополнялся регистрацией рождений, браков и смертей. Государство и его граждане с неизбежностью вступали в тесные ежедневные контакты, неизвестные прежним временам. А происшедшая в XIX веке революция средств сообщения, символами которой стали железная дорога и телеграф, укрепила и сделала вполне обыденной связь между центральной властью и ее самыми отдаленными форпостами.

Подобная радикальная трансформация ставила перед государством и правящими классами два вида чрезвычайно важных политических проблем. (Здесь мы оставляем в стороне вопрос о соотношении сил центрального правительства и местных элит, которое в Европе, где федерализм представлял собой весьма редкое и вымирающее явление, неуклонно изменялось в пользу национального центра).<sup>1</sup> Во-первых, возникали вопро-

---

<sup>1</sup> Упразднение особого ирландского парламента, отмена польской автономии, господство в некогда федеральной Германии одного государства-гегемона (Пруссии) и единого общенационального парламента, превращение Италии в централизованное государство, учреждение в Испании единой полиции, независимой от местных интересов, — вот лишь некоторые примеры этого процесса. Центральные правительства, например в Британии, могли оставлять значительный простор для местной инициативы, и все же единственным федеральным правительством в Европе накануне 1914 г. было швейцарское.

сы технико-административного порядка: как лучше всего осуществить на практике новую форму правления, при которой каждый взрослый житель (мужского пола) — а как субъект управления, каждый человек вообще, независимо от пола и возраста — был бы прямо и непосредственно связан с центральной властью. Эти вопросы занимают нас лишь постольку, поскольку их решение предполагало создание административной машины, состоящей из множества органов и агентов, что автоматически влекло за собой проблему письменного и даже разговорного языка (или языков) общения внутри государства, — проблему, которую установка на поголовную грамотность могла сделать политически весьма значимой. Доля правительственных агентов в общем числе занятых была, по нашим меркам, невелика — около 1910 г. самое большее 1 : 20 — но она увеличивалась, и порой довольно быстро, а в количественном выражении стала уже весьма внушительной: ок. 700 000 государственных служащих в Цислейтанской Австрии (1910), более полумиллиона во Франции (1906), ок. 1 500 000 человек в Германии (1907), 700 000 в Италии (1907).<sup>1</sup> Попутно отметим, что среди отдельных профессий и занятий, требовавших грамотности, чиновничество было, вероятно, самой многочисленной корпорацией.

Во-вторых, описанные выше перемены ставили политически гораздо более острую проблему лояльности гражданина по отношению к государству и существующему строю и его идентификации с ними. Пока рядовой гражданин и секуляризованная общенациональная власть не встретились лицом к лицу, верность государству и идентификация с его интересами либо

---

<sup>1</sup> *Peter Flora. State, Economy and Society in Western Europe 1815–1975, vol. I, chapter 5. Frankfurt, London and Chicago, 1983.*

вовсе не требовались от простого обывателя (не говоря уже о женщине из низших классов), либо обеспечивались с помощью всех тех автономных или промежуточных механизмов, которые революционная эпоха разрушила или ослабила: через религию, через социальную иерархию («God bless the squire and his relations/and Keep us in our proper stations»)\* через нижестоящие по отношению к верховному владыке автономные органы власти или через самоуправляющиеся сообщества и корпорации, — все они служили своего рода «амортизатором» между подданным и королем, позволяя монархии олицетворять справедливость и добродетель. В сущности, это была «лояльность» детей по отношению к родителям или женщин по отношению к мужчинам, действовавшим, как предполагалось, «от их имени и в их интересах». Что же касается классического либерализма, который нашел свое выражение в режимах, созданных Французской и Бельгийской революциями 1830 г. и британской эпохой Реформ после 1832 г., то он уклонился от решения проблемы участия всех граждан в политической жизни, поскольку предоставил политические права исключительно собственникам и людям образованным.

Но в последней трети XIX века становилось все более очевидным, что дальнейшая демократизация политики или, по крайней мере, рост значения выборов при постоянном расширении электората представляют собой неизбежный процесс. С подобной же ясностью, во всяком случае, начиная с 1880-х годов, обнаружилось: всюду, где человеку из народа предоставляли хотя бы минимальные гражданские права (за редчайшим исключением простые женщины остава-

---

\* Да благословит Господь сквайра (помещика) и его родню. А нас пусть оставит в прежнем состоянии (англ.). — *Прим. пер.*

лись вне политической жизни), уже нельзя было рассчитывать на то, что он автоматически проявит лояльность или окажет поддержку государству или вышестоящим лицам, — тем более если класс, к которому он принадлежал, был исторически новым и, следовательно, не имел в структуре общества освященного традицией места. А потому государству и правящим классам приходилось теперь вести упорную борьбу со своими конкурентами за симпатии простого народа.

В то же время, как показывает современная война, интересы государства стали зависеть от усилий рядового гражданина в невиданной прежде степени. Комплектовалась ли армия призывниками или добровольцами, готовность человека служить в ней стала важной переменной в расчетах правительств, — точно так же, как и реальная физическая и моральная годность граждан для подобной службы, превратившаяся в предмет систематического изучения (вспомним знаменитое исследование о «физическом вырождении» британцев, проведенное после англо-бурской войны). Стратегам приходилось теперь учитывать в своих планах степень готовности к жертвам, которую можно было потребовать от гражданского населения, поэтому британское военное руководство, опасаясь ослабить флот, — гарантию безопасного импорта продовольствия — противилось расширению участия страны в массовых операциях на суше. Рост рабочего и социалистического движения привел к тому, что политические взгляды граждан, и в особенности лиц наемного труда, стали предметом первостепенной важности. Таким образом, демократизация политики, т. е., с одной стороны, постепенное расширение избирательных прав (мужского населения), а с другой — создание современного бюрократического государства, способного воздействовать на граждан и мобилизовывать их для собственных целей, ставили на первое место в политической повест-

ке дня вопрос о «нации» и об отношении гражданина к тому, что он считал своей «нацией», «национальностью» или иным объектом лояльности.

Для правителей вопрос заключался не просто в приобретении легитимности нового типа — хотя в недавно возникших или преобразованных государствах перед ними стояла также и эта задача. Самым удобным и привлекательным способом ее решения — а для государств, декларировавших принцип народного суверенитета, единственным по определению способом — была идентификация с «народом», или «нацией», как бы ни толковались эти понятия конкретно. Что еще могло придать монархиям законный статус в государствах, прежде никогда не существовавших (Греция, Италия, Бельгия), или в тех, чье существование порывало со всеми историческими прецедентами (Германская империя 1871 года)? По трем причинам необходимость адаптации к новым условиям вставала даже перед теми режимами, которые утвердились давно и прочно. В 1789–1815 гг. лишь немногие из них сумели избежать внутренних перемен: даже посленаполеоновская Швейцария представляла собой в некоторых важных отношениях новую политическую структуру. Кроме того, чрезвычайно ослабили такие традиционные гаранты лояльности, как династическая легитимность, божественное помазание, историческое право, преемственность правления и религиозное единство. И наконец, последнее, не менее важное обстоятельство: все эти традиционные механизмы легитимизации государственной власти после 1789 года находились под постоянной угрозой.

Это вполне очевидно в случае с монархией. Необходимость подвести под данный институт новый или, по крайней мере, дополнительный фундамент чувствовалась даже в столь надежно гарантированных от революции государствах, как Британия Георга III или

Россия Николая I.<sup>1</sup> И монархии, безусловно, пытались адаптироваться к новой реальности.

Но если приспособление монарха к «нации» является характерным показателем того, до какой степени адаптация к послереволюционному миру стала для традиционных институтов вопросом жизни и смерти, то сама форма осуществления власти наследственными государями, как она сложилась в Европе XVI–XVII вв., не имела с этим процессом никакой необходимой связи. Большинство монархов в Европе 1914 года — а монархия в это время по-прежнему оставалась здесь почти универсальной формой правления — рекрутировалось из замкнутого круга связанных родственными узами семейств, и личная национальность монархов (если они вообще сознавали в себе таковую) не имела решительно никакого отношения к их функциям глав государств. Принц Альберт, супруг королевы Виктории, переписывался с королем Пруссии как немец, явно ощущая своей родиной Германию, но политика, которую он твердо представлял, еще более явным образом была политикой Великобритании.<sup>2</sup> Транснациональные компании конца XX века гораздо более склонны выбирать своих главных администраторов из представителей той нации, где эти компании возникли или где находятся их штаб-квартиры, нежели нации-государства XIX века были склонны

---

<sup>1</sup> *Linda Colley. The apotheosis of George III: loyalty, royalty and the British nation // Past and Present, 102 (1984). P. 94–129.* Об идее графа Уварова относительно того, что царская власть должна основываться не только на принципах самодержавия и православия, но также и на принципе «народности» см.: *Hugh Seton-Watson. Nations and States. London, 1977. P. 84.*

<sup>2</sup> Cf. *Revolutions briefe 1848: Ungedrucktes aus dem Nachlass König Friedrich Wilhelms IV von Preussen (Leipzig, 1930).*

иметь своими королями особ с местными родственными связями.

Но с другой стороны, государство послереволюционной эпохи — независимо от того, возглавлял ли его наследственный правитель или нет — имело необходимую органическую связь с «нацией», т. е. с людьми, жившими на его территории. Это население рассматривалось теперь в качестве некоей общности, коллектива, или «народа» — как ввиду своей внутренней структуры, так и по причине политических трансформаций, превращавших его в совокупность граждан, которые имеют определенные политические права или притязания и могут быть мобилизованы государством для известных целей. Даже там, где никто еще всерьез не оспаривал законность власти и не угрожал единству государства и где не существовало сколько-нибудь влиятельных «подрывных» сил, одно лишь ослабление прежних социально-политических связей настоятельно требовало формулировки и пропаганды новых форм гражданского сознания (или, если воспользоваться словами Руссо, «гражданской религии»), — хотя бы потому, что уже возникли иные виды лояльности, способные к политическому самовыражению. Ибо какое же государство могло чувствовать себя в совершенной безопасности в эту эпоху — эпоху революций, либерализма, национализма, демократизации и роста рабочего движения? Социология, возникшая в 1880–1890-х годах, была прежде всего социологией политической, и в центре ее интересов стояла проблема социально-политического единства и устойчивости государств. Но государства тем более нуждались в гражданской религии («патриотизме»), что одна лишь пассивная покорность их граждан становилась теперь совершенно недостаточной. «Англия надеется, что каждый сегодня исполнит свой долг», — с таким патристическим воззванием обратился Нельсон к своим мат-



росам, когда они готовились к Трафальгарскому сражению.

Если же государству по какой-либо причине не удавалось обратить своих граждан в новую веру, прежде чем те могли услышать проповедников-конкурентов, то ему грозил крах. Как только демократизация избирательного права в 1884–1885 гг. продемонстрировала, что буквально все католические места в ирландском парламенте будут отныне принадлежать ирландской (т. е. националистической) партии, Гладстон ясно понял, что этот остров для Соединенного Королевства уже потерян, — и все же Королевство оставалось Соединенным, ибо другие его национальные компоненты приняли особый, основанный на идее государства национализм «Великобритании», развившийся в XVIII веке с немалой пользой для них и до сих пор ставящий в тупик теоретиков национализма более традиционного.<sup>1</sup> Зато Габсбургской империи — конгломерату нескольких Ирландий — повезло меньше. В этом и состоит основное различие между тем, что австрийский романист Роберт Музиль называл «Каканией» (по первым буквам немецких слов «имперский и королевский», «Kaiserlich und königlich»), и тем, что Том Нэрн в подражание ему назвал «Уканией» (по первым буквам *United Kingdom*).\*

---

<sup>1</sup> Об эволюции «британского» самосознания в целом см.: *Raphael Samuel* (ed.). *Patriotism: The Making and Unmaking of British National Identity*, 3 vols. London, 1989 и особ. *Linda Colley*. *Whose nation? Class and national consciousness in Britain 1750–1830* // *Past and Present*, 113, November 1986. P. 97–117 и «Imperial South Wales» в работе: *Gwyn A. Williams*. *The Welsh in their History*. London and Canberra, 1982. О замешательстве исследователей см. *Tom Nairn*. *The Enchanted Glass: Britain and its Monarchy*. London, 1988, part 2.

\* Соединенное Королевство (англ.). — Прим. пер.

Патриотизм, опирающийся исключительно на идею государства, может быть порой весьма эффективным, ибо само существование и сами функции современного территориального правового государства постоянно вовлекают жителей в его дела и таким образом неизбежно формируют совершенно особый институциональный «ландшафт», который составляет внешнюю обстановку их повседневной жизни и во многом определяет ее содержание. Один лишь факт существования нового национального государства в течение нескольких десятилетий — а это меньше, чем средняя продолжительность человеческой жизни, — может оказаться достаточным для того, чтобы у граждан выработалась, по крайней мере, привычка к пассивному самоотождествлению с этим государством. В противном случае следовало бы ожидать, что подъем революционного шиитского фундаментализма в Иране будет иметь столь же мощный отзвук в Ираке, как и среди шиитов расколотого Ливана, ведь большинство некурдского мусульманского населения Ирака (где, кстати говоря, находятся главные святыни секты) исповедует одну веру с иранцами.<sup>1</sup> А между тем сама идея суверенного светского национального государства в Месопотамии возникла позже, чем даже идея независимого еврейского государства. Предельным примером потенциальной силы чисто государственного патриотизма может послужить лояльность по отношению к царской империи, которую финны сохраняли на протяжении большей части XIX века, — пока начавшаяся в 1880-х годах, политика русификации не породила антирусскую реакцию. И действительно, в самой России трудно отыскать памятники дому Романов-

---

<sup>1</sup> Репрессии, безусловно, препятствовали проявлению подобных симпатий, — но, с другой стороны, временные успехи вторгшейся в Ирак иранской революционной армии едва ли ему способствовали.

вых, зато на главной площади Хельсинки до сих пор гордо возвышается статуя Царя-Освободителя Александра II.

Можно пойти дальше и утверждать, что первоначальная, народно-революционная, идея патриотизма опиралась, скорее, на государство, а не на национальность, ибо апеллировала она к самому суверенному народу, т. е. к государству, осуществлявшему власть его именем. Для «нации», понятой подобным образом, этнос и прочие элементы исторической традиции значения не имели, а язык был важен лишь (или преимущественно) с практической точки зрения. «Патриоты», в исконном значении данного слова, представляли собой противоположность тем, кто стоял за «свою страну, права она или нет», а именно, если воспользоваться ироническим определением доктора Джонсона, «заговорщиков и нарушителей общественного порядка».<sup>1</sup> Если же говорить более серьезно, то Французская революция (по всей видимости, использовавшая этот термин в том смысле, который впервые был намечен американцами, а еще более определенно — голландской революцией 1783 г.)<sup>2</sup> считала патриотами тех, кто доказывал любовь к родине, стремясь обновить ее с помощью реформы или революции. Что же касается *patrie*,\* которой они теперь были преданы, то она представляла собой полную противоположность исторически сложившемуся и фактически существующему «готовому» государственному целому — это была нация, созданная через свободный полити-

<sup>1</sup> Cf. *Hugh Cunningham*. The language of patriotism, 1750–1914 // *History Workshop Journal*, 12, 1981. P. 8–33.

<sup>2</sup> *J. Godechot*. La Grande Nation: l'expansion révolutionnaire de la France dans le monde 1789–1799. Paris, 1956, vol. I. P. 254.

\* «Родина» (фр.). — *Прим. пер.*

ческий выбор ее членов, которые таким образом разрывали или, по крайней мере, ослабляли узы прежней лояльности. 1200 национальных гвардейцев из Лангедока, Дофинэ и Прованса, собравшихся у города Валанс 19 ноября 1789 года, принесли присягу на верность Нации, Закону и Королю и объявили, что отныне они уже не провансальцы, лангедокцы и т. п., а просто французы. Точно так же поступили в 1790 году национальные гвардейцы Эльзаса, Лотарингии и Франш-Конте, — и это еще более показательный пример, ибо таким образом в настоящих французов превратились обитатели провинций, аннексированных Францией всего лишь за столетие до описываемых событий.<sup>1</sup> Как выразился Лависс, «La Nation consentie, voulue par elle-même»<sup>2</sup> \* стала вкладом Франции в мировую историю. Революционное понятие нации, созданной сознательным политическим выбором ее потенциальных членов, до сих пор сохраняется в чистом виде в США. Но и французское понятие нации как чего-то аналогичного плебисциту («un plébiscite de tous les jours», \*\* по словам Ренана) не утратило своего по существу политического смысла. Французская национальность означала французское гражданство: этнос, история, употреблявшиеся в повседневном обиходе язык или местное наречие на определение «нации» совершенно не влияли.

Но подобная «нация» — т. е. совокупность граждан, чьи права как таковые предоставляли им долю участия в судьбах страны и тем самым делали госу-

<sup>1</sup> Ibid., I, p. 73.

<sup>2</sup> Цит. по: Pierre Nora (ed.). Les Lieux de Mémoire. La Nation. Paris, 1986. P. 363.

\* «Нация, которая создала самое себя собственной волей» (фр.). — *Прим. пер.*

\*\* «ежедневный плебисцит» (фр.). — *Прим. пер.*

дарство до известной степени «их собственным», — подобная «нация» стала реальностью не только при демократических и революционных правительствах, хотя режимы антиреволюционные и консервативные осознавали этот факт чрезвычайно медленно. Вот почему правительства воюющих держав были так удивлены в 1914 году, когда обнаружили, что граждане их стран в яростном (хотя и недолгом) порыве патриотизма массами бросаются к оружию.<sup>1</sup>

Демократизация политики как таковая (т. е. превращение подданных в граждан) способна породить популистское сознание, в некоторых аспектах почти неотличимое от национального и даже шовинистического патриотизма, ибо если «эта страна» в известном смысле «моя», то я с большей готовностью ставлю ее выше других стран, в особенности если жители последних лишены прав и свобод истинного гражданина. «Свободнорожденный англичанин» Томпсона или гордые «британцы» XVIII века, которые «никогда не станут рабами», весьма охотно подчеркивали свое отличие от французов. Это вовсе не предполагало какой-либо симпатии к собственным правящим классам или правительствам; последние, в свою очередь, не слишком верили в преданность бойцов из низших классов, для которых эксплуатировавшие простой народ богачи и аристократы представляли более непосредственную и тягостную реальность, чем самые ненавистные из чужеземцев. Классовое сознание, постепенно формировавшееся у трудящихся слоев многих стран в последние предвоенные десятилетия, подразумевало, — более того, активно побуждало к борьбе за «права че-

---

<sup>1</sup> *Marc Ferro. La Grande Guerre 1914–1918. Paris, 1969. P. 23; A. Offner. The working classes, British naval plans and the coming of the Great War // Past and Present, 107, May 1985. P. 225–226.*

ловека и гражданина», а следовательно, способствовало становлению патриотизма. Массовое политическое или классовое сознание, как показывает история якобинства или движений, подобных чартизму, было внутренне связано с понятием «*patrie*», или «отечества». Не случайно большинство чартистов выступало и против богачей, и против французов.

И все же подобный народно-демократический или якобинский патриотизм оставался чрезвычайно уязвимым ввиду подчиненного положения масс его носителей — как в объективном, так и (в случае с трудящимися классами) в субъективном смысле. Ведь в тех государствах, где он развился, конкретный политический смысл патриотизма определяли не патриоты из низов, а правительства и господствующая верхушка. Рост политического и классового сознания в среде рабочих учил их добиваться гражданских прав и осуществлять их на практике. Трагический парадокс данного процесса заключался в том, что именно там, где трудящиеся научились отстаивать свои права, это помогло правящим режимам ввергнуть рабочие массы — без особого сопротивления с их стороны — в ужас взаимного истребления 1914 года. Однако весьма показательно, что, стремясь обеспечить массовую поддержку войны, правительства воюющих государств апеллировали не просто к слепому патриотизму, еще менее — к воинской славе или к образу героя-мужчины, но обращались в своей пропаганде прежде всего к гражданскому сознанию штатского человека. Все крупные воюющие державы изображали войну как оборонительную со своей стороны; все объясняли ее внешней угрозой гражданским правам и свободам собственной страны или коалиции; все научились представлять целью войны (правда, совсем не последовательно) не только устранение подобной угрозы, но и известное

преобразование общества в интересах беднейших граждан («дома для героев»).

Таким образом, сам по себе процесс демократизации помогал государствам и правительствам разрешить чрезвычайно важную проблему, а именно приобрести легитимность в глазах своих граждан, — даже если последние имели причины для недовольства. Этот процесс мог усилить и даже заново создать чувство государственного патриотизма. Но подобный патриотизм имел свои пределы, в особенности там, где он сталкивался с конкурирующими факторами, вступавшими теперь в действие с бóльшей, чем прежде, легкостью. Эти силы — а самой грозной среди них был национализм, не связанный с идеей государства, — претендовали на чувства преданности и лояльности, единственным законным объектом которых провозглашало себя государство. Далее мы увидим, что их притягательность и сфера влияния неуклонно возрастали, а в последней трети XIX века они начали ясно формулировать такие цели, которые еще более увеличивали их потенциальную опасность для государства. Не однажды утверждалось, что сам процесс демократизации государств стимулировал, если не порождал эти силы. Теория национализма как результат модернизации стала чрезвычайно популярной в современной литературе.<sup>1</sup> И все же, какой бы ни была реальная связь между национализмом и модернизацией государств XIX века, государство видело в национализме

---

<sup>1</sup> См.: *Karl Deutsch*. Nationalism and Social Communication. An Enquiry into the Foundations of Nationality. Cambridge MA, 1953. Другой характерный пример этой тенденции — *Ernest Gellner*. Nations and Nationalism. Oxford, 1983. Cf. *Jong Breuilly*. Reflections on nationalism // Philosophy and Social Sciences, 15/1 March 1985. P. 65–75.



особую, вполне отличную от «государственного патриотизма» политическую силу, с которой нужно было считаться и искать соглашения. Но если бы ее удалось включить в рамки государственного патриотизма в качестве его эмоционального ядра, то она действительно могла бы стать в руках правительства необыкновенно мощным орудием.

И это нередко оказывалось возможным — с помощью простого переноса чувства исконной, экзистенциальной самоидентификации человека с его «малой» родиной на родину большую. Филологически данный процесс отразился в расширении смысла таких слов, как «pays», «paese», «pueblo» и даже «patrie» (еще в 1776 г. Французская Академия давала ему узколокальное определение). «Родиной (страной) была для француза лишь та ее часть, где ему случилось появиться на свет».<sup>1</sup> Но став «народом», граждане страны превращались в своего рода общность (хотя и воображаемую), а значит, членам этой новой общности приходилось искать — а следовательно, и находить — нечто их объединявшее: обычаи, выдающиеся личности, воспоминания, места, знаки и образы. Соответственно, историческое наследие отдельных частей, регионов и провинций того, что теперь стало «нацией», можно было сплавить в единую общенациональную традицию — и настолько прочно, что даже прежние их конфликты превращались в символ примирения, достигнутого на более высоком и всеохватывающем уровне. Именно так, на земле, пропитанной кровью враждовавших между собой горцев Северной Шотландии и равнинных жителей Шотландии Южной, кровью королей и ковенантеров, создал Вальтер Скотт единую Шотландию, и сделал он это, ярко изобразив их старинные раздоры. Но эту тео-

---

<sup>1</sup> J. M. Thompson. The French Revolution. Oxford, 1944. P. 121.

ретическую проблему (если взять ее в более широком смысле) приходилось решать практически каждому национальному государству. Видаль де ла Блаш дал ее удачное резюме в своей превосходной книге *Tableau de la géographie de la France* (1903): <sup>1</sup> «Каким образом часть земной поверхности, которая не является ни островом, ни полуостровом и которую с точки зрения физической географии нельзя рассматривать как нечто единое, возвысилась до состояния политического целого и в конце концов превратилась в “отечество” (*patrie*)». Ибо каждой нации, даже не слишком большой, приходилось создавать свое единство на основе очевиднейших различий.

Государства и правительства имели все основания укреплять государственный патриотизм с помощью чувств и символов этой «воображаемой общности», привлекая их на свою сторону при любой возможности независимо от того, где и как последние возникли. Случилось так, что эпоха демократизации политики, поставившая в порядок дня задачу «воспитать наших учителей», «создать итальянцев», «сделать из крестьян французов», объединить всех граждан вокруг «нации» и «флага», совпала с тем временем, когда правительствам стало гораздо легче использовать для своих целей массовые националистические или, по крайней мере, ксенофобские настроения, а также чувство национального превосходства, которое активно проповедовали новейшие псевдонаучные теории расизма. Ведь период 1880–1914 гг. стал эпохой невиданных до той

---

<sup>1</sup> Эта книга была задумана как первый том знаменитой *Histoire de la France* под редакцией Эрнеста Лависса, ставшей памятником позитивистской науки и республиканской идеологии. См.: J.-Y. Guimar. *Le Tableau de la géographie de la France de Vidal de la Blache* в: Pierre Nora (ed.). *Les Lieux de Mémoire* II. P. 569 ff.

поры внутри- и межгосударственных миграций, эпохой империализма и все более обострявшегося международного соперничества, вылившегося в конце концов в мировую войну. Все эти процессы еще более подчеркивали различие между «нами» и «ними». А между тем самый надежный способ сблизить враждующие группы беспокойного и склонного к возмущению народа — это объединить их в борьбе с «чужаками». Вовсе не требуется допускать абсолютный *Primat der Innenpolitik*,\* чтобы признать: поощрение национализма в среде собственных граждан было весьма выгодно правительствам с точки зрения их внутренних интересов. И обратно, ничто не стимулировало национализм по обе стороны границы лучше, чем международный конфликт. Хорошо известно, какую роль сыграл спор 1840 г. по поводу рейнской границы в формировании как французских, так и немецких националистических клише.<sup>1</sup>

Естественно, государства стремились использовать все более мощные механизмы воздействия на своих граждан, и прежде всего начальную школу, чтобы внедрить в массовое сознание образ «нации» и ее исторического наследия, воспитать преданность ей и

---

\* Примат внутренней политики (нем.). — Прим. пер.

<sup>1</sup> Во Франции он ввел в массовое обращение тему «естественных границ». Этот термин — вопреки историческому мифу — принадлежит, по существу, XIX веку. (Cf. D. Nordmann. Des Limites d'état aux frontières nationales, в кн. P. Nora (ed.). Les Lieux de Mémoire, vol. II. P. 35–62 passim, esp. p. 52). В Германии бурная публичная кампания осени 1840 г. привела к «взрыву современного немецкого национализма как массового феномена», который почти мгновенно — и впервые в немецкой истории — был признан и одобрен государями и правительствами. Cf. H. V. Wehler. Deutsche Gesellschaftsgeschichte 1815–1845/49. Bd. II, Munich, 1987. S. 399. Кроме того, она произвела на свет будущий квазинациональный гимн.

объединить всех граждан вокруг «страны и флага», для чего нередко «изобретались традиции» и даже сами нации.<sup>1</sup> Автор этих строк припоминает, как в середине 1920-х годов ему пришлось познакомиться с весьма неудачным образчиком подобного политического творчества. Это был свежееиспеченный национальный гимн, отчаянно пытавшийся внушить детям, что жалкая кучка провинций, оставшихся у Австрии после того, как прочие части обширной Габсбургской империи отделились или были отобраны, являет собой некое связанное целое, достойное любви и патриотической преданности. Задача опуса не становилась легче от того, что указанные провинции не имели между собой ничего общего, кроме стремления подавляющего большинства их жителей присоединиться к Германии. «Немецкая Австрия», этот курьезный и недолговечный гимн, начинался словами: «О великолепная (*herrliches*) земля, как мы тебя любим!»; далее, как вы догадываетесь, следовал урок географии, переносивший нас от альпийских ледников и горных потоков в долину Дуная и город Вену; а в финале категорически утверждалось, что это новоявленное охвостье прежней Австрии и есть «моя родина» (*mein Heimatland*).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> E. J. Hobsbawm. Mass-producing traditions: Europe 1870–1914, в кн.: E. J. Hobsbawm & T. Ranger (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, 1983, ch. 7; Guy Vincent. L'Ecole primaire française: Etude sociologique. Lyon, 1980, ch. 8: «L'Ecole et la nation», esp. P. 188–193.

<sup>2</sup> Впоследствии его сменил другой гимн; конкретной географии в нем было меньше, зато — поскольку немногие из австрийцев верили в Австрию — в нем более энергично подчеркивался немецкий характер страны, а кроме того упоминался Господь Бог. Между прочим, он был положен на ту же мелодию Гайдна, что и прежний габсбургский гимн, а также «Deutschland über alles».\*

\* «Германия превыше всего» (нем.). — Прим. пер.

Хотя правительства разных стран занимались идеологическими манипуляциями вполне сознательно и целенаправленно, было бы заблуждением не видеть в этих опытах ничего, кроме исходившей сверху пропаганды. Ведь подобная обработка массового сознания приносила наибольший успех там, где она могла опереться на уже существующие чувства неофициального национализма: либо в виде низовой ксенофобии или простонародного *шовинизма* (само это слово, как и слово «джингоизм», восходит, очевидно, к демагогии водевилей или мюзик-холлов),<sup>1</sup> либо, и это более вероятно, в виде национализма мелкой и средней буржуазии. Эти настроения не создавались заново, но лишь заимствовались и поощрялись правительствами, ведь те, кто этим занимался, оказывались порой в положении «учеников чародея». В лучшем случае они уже не могли полностью контролировать силы, выпущенные ими на волю, в худшем — сами становились их заложниками. Трудно поверить, к примеру, что британское правительство или британский правящий класс в целом действительно желали устраивать в 1914 году ту дикую оргию антигерманской ксенофобии, которая охватила страну после объявления войны, и, кстати говоря, вынудила британскую королевскую фамилию изменить свое почтенное династическое имя Гвельфов («Ганноверская» династия) на имя Виндзоров, звучащее не столь по-немецки. Ибо, как мы увидим в дальнейшем, тот тип национализма, который возник к концу XIX века, не имел внутреннего сходства с национализмом государственным, пусть даже и вступал с ним порой в контакт. Парадоксально, но в сущности он

<sup>1</sup> См. *Gérard de Puymège. Le Soldat Chauvin* в кн.: *P. Nora. Les Lieux de Mémoire*, II, esp. P. 51 ff. Реальный Шовен, по всей видимости, гордился своим участием в завоевании Алжира.

предполагал лояльность и преданность не «стране» как таковой, но лишь особой «версии» этой страны, иначе говоря — определенной идеологической конструкции.

Слияние государственного патриотизма с негосударственным национализмом оказывалось делом политически рискованным и двусмысленным, ибо критерии первого были максимально широкими — например, во Франции они охватывали всех граждан республики, — тогда как критерии второго были гораздо уже — им соответствовали только те граждане Французской республики, которые говорили по-французски, а в предельных случаях — лишь белокурые люди с овальными лицами.<sup>1</sup> А следовательно, потенциальная цена их взаимопроникновения была высока, в особенности там, где требование идентификации с одной определенной национальностью отталкивало другие, не желавшие ассимилироваться или поглощаться ею. По-настоящему однородных в национальном отношении государств, вроде Португалии, в Европе было довольно мало, хотя в середине и даже в конце XIX века оставалось весьма значительное число групп, потенциально классифицируемых как «национальности» и, однако, не пытавшихся оспаривать претензии «нации» официально господствующей, а также громадное множество отдельных лиц, которые активно стремились к ассимиляции с той или иной преобладающей национальностью и к усвоению ее литературного языка.

---

<sup>1</sup> О явных расистских мотивах в дискуссиях о французском национализме см.: *Pierre André Taguieff. La Force du préjugé: Essai sur le racisme et ses doubles. Paris, 1987. P. 126–128.* О новизне этого социально-дарвинистского расизма см.: *Günter Nagel. Georges Vacher de Lapouge (1854–1936). Ein Beitrag zur Geschichte des Sozialdarwinismus in Frankreich. Freiburg im Breisgau, 1975.*

Но если отождествление государства с определенной нацией было чревато возникновением «контрнационализма», то сам процесс модернизации государства делал подобное еще более вероятным, ибо он предполагал унификацию и стандартизацию жизни граждан, — главным образом с помощью письменного «национального языка». Этого требует как прямое управление огромным числом граждан, осуществляющееся современными правительствами, так и развитие техники и экономики, поскольку указанные факторы делают всеобщую грамотность желательной, а массовое среднее образование — настоятельной необходимостью. Данная проблема порождается самим масштабом тех задач, которые решает современное государство, и необходимостью *непосредственного* контакта между государством и его гражданами. А потому массовое образование должно осуществляться на живом народном языке, тогда как в образовании узкой элиты можно использовать язык, который не понимает и на котором не говорит большинство населения; а в случае с «классическими» языками, вроде латыни, классического персидского или классического письменного китайского — вообще никто. Административные или политические дела на вершине общества могут вестись на языке, непонятном для широких масс — так, венгерское дворянство использовало в парламентских заседаниях латынь вплоть до 1840 года, а в индийском парламенте английский используется до сих пор — однако избирательную кампанию в условиях демократического избирательного права можно проводить лишь на языке народа. Тенденции развития экономики, техники и политики делают язык массового *устного* общения все более важным и необходимым, с появлением кинематографа, радио и телевидения роль его возрастает еще быстрее, и в итоге языки, первона-



чально задуманные или функционировавшие в качестве «лингва франка» для не способных понять друг друга носителей разных диалектов или как литературные языки образованной элиты, могут превратиться в национальное средство общения (классический китайский, «бахаса Индонезия», «филиппино»)<sup>1</sup>.

Если бы выбор «официального» языка нации определялся лишь соображениями элементарного удобства, сделать его было бы сравнительно несложно. Следовало бы попросту предпочесть тот язык, на котором говорит и/или который понимает наибольшее число граждан, или же тот, который способен в максимальной степени облегчить общение между ними. Подобными вполне прагматическими аргументами руководствовался Иосиф II, когда в качестве административного языка своей многонациональной империи избрал немецкий; а также Ганди, предполагавший сделать языком будущей независимой Индии хинди (сам он говорил на гуджарати); по тем же причинам с 1947 года средством национального общения в этой стране стал английский — как язык, наименее неприемлемый для большинства индийцев. В многонациональных государствах эту проблему можно было решить (в теории), предоставив «разговорному языку повседневного общения» (*Umgangssprache*) определенный официальный статус на соответствующем административном уровне. Чем ниже образовательный уровень и чем сильнее привязанность к определенной местности у различных языковых общин, т. е. чем ближе их

---

<sup>1</sup> О Филиппинах см. «Land of 100 tongues but not a single language» (New York Times, 2 December, 1987). О проблеме в целом см.: J. Fishman. The sociology of language: an interdisciplinary social science approach to language in society в кн. T. Sebeok (ed.). Current Trends in Linguistics, vol. 12. The Hague-Paris, 1974.

существование к традиционному укладу деревенской жизни, тем меньше возникает поводов для столкновений между ними в лингвистической сфере. А потому даже в самый разгар конфликта между чехами и немцами в Габсбургской империи все еще можно было написать следующее:

«Мы вправе считать само собой разумеющимся, что даже те, кто не занимает в многонациональном государстве официальных должностей, — например, торговцы, ремесленники, рабочие — испытывают потребность, более того — настоятельную необходимость в изучении второго языка. Менее всего эта объективная необходимость затрагивает крестьян, поскольку сохраняющаяся до сих пор замкнутость и самодостаточность сельской жизни приводит к тому, что на практике крестьяне редко сознают близость иноязычных поселений (по крайней мере, в Чехии и Моравии, где деревенские жители обеих национальностей имеют один и тот же экономический и социальный статус). Лингвистические границы в таких районах веками могут оставаться неизменными, — главным образом, по причине сельской эндогамии и того обстоятельства, что преимущественное право на приобретение [земельных участков] фактически принадлежит членам общины, а это весьма ограничивает приток поселенцев со стороны. Немногие пришлые «чужаки» быстро ассимилируются и входят в состав общины».<sup>1</sup>

В действительности, однако, вопрос о «национальных языках» крайне редко рассматривается с чи-

---

<sup>1</sup> *Karl Renner. Das Selbstbestimmung der Nationen in besonderer Anwendung auf Oesterreich. Leipzig and Vienna, 1918. S. 65.* Это второе, переработанное издание книги *Der Kampf der österreichischen Nationen um den Staat* (1902). Ее автор, австромарксист, был сыном немца-крестьянина из Моравии.

сто прагматической точки зрения и еще реже — с позиций беспристрастно-объективного анализа. Доказательством этого служит нежелание признавать искусственный характер подобных языков и упорное стремление выдумывать для них историю и глубокие традиции.<sup>1</sup> И всего менее следовало ожидать практичности и хладнокровия в этом вопросе со стороны идеологов национализма — того национализма, который развился после 1830 года, а к концу века стал принимать новые формы. Ибо для них язык был душой нации и, как мы увидим далее, все более важным критерием национальности. Какой язык (или какие языки) нужно использовать в средних школах Целии (Цилии) — области, где группы немецко- и словенскоязычного населения жили рядом, — вовсе не было вопросом административного удобства. (В самом деле, именно этот частный вопрос вызвал в 1895 году целую бурю в австрийской политической жизни).<sup>2</sup> Все правительства многонациональных стран, кроме, пожалуй, самых «удачливых», на собственном опыте узнали, сколь взрывоопасной может быть языковая проблема.

Острота ее усиливалась оттого, что любой еще не связанный с государством национализм при подобных условиях неизбежно принимал *политический* характер. Ведь именно государство представляло собой ме-

---

<sup>1</sup> «Чтобы затушевать многочисленные элементы более поздних эпох, которые содержатся в литературных вариантах их языков, многие языковые сообщества создают и усиленно пропагандируют мифы и целые «родословные» об их происхождении и развитии <...> Определенный вариант языка обретает «историю» тогда, когда его удастся ассоциировать с каким-то значительным духовным движением или великой национальной традицией» (*J. Fishman. The Sociology of Language. P. 164*).

<sup>2</sup> *W. A. Macartney. The Habsburg Empire. London, 1971. P. 661.*

ханизм, который непременно следовало пускать в ход для того, чтобы превратить «национальность» в «нацию» или хотя бы сохранить ее, национальности, нынешний статус перед лицом исторической эрозии и ассимиляции. В дальнейшем мы увидим: главное, с чем имел и имеет дело лингвистический национализм, — это язык общественного образования и государственной службы. Речь идет прежде всего о «школе и канцелярии», как это не уставали твердить чехи, поляки и словенцы еще в 1848 году.<sup>1</sup> Речь идет о том, должно ли обучение в школах Уэльса вестись как на валлийском, так и на английском, или же *только* на валлийском; нужно ли присваивать валлийские имена тем населенным пунктам, которые никогда их не имели, поскольку были основаны носителями другого языка; речь идет о языке дорожных знаков и названий улиц; о государственных субсидиях для валлийского телеканала; о языке, на котором ведутся дебаты и составляются протоколы в окружных советах; о языке счетов за электричество или анкет на водительские права; и даже о том, следует ли выдавать гражданам единые двуязычные бланки или отдельные бланки на каждом языке, — а со временем, может быть, только на валлийском. Ибо, как пишет автор-националист:

«Когда положение валлийского языка оставалось еще достаточно прочным, Эмрис ап Иван уже понимал: если мы хотим, чтобы он выжил, его нужно снова сделать официальным языком и языком образования».<sup>2</sup>

Следовательно, государства были в той или иной степени поставлены перед необходимостью учитывать новый «принцип национальности» и его проявления —

---

<sup>1</sup> P. Burian. The state language problem in Old Austria // Austrian History Yearbook, 6–7, 1970–1971. P. 87.

<sup>2</sup> Ned Thomas. The Welsh Extremist: Welsh Politics, Literature and Society Today. Talybont, 1973. P. 83.

независимо от того, могли они использовать данный принцип в собственных целях или нет. И лучшим финалом настоящей главы станет беглый взгляд на то, как во второй половине XIX века изменялось отношение государств к проблеме связи нации и языка. Здесь нам поможет знакомство с дискуссиями специалистов, а конкретно — правительственных статистиков, стремившихся упорядочить и скоординировать периодические переписи населения, которые с середины XIX века превратились в необходимый элемент бюрократической машины всех «передовых», или современных государств. Проблема, возникшая на Первом Международном Статистическом Конгрессе (1853 г.), заключалась в следующем: нужно ли включать в подобные переписи вопрос о «разговорном языке», имеет ли он отношение к нации и национальности, и если да, то какое.

Впервые данную проблему поднял бельгиец Кетле, и это неудивительно, поскольку основатель социальной статистики был выходцем из государства, где взаимоотношения языков (французского и фламандского) уже приобрели некоторый политический смысл. Международный Статистический Конгресс 1860 г. постановил, что вопрос о языке должен быть в ходе переписей факультативным, т. е. каждое государство само будет определять, имеет ли он какое-либо «национальное» значение. Но уже Конгресс 1873 г. порекомендовал включать его впредь во все переписи.

Первоначально эксперты полагали, что «национальность» отдельного человека не может определяться через вопросы переписи, — за исключением того смысла, который вкладывали в это слово французы («национальность» = гражданство). При таком подходе язык действительно не имел связи с «национальностью», хотя на практике это попросту означало, что французы и все те, кто, подобно венграм, принимал

данное толкование, официально признавали только один язык в пределах своего государства. Французы просто игнорировали другие языки, а венгры, которые едва ли могли себе это позволить, поскольку более половины жителей их королевства не говорило по-венгерски, юридически определяли подобных лиц как «венгров, не владеющих венгерским»,<sup>1</sup> — примерно так же, как впоследствии жители аннексированных македонских земель именовались в Греции «славяноязычными греками». Короче говоря, языковая монополия маскировалась здесь неязыковым определением нации.

Представлялось очевидным, что национальность это слишком сложный феномен, чтобы его можно было уловить исключительно через язык. Габсбургские статистики, накопившие в этой сфере больше опыта, чем кто-либо иной, пришли к выводу, что а) национальность есть атрибут не отдельных лиц, но целых сообществ, и б) при определении национальности необходим анализ географического положения внутренней демаркации и климатических условий данной территории, а также антропологическое и этническое исследование физических и духовных, внешних и внутренних характеристик народа, его обычаев, нравов и т. д.<sup>2</sup> Де Глаттер, бывший директор Венского Института статистики, пошел еще дальше и совершенно в духе XIX века заключил, что национальность определяется не языком, но расой.

И все же национальность представляла собой слишком важный с политической точки зрения вопрос, чтобы организаторы переписей могли его игнорировать. Она,

<sup>1</sup> K. Renner. Staat und Nation. S. 13.

<sup>2</sup> Emil Brix. Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachen statistik in den zisleitänischen Volkszählungen, 1880–1910. Vienna–Cologne–Graz, 1982. S. 76. Представленное у нас краткое изложение дискуссий статистиков основывается на этой работе.

безусловно, имела *определенную* связь с разговорным языком, — уже потому, что, начиная с 1840-х годов, язык стал играть существенную роль в международных территориальных конфликтах (особенно заметной она была в споре датчан и немцев по поводу Шлезвиг-Гольштейна),<sup>1</sup> хотя вплоть до XIX века лингвистические аргументы государства не использовали для оправдания территориальных претензий.<sup>2</sup> Но уже в 1842 г. журнал *Revue des Deux Mondes* отмечал, что «подлинные естественные границы определяются не реками и городами, а, скорее, языком, обычаями, историческими воспоминаниями; всем тем, что отличает одну нацию от другой», — аргумент, призванный, по всей видимости, объяснить, почему Франции *не* обязательно претендовать на рейнскую границу. Другой подобный довод — «диалект, на котором говорят в Ницце, имеет лишь отдаленное сходство с итальянским языком» — предоставил Кавуру официальный предлог для того, чтобы уступить эту часть Савойского королевства Наполеону III.<sup>3</sup> Таким образом, язык превращался теперь в важный фактор международной дипломатии, а фактором внутренней политики в некоторых государствах он, вне всякого сомнения, стал еще раньше. Кроме того, язык, как это специально отмечалось на Петербургском Конгрессе, был единственным аспектом национальности, который поддавался, по крайней мере, более или менее объективному подсчету и классификации.<sup>4</sup>

Согласившись считать язык признаком национальности, Конгресс тем самым не только встал на адми-

<sup>1</sup> Cf. Sarah Wambaugh. A Monograph on Plebiscites, With a Collection of Official Documents //Carnegie Endowment for Peace, New York, 1920, esp. P. 138.

<sup>2</sup> Nordmann in P. Nora (ed.). Les Lieux de mémoire, vol. II. P. 52.

<sup>3</sup> Ibid. P. 55–56.

<sup>4</sup> Brix. Die Umgangssprachen. S. 90.



нистративную точку зрения, но фактически принял доводы одного немецкого статистика, который в своих публикациях 1866 и 1869 гг. (имевших весьма значительный резонанс) утверждал, что именно язык представляет собой *единственный* адекватный ее критерий.<sup>1</sup> Немецкие интеллектуалы и националисты давно уже держались такого взгляда на национальность по той причине, что единого германского государства не существовало; по всей Европе были разбросаны общины, говорившие на немецких диалектах, а образованные члены этих общин писали и читали на литературном немецком языке. Из подобной теории вовсе не вытекало требование создать единое германское государство, которое включило бы в себя всех этих немцев — такая претензия была абсолютно нереалистичной,<sup>2</sup> — а из чисто филологической версии этой теории, представленной у Бёка, совершенно невозможно понять, какую степень культурной и духовной общности она предполагала, ибо, опираясь на лингвистические аргументы, он вполне последовательно причислял к немцам людей, говоривших на идише (средневековом немецком диалекте, превратившемся впоследствии в универсальный язык восточноевропейских евреев). Но, как мы убедились выше, территориальные притязания, основанные на лингвистических аргументах, уже стали возможны, — в 1840 г. немцы отвергли

---

<sup>1</sup> *Richard Böckh*. Die statistische Bedeutung der Volkssprache als Kennzeichen der Nationalität // *Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft*, 4, 1866. S. 259–402); *его же*. Der Deutschen Volkszahl und Sprachgebiet in den europäischen Staaten. Berlin, 1869.

<sup>2</sup> Даже Гитлер проводил различие между немцами Рейха и так называемых *Volksdeutsche*, которые жили за его пределами, но со временем могли получить право «вернуться» в Рейх.

французские претензии на рейнскую границу именно по этой причине — и, каким бы ни был действительный смысл языковых проблем, политический их аспект уже нельзя было оставлять без внимания.

Но что же конкретно следовало подсчитывать? В этом пункте кажущаяся аналогия между языком и местом рождения, возрастом или семейным статусом сходила на нет: язык предполагал политический выбор. Австрийский статистик Фикер как ученый отвергал выбор в ходе переписи языка общественной жизни, ибо он мог быть навязан индивиду государством или партией, хотя для его французских и венгерских коллег это был вполне приемлемый подход. По той же причине Фикер отвергал язык церкви и школы. И все же габсбургские статистики, действуя в духе либерализма XIX века, пытались учесть возможность перемен в языковой сфере и прежде всего — лингвистической ассимиляции, а потому спрашивали граждан не об их *Muttersprache*, или, в буквальном смысле этих слов, «языке, усвоенном от матерей», но о «языке семьи», т. е. языке повседневного домашнего общения, который мог и не совпадать с *Muttersprache*.<sup>1</sup>

Подобное отождествление языка с национальностью никого по-настоящему не удовлетворяло — ни националистов, так как оно не позволяло лицам, говорившим дома на одном языке, избирать иную национальность, ни правительства (и прежде всего габсбургское), ведь взрывоопасность этой проблемы они могли почувствовать, даже не сталкиваясь с ней на практике. И все же ее способность к «самовозгоранию» они явно недооценивали. Габсбурги, например, решили не включать в переписи вопрос о языке до тех пор, пока — как они надеялись — не улягутся вполне национальные страсти, столь бурно кипевшие в 1860-е

---

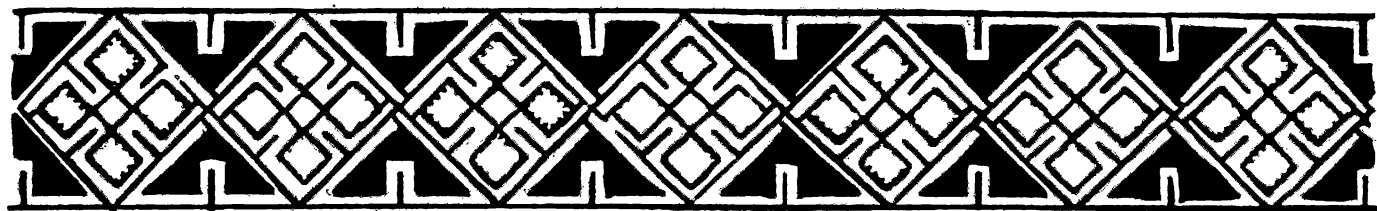
<sup>1</sup> Brix. Die Umgangssprachen, S. 94.

годы. Приступить к соответствующим подсчетам предполагалось только в 1880 г. Никто, однако, до конца не понимал, что уже сама постановка подобного вопроса неизбежно породит лингвистический национализм. Каждой переписи суждено было превратиться в поле битвы между разными национальностями, а все более сложные и тщательно продуманные попытки властей удовлетворить противоборствующие стороны успеха не имели. Они лишь произвели на свет памятники беспристрастной учености, вроде документов австрийской и бельгийской переписей 1910 г., вполне удовлетворительные для историков. Включенный в переписи вопрос о языке по сути дела впервые *заставил* каждого избирать не только национальность вообще, но и национальность лингвистическую.<sup>1</sup> Таким образом, и в этом случае административные нужды современного бюрократического государства способствовали возникновению национализма. Дальнейшие его судьбы мы проследим в следующей главе.



---

<sup>1</sup> Ibid. S. 114.



## Глава 4

# ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИОНАЛИЗМА В 1870–1918 ГГ.

**К**ак только Европа достигает в своем развитии известного рубежа, ее лингвистические и культурные сообщества, незаметно созреавшие в течение веков, покидают темную глубину прежнего пассивного бытия в качестве простого «населения» (*passiver Volkheit*) и выходят на арену истории. В самих себе они теперь видят силу, которая имеет особое историческое призвание. Они требуют контроля над государством как самым мощным инструментом власти и начинают борьбу за политическое самоопределение. Политическое понятие нации, новое самосознание в целом, родились в 1789 году — в год Французской революции.<sup>1</sup>

Через двести лет после Французской революции ни один серьезный историк — и, смею надеяться, ни один из тех, кто прочел настоящую книгу до этого места, — не увидит в заявлениях, подобных приведенному выше, что-либо иное, кроме стандартных упражнений на темы политической мифологии. Тем не менее, данная цитата кажется весьма характерным

---

<sup>1</sup> K. Renner. Staat und Nation. S. 89.

выражением того «принципа национальности», который потрясал европейскую политику начиная с 1830 года, приведя к образованию нескольких новых государств, соответствовавших, насколько это вообще было возможно, первой части знаменитого лозунга Мадзини: «Каждой нации — государство» (хотя в гораздо меньшей степени второй его половине: «не более одного государства для каждой нации»)<sup>1</sup>. Цитата из Реннера, в частности, показательна в пяти отношениях: энергичным упором на языковую и культурную общность (новшество, принадлежащее XIX веку); выдвиганием на первый план той разновидности национализма, которая стремилась скорее к образованию новых государств, нежели к решению проблемы «наций» в государствах уже существующих; историцизмом и острым чувством исторической миссии; претензией на родство с идеями 1789 года и, не в последнюю очередь, своей риторикой и крайней терминологической неопределенностью.

Но хотя на первый взгляд кажется, что процитированные выше слова могли бы принадлежать чуть ли не самому Мадзини, в действительности, однако, их написал через семьдесят лет после революции 1830 года социалист-марксист родом из Моравии, в книге, посвященной специфическим проблемам Габсбургской империи. Короче говоря, несмотря на то, что их можно спутать с «принципом национальности», перекроившим политическую карту Европы в 1830–1870 гг., они относятся к более поздней и иной по своему содержанию фазе развития европейского национализма.

Национализм 1880–1914 гг. отличался от национализма эпохи Мадзини в трех основных пунктах. Во-первых, он отбросил «принцип порога» (принцип минимальной достаточности), являвшийся, как мы ви-

---

<sup>1</sup> Ibid. S. 9.

дели, ключевым для национализма либеральной эры. С этого времени *любая* народность, которая считала себя «нацией», могла добиваться права на самоопределение, означавшего в конечном счете право образовывать на своей территории отдельное независимое государство. Во-вторых, — и именно вследствие увеличения числа этих потенциальных «неисторических» наций — все более важными, решающими (и даже единственными) критериями национальной государственности становились этнос и язык. Был, однако, еще и третий симптом перемен, который затронул не столько негосударственные национальные движения (становившиеся теперь все более многочисленными и амбициозными), сколько национальные чувства внутри уже существующих наций-государств, а именно резкий политический сдвиг вправо, к «нации и флагу», — для описания которого, собственно, и был придуман в последние десятилетия XIX века термин «национализм». Цитата из Реннера (представлявшего левый фланг политического спектра) отражает два первых момента, но явно игнорирует третий.

Есть три причины, по которым люди довольно часто не замечали, как поздно этнолингвистический критерий нации в действительности стал преобладающим. Во-первых, два самых влиятельных негосударственных национальных движения первой половины XIX века опирались в основном на группы образованной элиты, объединенные поверх политических и географических границ общим языком высокой культуры и литературы, которые уже имел свою устойчивую традицию. Для немцев и итальянцев их национальный язык был не просто административным удобством или общегосударственным инструментом централизации — каким стал французский язык во Франции со времен ордоннанса Виллер-Коттре 1539 года — и даже не революционным орудием, призванным донести до каж-

дого француза истины свободы, науки и прогресса, гарантировав тем самым сохранение гражданского равенства и воспрепятствовав возрождению сословной иерархии *ancien régime*,\* — каким он был для якобинцев.<sup>1</sup> Он представлял собой даже нечто большее, нежели фундамент высокой литературы или универсальное средство духовного общения. Язык был тем *единственным*, что превращало их в немцев и итальянцев, а следовательно, он выполнял гораздо более существенную роль в деле национальной самоидентификации.

---

\* «Старого режима» (фр.). — *Прим. пер.*

<sup>1</sup> «Все представители суверенного народа вправе занимать любые (государственные) должности; желательно, однако, чтобы все граждане занимали их по очереди, а затем возвращались к своим обычным механическим или земледельческим трудам. Но подобный порядок ставит нас перед следующей альтернативой. Если эти посты будут заняты лицами, неспособными правильно говорить или писать на национальном языке, то каким же образом гражданские права смогут быть надежно защищены с помощью официальных документов, чьи тексты содержат терминологические ошибки, смутные понятия, — словом, все признаки невежества? Но, с другой стороны, если подобное невежество должно будет служить преградой на пути к государственной службе, то вскоре мы станем свидетелями возрождения аристократии, некогда пользовавшейся местным диалектом (патуа) как знаком высокомерно-снисходительной любезности в разговоре с теми, кого она дерзко именovala «простонародьем» (*les petits gens*) <...> И вскоре общество вновь будет засорено так называемыми «порядочными людьми» (*de gens comme il faut*) <...> Между двумя отделенными друг от друга классами непременно установится иерархия. Таким образом, незнание языка либо поставит под угрозу общественное благополучие, либо уничтожит равенство» (Из доклада аббата Грегуара. Цит. по *Fernand Brunot. Histoire de la langue française. Paris, 1930–1948, vol. IX, I. P. 207–208.*



фикации, чем, например, английский для тех, кто на нем читал и писал. Но хотя для немецкой и итальянской либеральной буржуазии именно язык был решающим аргументом в пользу создания единого национального государства, в других регионах Европы в первой половине XIX века дело обстояло иначе. Отнюдь не на язык опирались требования политической независимости для Бельгии и Польши, равно как и ирландское национальное движение в Британии или восстания балканских народов против Османской империи, приведшие в конечном счете к образованию нескольких самостоятельных государств. И напротив, там, где лингвистические движения уже имели под собой солидную политическую базу, как например, в Чехии, о национальном самоопределении (в отличие от культурной автономии) речь еще не шла и о создании отдельного государства никто еще всерьез не задумывался.

Между тем со второй половины XVIII века — и главным образом под духовным влиянием Германии — всю Европу охватил страстный интерес к простой, чистой и неиспорченной жизни крестьянства, а в процессе фольклорного открытия «народа» язык, на котором говорил народ, вышел, разумеется, на первый план. Но хотя этот простонародный культурный ренессанс заложил фундамент для многих последующих националистических движений, а потому не без оснований считается первой фазой их развития («фаза А»), тем не менее, не кто иной, как Хроч специально подчеркивает, что подобный процесс ни в каком смысле еще не являлся политическим движением самого народа и не предполагал политических требований или программ. И действительно, открытие народной традиции и ее превращение в «национальную традицию» какого-нибудь забытого историей крестьянского народа почти всегда было делом энтузиастов, принадле-

жавших к (иноязычному) правящему классу или образованной элите, — например, прибалтийских немцев или финляндских шведов. Финское Литературное Общество организовали шведы (1831 г.); протоколы его заседаний велись на шведском языке, и все работы Зельмана, главного идеолога финского культурного национализма, также были написаны по-шведски.<sup>1</sup> Вероятно, никто не способен отрицать широкого распространения в Европе 1780–1840 гг. различных движений, ставивших своей целью возрождение народной культуры и языка, однако было бы ошибочным смешивать «фазу А» (по классификации Хроча) с «фазой В», когда появились группы активистов, занимавшихся политической пропагандой в пользу «национальной идеи», а тем более — с «фазой С», когда «национальная идея» уже могла рассчитывать на массовую поддержку. Как показывает пример Британских островов, не существует никакой необходимой связи между движениями за культурное возрождение народа и последующими волнениями на национальной почве или движениями политического национализма, и обратно, подобные националистические движения первоначально не имели (или почти не имели) ничего общего с возрождением национальной культуры. Фольклорное Общество (1878 г.) и возрождение народной песни в Англии были по своей природе не более националистическими, чем, к примеру, Общество Цыганского Фольклора.

Третья причина касается скорее этнической, нежели лингвистической идентификации и состоит она в отсутствии — по крайней мере, вплоть до самого конца столетия — сколько-нибудь влиятельных теорий или псевдотеорий, которые бы отождествляли

---

<sup>1</sup> *E. Juttikala & K. Pirinen. A History of Finland. Helsinki, 1975. P. 176.*

нацию с ее генетическим происхождением. К этому вопросу мы вернемся ниже.

То, как выросло значение «национальной проблемы» за четыре предвоенных десятилетия, можно оценить не только по ее обострению в старых многонациональных империях, например, в Австро-Венгрии и Турции. В важный вопрос внутренней политики она превратилась практически во всех европейских государствах. Даже в Соединенном Королевстве данный вопрос уже не ограничивался Ирландией, хотя ирландский национализм, и именно под этим названием, также весьма усилился — число ирландских газет, именовавших себя «национальными» или «националистическими», увеличилось с 1 в 1871 г. до 13 в 1881 и 33 в 1891<sup>1</sup> — и стал для британской политики взрывоопасным. Часто, однако, упускается из виду другое: именно в этот период национальные интересы Уэльса как таковые были впервые признаны на официальном уровне (Welsh Sunday Closing Act 1881 года называют «первым актом парламента, который относился исключительно к Уэльсу»),<sup>2</sup> а Шотландия получила умеренное движение за автономию («гомруль»), особое министерство по делам Шотландии и, через так называемую «формулу Гошена», гарантированную долю в общественных расходах Соединенного Королевства. Внутренний национализм мог также проявить-

---

<sup>1</sup> Этими сведениями, почерпнутыми из тогдашних газетных указателей, я обязан неопубликованным исследованиям ирландской провинциальной прессы 1852–1892 гг., выполненными Мэри Лу Легг из Биркбек Колледж.

<sup>2</sup> См. «Report of the Commissioners appointed to inquire into the operation of the Sunday Closing (Wales) Act., 1881» (Parliamentary Papers, H. o. C., vol. XL of 1890); K. O. Morgan. Wales, Rebirth of a Nation 1880–1980. Oxford, 1981. P. 36.

ся в росте правых движений, для которых, в сущности, и был придуман термин «национализм» (Франция, Италия, Германия), или принять еще более распространенную форму политической ксенофобии, которая нашла свое самое прискорбное, хотя и не единственное выражение в антисемитизме. То обстоятельство, что даже такое сравнительно спокойное государство, как Швеция, было в эту эпоху потрясено отделением Норвегии (1907) — о котором никто вплоть до 1890-х годов не помышлял, — является не менее характерным симптомом, чем паралич габсбургской политики под действием националистической агитации ее противников.

Более того, именно в этот период националистические движения стали возникать там, где раньше никто о них не слышал, или же среди народов, прежде представлявших интерес только для фольклористов, и даже — впервые, хотя пока лишь в чисто «теоретической» форме — за пределами западного мира. Далеко не ясно, в какой мере вновь возникшие антиимпериалистические движения можно рассматривать как националистические, хотя влияние западной националистической идеологии на их вождей и активистов неопровержимо (например, ирландское влияние на индийский национализм). Но даже ограничившись Европой и ее «окрестностями», мы обнаружим в 1914 году множество движений, которые в 1870 году вовсе не существовали (или пребывали в зародыше) среди армян, грузин, литовцев и других прибалтийских народов; среди евреев (как в сионистском, так и в несионистском вариантах); среди македонцев и албанцев на Балканах; русинов и хорватов в Габсбургской империи (собственно хорватский национализм не следует смешивать с более ранними выступлениями хорватов в пользу национализма югославского, или «илли-

рийского»; среди басков, каталонцев, валлийцев, кроме того, мы встречаем явно радикализировавшееся фламандское движение в Бельгии и неожиданные всплески местного национализма в таких районах, как Сардиния. Мы можем даже обнаружить первые признаки арабского национализма в Османской империи.

Как уже указывалось выше, большинство этих движений делали теперь упор на лингвистические и/или этнические аргументы. Легко продемонстрировать, что во многих случаях это было новым явлением. До основания Гэльской Лиги (1893 г.), первоначально не имевшей никаких политических целей, ирландское национальное движение не ставило вопрос об ирландском языке. Он не фигурировал ни в агитации О'Коннелла за расторжение англо-ирландской унии (так называемая «Рипил») (хотя родным языком Освободителя был гаэльский), ни в фенианской программе. И даже первые серьезные попытки создать общий ирландский язык из прежней смеси диалектов были предприняты лишь после 1900 года. Финский национализм ставил своей целью защиту автономии Великого Княжества Финляндского под властью русских царей, а появившиеся после 1848 года финские либералы считали себя представителями единой нации, которая пользуется двумя языками. Принципиально лингвистический характер финский национализм приобрел лишь в 1860-е годы (когда императорский рескрипт повысил общественный статус финского языка по отношению к шведскому), но вплоть до 1880-х годов спор о языке оставался по преимуществу внутренним классовым конфликтом между принадлежавшими к низшим классам финнами (их представляли так называемые «фенномены», выступавшие за единую нацию с финским языком в качестве официального) и шведским меньшинством, которое имело более высокий социальный

статус (его представители, так называемые «свекомены», утверждали, что в стране существуют две нации и, следовательно, два языка). И только после 1880 г., когда царизм перешел к националистической политике русификации, борьба за автономию совпала с борьбой в защиту культуры и языка.<sup>1</sup>

Сходным образом и история каталонского автономизма как (консервативного) культурно-языкового движения едва ли уходит своими корнями глубже 1850-х годов, а фестиваль *Jocs Florals* (аналогичный валлийскому *Eisteddfodau*) был возрожден не ранее 1859 года. Каталонский национализм занялся языковым вопросом не раньше середины 1880-х годов,<sup>2</sup> а сам язык обрел твердые и авторитетные нормы только в XX веке.<sup>3</sup> Считается, что баскский национализм отставал в своем развитии от каталонского примерно на тридцать лет, хотя идеологический сдвиг баскского автономизма от вопросов защиты или реставрации старинных феодальных привилегий к языковой и расовой тематике был довольно резким: в 1894 году, менее чем через двадцать лет после окончания Второй Карлистской войны, Сабино Арана основал Баскскую Национальную партию (PNV) — и, между прочим, придумал прежде не существовавшее баскское название страны («Euskadi» ).<sup>4</sup>

<sup>1</sup> *Juttikala & Pirinen. A History of Finland. P. 176–186.*

<sup>2</sup> *Francesc Vallverdú. El català al segle XIX //L'Avenç, 27, May 1980. P. 30–36.*

<sup>3</sup> *Carles Riba. Cent anys de defensa i il·lustració de l'idioma a Catalunya //L'Avenç, 71, May 1984. P. 54–62).* Это текст лекции, впервые прочитанной в 1939 г.

<sup>4</sup> *H.-J. Puhle. Baskischer Nationalismus im spanischen Kontext* в сборнике *H.A. Winkler (ed.). Nationalismus in der Welt von Heute. Göttingen, 1982. S. 61.*

На другом конце Европы национальные движения прибалтийских народов к началу последней трети XIX века едва вышли из своей первой (культурной) фазы, а на далеких Балканах, где после 1870 года встал кровавый македонский вопрос, мысль о том, что обитавшие на этой земле национальности следует различать по их *языку*, менее всего приходила на ум государственным мужам Сербии, Греции, Болгарии и Блистательной Порты, оспаривавшим друг у друга данную территорию.<sup>1</sup> Жителей Македонии различали по их вере, а иногда притязания на ту или иную ее часть основывались на истории (от древней до средневековой) или на этнографических аргументах (общие обряды и обычаи). Полем битвы для филологов-славистов Македония стала лишь в XX веке, когда греки, неспособные конкурировать на почве языка, перенесли акцент на воображаемое единство этноса.

В то же самое время — примерно во второй половине века — этнический национализм получил громадную поддержку: на практике — благодаря все более массовой миграции народов; в теории — вследствие преобразования, которое претерпело ключевое для социологии XIX века понятие «расы». Во-первых, давно и прочно утвердившееся деление человечества на «расы», отличающиеся по цвету кожи, превратилось теперь в более сложную систему «расовых» признаков, по которым различались народы, имевшие примерно одинаковую светлую кожу, например, «семиты» и «арийцы», а среди последних — нордическая, альпийская и средиземноморская группы. Во-вторых, дарвинистский эволюционизм, дополненный впоследствии тем, что стало известно под именем генетики,

---

<sup>1</sup> Carnegie Endowment for International Peace: Report of the International Commission to Enquire into the Cause and Conduct of the Balkan Wars. Washington, 1914. P. 27.



представил расизму чрезвычайно убедительную, на первый взгляд, систему «научных» аргументов, оправдывавших дискриминацию и даже, как выяснилось затем, изгнание и массовое уничтожение «инородцев». Все это были сравнительно поздние феномены. Так, антисемитизм приобрел специфически «расовый» (в отличие от культурно-религиозного) характер лишь около 1880 годы; главные проповедники германского и французского расизма (Лапуж, Х. С. Чемберлен) действовали в 1890-е гг., а «нордическая» тема вошла в расистские и прочие теории лишь около 1900 г.<sup>1</sup>

Связь расизма с национализмом вполне очевидна. «Расу» и язык, как в случае с «арийцами» и «семитами», легко смешивали, — к возмущению добросовестных ученых, например, Макса Мюллера, специально указывавшего, что «раса» есть понятие генетическое и потому не может быть выведена из языка, который по наследству не передается. Более того, существует явная аналогия между, с одной стороны, характерным для расистов настойчивым требованием сохранения расовой чистоты и их ужасом перед пагубными последствиями смешанных браков, а с другой — упорным желанием очень многих (если не большинства) разновидностей лингвистического национализма очистить национальный язык от чужеродных элементов. Англичане, гордившиеся «нечистокровностью» своего происхождения (бритты, англосаксы, сканди-

---

<sup>1</sup> *J. Romein. The Watershed of Two Eras: Europe in 1900. Middletown, 1978. P. 108.* «Нордическая» раса впервые появляется под этим названием в библиографии антропологической литературы за 1898 г. (OED Supplement: «Nordic»). Сам термин принадлежит, очевидно — *J. Deniker. Races et peuples de la terre. Paris, 1900.* Его заимствовали расисты, которые сочли удобным использовать его для описания светловолосой, с овальной формой лица «высшей» расы.

навы, норманны, шотландцы, ирландцы и т. д.) и смешанным характером своего языка, представляли весьма необычный для XIX века феномен. Но еще теснее сближали «расу» и «нацию» привычка употреблять эти слова как фактические синонимы и бесконечные умствования на предмет «расового»/«национального» характера, в ту пору чрезвычайно модные. Так, один французский автор отметил, что незадолго до заключения англо-французской *Entente Cordiale* 1904 года согласие между этими государствами объявлялось решительно невозможным по причине «наследственной вражды» между их народами.<sup>1</sup> Таким образом, национализм лингвистический и национализм этнический поддерживали и усиливали друг друга.

Не удивительно, что в 1870–1914 гг. национализм делал такие быстрые успехи. Он явился естественным следствием социальных и политических перемен — не говоря уже об общей международной ситуации, доставлявшей массу предлогов для враждебных по отношению к иностранцам манифестов. Три социальных процесса существенно расширили ту сферу, где складывались новые способы превращения «воображаемых» и даже реальных общностей в национальности: сопротивление традиционалистов, напуганных натиском современности; быстрый рост в урбанизирующихся обществах развитых стран новых и вполне «нетрадиционных» классов и слоев и, наконец, беспрецедентные миграции, разбросавшие по всему свету диаспоры представителей разных народов, каждая из которых оставалась чуждой как местным жителям, так и прочим группам переселенцев, ибо не успела еще выработать навыков сосуществования. Масштаб и темп свойственных эпохе перемен сами по себе позволяют понять, почему при подобных условиях пово-

---

<sup>1</sup> *Jean Finot. Race Prejudice. London, 1906. P. 5–6.*

ды для трений между различными группами умножились, — даже если мы оставим в стороне ужасы «Великой депрессии», так часто потрясавшие в те годы существование людей бедных и необеспеченных, а также тех, чье экономическое положение было непрочным. И для того, чтобы национализм проник в политику, требовалось только одно: группы мужчин и женщин, видевшие в себе в определенном смысле «руританцев» или воспринимавшиеся подобным образом другими, должны были почувствовать желание и готовность поверить, что их недовольство проистекает из отношения к «руританцам» как к людям второго сорта — отношения, часто совершенно очевидного, — со стороны других национальностей (или по сравнению с другими национальностями) или же со стороны не-«руританских» правительств и господствующих классов. Так или иначе, около 1914 г. наблюдатели уже были склонны удивляться тому, что некоторые группы населения Европы все еще казались совершенно невосприимчивыми к какой-либо национальной пропаганде, хотя это и не предполагало с необходимостью их, наблюдателей, приверженности к определенной националистической программе. Те граждане США, которые являлись иммигрантами, не требовали от федерального правительства лингвистических или каких-либо иных уступок для своей национальности, однако каждый политик-демократ прекрасно знал, что обращение к ирландцам как к ирландцам или к полякам как к полякам непременно принесет свои плоды.

Выше мы убедились, что важнейшими политическими переменами, превратившими потенциальную восприимчивость к национальным лозунгам в их реальное восприятие, стали общая демократизация политики во все большем числе государств, а также создание современного типа бюрократического государства, спо-

собного активно влиять на своих граждан и мобилизовывать их для собственных целей. И все же констатация растущего участия масс в политической жизни позволяет нам лишь заново сформулировать проблему народной поддержки националистических движений, но не решить ее по существу. Нам нужно выяснить, что конкретно означали национальные лозунги в политике и был ли их смысл одинаковым для различных групп избирателей; как они эволюционировали, при каких условиях они могли взаимодействовать с иными идеями, способными увлечь граждан, а при каких оказывались с ними несовместимы, и, наконец, почему в одних случаях они добивались преобладания над прочими лозунгами и теориями, а в других — терпели фиаско.

Ответить на эти вопросы нам помогает отождествление нации с языком, ибо лингвистический национализм существенным образом нуждается в контроле над государством или, по крайней мере, в официальном признании определенного языка. Вполне очевидно, что эти задачи не являются одинаково важными для различных государств и национальностей (или для различных групп и слоев внутри одного государства или национальности). Но в любом случае можно утверждать, что в основе языкового национализма лежат отнюдь не проблемы культуры или средств общения, но вопросы власти и статуса, политики и идеологии. Ведь если бы решающим аргументом были потребности культуры или массовой коммуникации, то еврейский (сионистский) национализм не предпочел бы современный иврит — язык, на котором тогда еще никто не говорил и который в своем произношении отличался от иврита европейских синагог. Сионисты отвергли идиш, на котором говорили 95% евреев-ашкенази Восточной Европы и евреев, эмигриро-

вавших на Запад, — т. е. значительное большинство всего мирового еврейства. Высказывалось мнение, что развившаяся к 1935 году богатая и разнообразная литература на идише, доступная десяти миллионам носителей этого языка, позволяла считать его «одним из ведущих “литературных” языков эпохи».<sup>1</sup> Точно так же и ирландские националисты не начали бы после 1900 года отчаянно-безнадежную кампанию по возвращению ирландцев к языку, для большинства из них уже непонятному; языку, который сами учителя, вознамерившиеся преподавать его соотечественникам, даже не успели как следует освоить.<sup>2</sup>

И напротив, как показывает пример идиша, и как это подтверждает история XIX столетия, золотого века литературы на диалектах, — наличие широко распространенного разговорного и даже письменного языка не обязательно приводит к зарождению лингвистического национализма. Подобные языки и литературы могли вполне сознательно рассматривать себя (и восприниматься другими) не в качестве конкурентов господствующего языка культуры и общения, но как своеобразное дополнение к нему.

Политико-идеологический подтекст в процессе «создания языка» вполне очевиден. Сам же этот процесс принимает разные формы: от простого «исправления» и нормализации уже существующих языков культуры и литературы до создания подобных языков из совокупности родственных диалектов, или даже воскрешения мертвых или почти исчезнувших языков, что фактически равнозначно конструированию нового языка. Ибо, вопреки популярным националистическим

<sup>1</sup> *Lewis Glinert. Viewpoint: the recovery of Hebrew // Times Literary Supplement, 17, June 1983. P. 634).*

<sup>2</sup> *Cf. Declan Kiberd. Synge and the Irish Language. London, 1979, e. g. P. 223.*

мифам, общенародный язык представляет собой не изначальную основу национального самосознания, но позднейший «культурный артефакт» (Эйнар Хауген).<sup>1</sup> История развития современных языков Индии ясно это доказывает.

Сознательная и целенаправленная «санскритизация» литературного бенгальского (превратившегося в XIX веке в язык культуры) не только отделила образованные высшие классы от народных масс, но и усилила индуcский характер высокой бенгальской культуры, понизив таким образом статус мусульманского населения Бенгалии; и напротив, после отделения Бангладеш (Восточной Бенгалии) отмечалась определенная «десанскритизация» ее языка. Еще более показательна попытка Ганди разработать и утвердить общий для всех язык хинди, опиравшаяся на единство национального движения, иначе говоря, помещать индуcскому и мусульманскому вариантам «лингва франка» северной Индии (хиндустани и урду) разойтись слишком далеко (и при этом создать национальную альтернативу английскому). Тем не менее, экуменически настроенные приверженцы хинди встретили мощное противодействие со стороны проиндусской и антимусульманской (а следовательно, враждебной по отношению к урду) группировки. В 1930-х годах она подчинила своему контролю организацию, созданную Национальным Конгрессом в целях пропаганды языка (Hindi Sahitya Samueelan, или HSS), что привело к выходу из нее Ганди, Неру и других лиде-

---

<sup>1</sup> *Einar Haugen*. Language Conflicts and Language Planning: The Case of Modern Norwegian. The Hague, 1966; его же, The Scandinavian languages as cultural artifacts в сб. *Joshua A. Fishman, Charles A. Ferguson, Jyotindra Das Gupta* (eds.). Language Problems of Developing Nations. New York-London-Sydney-Toronto, 1968. P. 267-284.

ров Конгресса. В 1942 году Ганди вернулся к попытке создания «широкого хинди» (и вновь неудачно). Между тем HSS разрабатывал литературную норму хинди по собственному образцу; со временем стали возникать экзаменационные центры, выдававшие школьные и университетские степени и дипломы по этому языку, который подвергся соответствующей стандартизации в целях преподавания; в 1950 году для расширения словаря была создана «Комиссия по научной терминологии», и, наконец, эти усилия были увенчаны Энциклопедией хинди, работа над которой началась в 1956 г.<sup>1</sup>

В самом деле, по мере того как «символический» смысл языков выходит на первый план по сравнению с их прямыми функциями, языки превращаются в сферу все более активных и целенаправленных опытов социальной инженерии, о чем свидетельствуют многочисленные попытки придать их словарному составу «туземный», или «истинно национальный» характер (самый известный из современных примеров — упорная борьба французских властей против *franglais*). Несложно угадать, какие страсти кроются за подобными движениями, однако ничего общего с проблемами устной речи, письменности, понимания и даже духа литературы они не имеют. Тот вариант норвежского языка, который подвергся сильнейшему датскому влиянию, был и остается главным орудием норвежской литера-

---

<sup>1</sup> J. Bhattacharyya. Language, class and community in Bengal //South Asia Bulletin, VII, I and 2 Fall 1987. P. 56–63; S. N. Mukherjee. Bhadrakalok in Bengali Language and Literature: an essay on the language of class and status //Bengal Past and Present, 95, part II, July–December 1976. P. 225–237); J. Das Gupta & John Gumperz. Language, communication and control in North India, in Fishman, Ferguson, Das Gupta (eds.). Language Problems. P. 151–166.



туры, реакция же против него в XIX веке имела националистическую природу. В 1890-е годы «Немецкое Казино» в Праге объявило, что изучение чешского языка, которым пользовалось тогда 93% горожан, есть *предательство*.<sup>1</sup> Самый тон этой декларации демонстрирует, что речь здесь идет явно не о проблеме средств общения. Энтузиасты валлийского языка, до сих пор сочиняющие кельтские названия для населенных пунктов, никогда прежде их не имевших, прекрасно знают, что в переименовании на кельтский манер Бирмингема носители валлийского нуждаются не больше, чем в переименовании Бамако или любого иного чужеземного города. Но какими бы ни были мотивы целенаправленного конструирования языка или всевозможных манипуляций вокруг него, и какого бы масштаба ни достигали задуманные перемены, сила государства здесь абсолютно необходима.

В самом деле, как могли бы румынские националисты, стремившиеся подчеркнуть, что народ — в отличие от соседних венгров и славян — имеет романские корни, без поддержки государства перейти (в 1863 г.) на письмо и в печати на латинскую графику вместо использовавшейся прежде кириллицы? (Чтобы воспрепятствовать росту панславистских настроений среди славян Габсбургской империи, граф Зедлински, шеф австрийской полиции при Меттернихе, еще раньше проводил сходную культурно-языковую политику, субсидируя печатание православной церковной литературы на латинском алфавите).<sup>2</sup> Каким образом деревенские наречия или употреблявшиеся исключитель-

---

<sup>1</sup> B. Suttner. Die Badenischen Sprachenverordnungen von 1897, 2 Bden. Graz-Cologne, 1960, 1965, Bd. II. S. 86-88.

<sup>2</sup> J. Fishman. The sociology of language: an interdisciplinary approach, в сб. T. E. Sebeok (ed.). Current Trends in Linguistics, vol. 12. The Hague-Paris, 1974. P. 1755.

но в быту диалекты могли бы без опоры на государственную власть и без официально признанного статуса в сфере администрации и образования превратиться со временем в языки, способные конкурировать с господствовавшими языками национальной или мировой культуры, — мы уже не говорим о языках, которые прежде фактически не существовали и, однако, обрели реальность? Что ожидало бы иврит, если бы Британский Мандат 1919 года не признал его одним из трех официальных языков Палестины, — в то время, когда число лиц, пользовавшихся им в повседневной жизни, не превышало 20 000? Что иное, кроме перевода среднего и высшего образования на финский язык, помогло бы изменить сложившееся к концу XIX века положение, когда (после стабилизации лингвистических границ в Финляндии) «доля говоривших по-шведски среди интеллигентов во много раз превышала соответствующий процент среди простого народа»; положение, свидетельствовавшее о том, что образованные финны по-прежнему находили шведский более удобным и полезным, нежели их родной язык? <sup>1</sup>

Но при всей значимости языка как символа национальных устремлений он имеет немало чисто практических социально дифференцированных функций, а следовательно, по отношению к тому языку, который принят в качестве официального в административной, образовательной и иных областях, люди могут занимать самые разные позиции. Здесь стоит еще раз напомнить, что спорным является вопрос о *письменном* языке и о языке устного общения в *публичной* сфере. Разговорный же язык, используемый в частной жизни, не порождает серьезных проблем, даже если он существует рядом с официальным публичным языком, поскольку каждый из них занимает особое

---

<sup>1</sup> Juttikala & Pirinen. A History of Finland. P. 176.

место (подобное явление знакомо всякому ребенку, который с родителями говорит иначе, чем с учителями или приятелями).

Более того, хотя свойственная эпохе особая мобильность, как социальная, так и географическая, заставляла или побуждала изучать новые языки огромное число мужчин (и даже, несмотря на их традиционную замкнутость в сфере частной жизни, женщин), процесс этот сам по себе не приводил с неизбежностью к проблемам идеологического характера, — за исключением тех случаев, когда один язык сознательно *отвергался* и *заменялся* другим. Обычно — а практически почти всегда — это было способом приобщения к более широкой культуре или перехода к более высокому социальному статусу, с которыми и ассоциировался изучаемый язык. Именно так, наверняка, нередко обстояло дело в центральной и восточной Европе с ассимилированными евреями из среднего класса, которые гордились тем, что не говорят на идише и даже не понимают его; возможно, нечто подобное имело место и на определенном этапе родовой истории многих рьяных немецких националистов и фашистов центральной Европы, чьи фамилии недвусмысленно указывали на славянские корни. И все же новый и старый языки существовали, как правило, в симбиозе; каждый — в своей собственной сфере. И если образованные представители среднего класса Венеции использовали итальянский, то это не предполагало отказа говорить на венецианском диалекте в семье или на рынке; точно так же, как двуязычие Ллойд Джорджа не означало с его стороны измену родному валлийскому языку.

Таким образом, ни для высших слоев, ни для трудящихся масс язык устного общения не порождал крупных политических проблем. Люди, занимавшие высокое социальное положение, говорили на одном из

развитых культурных языков, если же их собственный национальный язык или язык семьи не принадлежал к числу последних, то мужчины — а к началу XX века и женщины — осваивали один или несколько подобных языков. Разумеется, они стремились говорить на литературном национальном языке как подобает людям «культурным»; в их речи могли порой присутствовать диалектные выражения или местный акцент, но в целом она указывала на определенный социальный статус.<sup>1</sup> Они могли обращаться к местным говорам, диалектам или просторечным оборотам, характерным для низших слоев, с которыми им приходилось соприкасаться; конкретные детали зависели в данном случае от их происхождения, местожительства, воспитания, обычаев и условностей их класса и, разумеется, от того, в какой степени общение с простым народом предполагало знание соответствующего языка, диалекта или гибридного жаргона, вроде креольского или пиджина. Официальный статус последних значения не имел, ибо общепринятый язык администрации и культуры, каким бы он ни был, всегда был в принципе доступен высшим классам.

Для неграмотных людей из простого народа мир слов оставался сферой исключительно устной речи, а следовательно, письменный язык — официальный и любой иной — затрагивал их лишь в том смысле, что все болезненнее напоминал им о недостатке образования и власти. Так, албанские националисты требовали, чтобы их язык пользовался не арабским или греческим, но латинским письмом — это позволяло им избавиться от комплекса неполноценности по отношению к грекам и туркам — однако для тех, кто вовсе не

---

<sup>1</sup> Услышав речь Охса фон Лерхенау, ни один венский таксист — даже не видя в лицо говорящего — нисколько не усомнился бы в его социальном положении.

умел читать, подобные планы явно не имели никакого смысла. По мере того как автаркия деревенской жизни разрушалась, а выходцы из разных стран все теснее соприкасались друг с другом, проблема общего языка становилась для них все более насущной. (В меньшей степени это было характерно для женщин, замкнутых в узких пределах домашней жизни, и еще меньше — для тех, кто обрабатывал землю или разводил скот.) Лучшим выходом было овладение государственным языком данной страны в достаточном для повседневных нужд объеме, — тем более что два мощнейших орудия массового образования, армия и начальная школа, несли элементарные знания официального языка в каждую семью.<sup>1</sup> Неудивительно, что чисто местные наречия или социально ограниченные диалекты уступали позиции языкам, употреблявшимся в более широкой сфере, и у нас нет никаких свидетельств того, что подобные лингвистические перемены и необходимость адаптации к ним встречали сопротивление снизу. Ведь более развитой и распространенный из двух языков обладал огромными и явными преимуществами и при этом не порождал каких-либо видимых неудобств, поскольку ничто не мешало моноглотам в общении между собой по-прежнему пользоваться родным языком. Однако за пределами своей родины и вне традиционных занятий моноглот-бретонец оказывался совершенно беспомощным, превращаясь в бессловесное животное или существо, лишенное дара речи. И с точки зрения простого человека, который искал работы и лучшей доли в условиях современного мира, не было ничего дурного в том, что крестьяне станови-

---

<sup>1</sup> Уже в 1794 году аббат Грегуар с удовлетворением отмечал, что «в наших батальонах говорят, как правило, по-французски» — вероятно, потому, что в армии смешивались между собой представители разных районов Франции.

лись французами или поляками, а итальянцы в Чикаго изучали английский, чтобы стать американцами.

Но если выгоды знания языка, выходявшего за узко местные пределы, были вполне очевидны, то еще более несомненными являлись преимущества, протекавшие из умения читать и писать на широко распространенном и в особенности — мировом языке. Характерно, что популярное в Латинской Америке требование вести обучение в школах на местных индейских языках — языках, не имеющих собственной письменности, — исходит не от самих индейцев, но от интеллигентов — *indigenistas*. Если местный язык не является *de facto* мировым, то монолингвизм означает на практике узость кругозора и ограниченность перспектив. Преимущества знания французского были столь велики, что количество бельгийцев — природных носителей фламандского, превратившихся с 1846 по 1910 гг. в билингвов, значительно превысило число франкофонов, взявших на себя труд освоить фламандский.<sup>1</sup> И чтобы объяснить упадок местных диалектов или распространенных на ограниченной территории языков, которые существовали рядом с языками крупными, нет необходимости прибегать к гипотезам о «лингвистическом» притеснении со стороны государства. Напротив, упорные, методичные и часто весьма дорогостоящие усилия, предпринятые ради сохранения сербского, ретороманского или гаэльского (языка шотландских кельтов), смогли лишь на некоторое время отсрочить их закат. Правда, иные интеллигенты (из числа поборников туземных наречий) с горечью вспоминают, как бездарные учителя запрещали им

---

<sup>1</sup> A. Zolberg. The making of Flemings and Walloons: Belgium 1830–1914 // Journal of Interdisciplinary History, V/2, 1974. P. 210–215.

пользоваться местным диалектом или языком в классе, где занятия велись по-английски или по-французски, и все же у нас нет причин полагать, что родители школьников *en masse* \* предпочли бы для своих детей обучение исключительно на родном языке. (Необходимость получать образование исключительно на чужом языке, который имеет *ограниченное* распространение, — например, румынском вместо болгарского — могла, разумеется, встретить более серьезное противодействие.)

Таким образом, ни у аристократии или крупной буржуазии, с одной стороны, ни у рабочих и крестьян, с другой, лингвистический национализм особых симпатий не вызывал. Не было никакой логической необходимости в том, чтобы *grande bourgeoisie* \*\* как таковая сочувствовала любому из двух вариантов национализма, вышедших на первый план к концу XIX века (т. е. имперскому шовинизму или национализму малого народа), а тем более — лингвистическому рвению небольшой нации. Так, фламандская буржуазия Гента и Антверпена была и, вероятно, отчасти до сих пор остается подчеркнуто франкоязычной и анти-*flamingant*. Польские промышленники, большинство из которых видело в себе скорее немцев или евреев, нежели поляков,<sup>1</sup> прекрасно понимали, что их экономическим интересам лучше всего отвечает работа на всероссийский или иной наднациональный рынок. (По этой причине даже Роза Люксембург допустила ошибку, недооценив потенциальную силу польского нацио-

---

\* В массе, в большинстве (фр.). — Прим. пер.

\*\* Крупная буржуазия (фр.). — Прим. пер.

<sup>1</sup> *Waslaw Dlugoborski*. Das polnische Bürgertum vor 1918 in vergleichender Perspektive в кн. *J. Kocka* (ed.). Bürgertum im 19 Jahrhundert: Deutschland im europäischen Vergleich. Munich, 1988, Bd. I. S. 266–289.



нализма.) Шотландские фабриканты могли сколько угодно гордиться своими национальными корнями, однако любое предложение отменить Унию 1707 года они бы сочли сентиментальной глупостью.

Рабочие массы, как мы видели, были не слишком склонны волноваться по поводу языка как такового, хотя последний и служил порой косвенным знаком иного рода трений между социальными группами. То обстоятельство, что пролетарии Гента и Антверпена не могли общаться со своими товарищами из Льежа и Шарлеруа без перевода, нисколько не мешало тем и другим действовать в рамках единого рабочего движения; причем проблема языка причиняла его участникам так мало беспокойства, что в классическом труде о бельгийском социализме (1903 г.) фламандский вопрос даже не упоминался — ситуация, в наши дни совершенно немыслимая.<sup>1</sup> А в Южном Уэльсе близость интересов буржуазии и рабочего класса в данном пункте заставила их сообща противодействовать попыткам либералов Северного Уэльса (во главе с Ллойд Джорджем) отождествить валлийскую национальность исключительно с валлийским языком, а дело либеральной партии — ведущей партии Уэльса — с защитой последнего. И в 1890-е годы они имели успех.

Те группы, чья судьба прямо зависела от предоставления официального статуса письменному языку данного народа, занимали скромное общественное положение, однако принадлежали к образованным слоям. Сюда относились лица, которые вошли в низший разряд среднего класса именно потому, что их профессия, не связанная с физическим трудом, предпола-

---

<sup>1</sup> *Jules Destrée & Emile Vandervelde. Le Socialisme en Belgique. Paris, 1903, 1-е изд., 1898.* Точнее, 48-страничная библиография все-таки содержала одну работу по фламандскому вопросу — предвыборную брошюру.

гала специальную подготовку и обучение. И тогдашние социалисты, редко произносившие слово «национализм», не прибавив к нему определение «мелкобуржуазный», знали, о чем говорят. Ведь воинство языковых националистов комплектовалось главным образом провинциальными газетчиками, школьными учителями и амбициозными мелкими чиновниками. А в тот период, когда межнациональные конфликты сделали австрийскую часть Габсбургской империи практически неуправляемой, политические баталии велись вокруг вопросов о языке обучения в средней школе или о национальной принадлежности начальников железнодорожных станций. Сходным образом и в империи Вильгельма II ряды ультранационалистических приверженцев пангерманской идеологии пополнялись в немалой степени за счет образованных (но чаще *Oberlehrer*,\* нежели профессоров) или полубразованных представителей социально мобильных и численно растущих слоев.

Я не хочу сводить проблему языкового национализма исключительно к вопросу о роде занятий его сторонников — подобно тому, как вульгарно-материалистически мыслящие либералы сводили проблему войны к вопросу о прибылях фирм, выпускающих оружие. И все же сущность этого национализма, а тем более противодействие ему мы не поймем вполне, если не увидим в местном народном языке своего рода капитал низших классов, которые сдают социальный экзамен. И каждый новый шаг, повышающий официальный статус данного языка (в особенности — как языка обучения), увеличивал число лиц, способных извлекать из этого капитала свои дивиденды. Характерным примером подобной ситуации служит, с одной стороны, административное деление независимой

---

\* Школьных учителей (нем.). — *Прим. пер.*

Индии преимущественно по лингвистическому принципу, а с другой — нежелание принимать один местный язык (хинди) в качестве государственного: ведь умение читать и писать по-тамильски открывает широкие перспективы для карьеры в пределах штата Тамилнад, а сохранение официального статуса за английским не лишает человека, получившего образование на тамильском, каких-либо преимуществ в общенациональном масштабе сравнительно с лицами, получившими образование на любом другом местном языке. А значит, решающим этапом в процессе трансформации языка в потенциальный «капитал» является не превращение его в средство *начального* образования (хотя это само по себе создает многочисленную корпорацию учителей начальной школы и преподавателей местного языка), но перевод на местный язык образования *среднего* — подобный тому, который совершился в 1880-х годах во Фландрии и в Финляндии. Этот шаг, как прекрасно понимали финские националисты, тесно связывал перспективу социального роста с местным языком, а следовательно, с лингвистическим национализмом. «Главным образом в Ген-те и Антверпене новое, светски мыслящее поколение, получившее образование на фламандском языке <...>, выдвинуло из своей среды отдельных лиц и целые группы, которые создали и отстаивали новую *Flamingant* идеологию».<sup>1</sup>

Но, формируя связанный с местным языком средний класс, этот лингвистический процесс еще сильнее подчеркивал зависимость, социальную негарантированность и чувство «неполноценности», столь характерные для низших слоев среднего класса, а потому делал новый национализм чрезвычайно для них привлекательным. Так, новый класс, получивший обра-

<sup>1</sup> Zolberg. The making of Flemings and Walloons. P. 227.

зование на фламандском, оказался в сложном положении между народными массами Фландрии, самые динамичные элементы которых тяготели к французскому из-за связанных с ним практических преимуществ, и элитой бельгийской культуры, администрации и промышленности, по-прежнему непоколебимо сохранявшей свой франкоязычный характер.<sup>1</sup> Чтобы на равных претендовать на один и тот же пост, фламандцу нужно было превращаться в билингва, тогда как от природного носителя французского требовалось (да и то не всегда) лишь самое поверхностное знакомство с фламандским, — один этот факт подчеркивал «второсортность» менее распространенного из двух языков (нечто подобное происходило позднее и в Квебеке). Те же профессии и должности, где двуязычие представляло собой действительно ценное качество, относились, как правило, к числу непрестижных, т. е. носители менее крупного языка обладали очевидным преимуществом.

Можно было бы ожидать, что фламандцы, как и квебекцы, должны уверенно смотреть в будущее, поскольку на них работает демография. Ведь их положение в этом смысле оставалось куда более благоприятным, чем у носителей переживающих упадок древних, по преимуществу деревенских наречий и языков, вроде ирландского, бретонского, баскского, фризского, ретороманского и даже валлийского, которые, будучи предоставлены самим себе, явно не смогли бы выдержать чисто дарвиновскую борьбу языков за существование. Фламандскому и канадскому варианту французского — как языкам — опасность не угрожала, но их носители не входили в социально-лингвистическую элиту, и обратно, тем, кто говорил на языке господствующем, не требовалось признавать образо-

---

<sup>1</sup> Ibid. P. 209 ff.

ванных носителей местного языка в качестве членов элиты. Опасности подвергался не сам язык, но статус и общественное положение среднего слоя *Flamissant* и квебекцев. Повысить же их могла только поддержка со стороны государства.

Примерно такой же была в сущности ситуация и там, где лингвистический вопрос состоял в защите переживающего упадок языка; языка, который, подобно баскскому и валлийскому в новых промышленных и урбанистических центрах, часто находился фактически на грани полного исчезновения. Несомненно, защита старинного языка означала в данном случае защиту старинных обычаев и традиций общества в целом от разрушительного влияния современности, чем и объясняется та поддержка, которую католическое духовенство оказывало бретонскому, фламандскому, баскскому и прочим подобным движениям. И в этом смысле они были чем-то большим, нежели движения среднего класса. И все же баскский лингвистический национализм не являлся движением традиционной деревни, по-прежнему говорившей на том языке, который испаноязычному основателю Баскской Национальной партии (PNV), как и многим другим борцам за народный язык, пришлось изучать в зрелом возрасте. И к новому национализму баскское крестьянство особого интереса не проявило. Подлинные его истоки — в реакции «консервативной, католической и мелкобуржуазной среды»<sup>1</sup> (приморских городов) на угрозу индустриализации и занесенного ею «безбожного» социализма иммигрантов-пролетариев, а кроме того — во враждебном отношении упомянутых слоев к крупной баскской буржуазии, связанной своими интересами с испанской монархией в целом. В отличие от каталонского автономизма, PNV получала со стороны

---

<sup>1</sup> Puhle. Baskischer Nationalismus. S. 62–65.

местной буржуазии лишь самую незначительную поддержку. А в претензии на языковую и расовую исключительность, на которой основывался баскский национализм, явственно звучат нотки, хорошо знакомые каждому, кто изучал праворадикальные мелкобуржуазные движения: баски выше остальных народов по причине своей расовой *чистоты*, доказанной уникальностью языка, которая свидетельствует об их нежелании смешиваться с другими народами, и прежде всего — с арабами и евреями. Сходным образом можно охарактеризовать и собственно хорватский (в отличие от общегославского) национализм, который в 1860-х годах пустил первые слабые ростки («поддержанный мелкими буржуа, преимущественно лавочниками и розничными торговцами»), а в эпоху Великой депрессии конца XIX века уже добился определенного влияния — разумеется, среди тех же низших слоев среднего класса, испытывавших особые экономические трудности. «Он отражал сопротивление мелкой буржуазии “югославизму” как идеологии более состоятельных буржуазных кругов». Ни язык, ни раса не могли в данном случае отделить «избранный народ» от остальных, а потому идея особой исторической миссии хорватской нации, призванной защитить христианство от нашествия с востока, и послужила для утративших уверенность в себе слоев источником столь необходимого им чувства превосходства.<sup>1</sup>

Те же самые общественные слои составили опору иной разновидности национализма, а именно движений политического антисемитизма, возникших в последние десятилетия века, главным образом в Герма-

---

<sup>1</sup> *Mirjana Gross. Croatian national-integrational ideologies from the end of Illyrism to the creation of Yugoslavia // Austrian Yearbook, 15–16, 1979–1980. P. 3–44, esp. 18, 20–21, 34.*

нии (Штокер), Австрии (Шонерер, Люгер) и Франции (Дрюмон, дело Дрейфуса). Неуверенность в своем статусе, трудность самоидентификации, непрочность социального положения многочисленных слоев, находившихся между бесспорными работниками физического труда и столь же бесспорными представителями высших классов; сверхкомпенсация через претензии на исключительность и превосходство, которым кто-то вечно угрожает, — все это сближало мелкую буржуазию с идеологией воинствующего национализма, которую можно фактически определить как ответ на подобные угрозы. Последние же исходили от рабочих, от иностранных государств и просто иностранцев; от иммигрантов, от капиталистов и финансистов, столь охотно отождествляемых с евреями, в которых видели также и революционных агитаторов. Этим средним слоям казалось, что их со всех сторон окружают враги. И ключевым словом в политическом лексиконе французских правых 1880-х годов было отнюдь не слово «семья», «порядок», «традиция», «религия», «нравственность» или что-либо подобное: громче всего, как указывают исследователи, звучало слово «опасность».<sup>1</sup>

Таким образом, национализм из понятия, связанного с левыми и либеральными идеями, превратился в среде мелкой буржуазии в шовинистическое, имперское, агрессивно-ксенофобское движение, точнее — в правый радикализм; и перемены эти были заметны уже в двусмысленном использовании таких терминов, как «patrie» и «патриотизм» около 1870 г. во Франции.<sup>2</sup> И сам термин «национализм» был создан

<sup>1</sup> *Antoine Prost. Vocabulaire des proclamations électorales de 1881, 1885 et 1889. Paris, 1974. P. 37.*

<sup>2</sup> *Jean Dubois. Le Vocabolaire politique et social en France de 1869 à 1872. Paris n. d. — 1962. P. 65, item 3665.*



для описания именно этой тенденции, прежде всего во Франции, а несколько позднее и в Италии.<sup>1</sup> В конце века он еще казался совершенно новым. Но даже там, где существовала определенная преемственность, как например, в случае с «Turner», массовым гимнастическим союзом националистического толка, происходивший в 1890-х годах сдвиг вправо можно проследить и оценить по проникновению в его германские отделения антисемитизма (из Австрии) по замене либерально-национального (черно-красно-золотого) триколора 1848 года имперским трехцветным (черно-бело-красным) флагом и по вновь возникшему увлечению идеями имперского экспансионизма.<sup>2</sup> В каком именно секторе среднего класса находился центр тяжести подобных движений — например, «бунта групп мелкой и средней городской буржуазии против того, что представлялось им наступлением враждебного пролетариата»,<sup>3</sup> бунта, ввергшего Италию в Первую мировую войну, — об этом, разумеется, можно спорить. Однако исследования социального состава итальянского и немецкого фашизма не оставляют

---

Термин «nationalisme» здесь еще не зарегистрирован; нет его и в работе: A. Prost. *Vocabulaire des proclamations*, где идет речь о сдвиге вправо лексикона «национальных» понятий эпохи, особ. р. 52–53, 64–65.

<sup>1</sup> О Франции см.: Zeev Sternhell. *Maurice Barrés et le nationalisme français*. Paris, 1972; об Италии см. главы S. Valutti и F. Perfetti в кн. R. Lill и F. Valsecchi (eds.). *Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla Prima Guerra Mondiale*. Bologna, 1983.

<sup>2</sup> Hans-Georg John. *Politik und Turnen: die deutsche Turnerschaft als nationale Bewegung im deutschen Kaiserreich von 1871 bis 1914*. Ahrensberg bei Hamburg, 1976. P. 41 ff.

<sup>3</sup> Jens Petersen в сб.: W. Shieder (ed.). *Faschismus als soziale Bewegung*. Göttingen, 1983. P. 122.

сомнений в том, что подобные движения опирались главным образом на средние слои.<sup>1</sup>

А кроме того, пусть даже патриотическое рвение этих промежуточных слоев приветствовалось и поощрялось правительствами уже существующих национальных государств, проводивших политику имперской экспансии и национального соперничества с другими подобными государствами, мы видели, что такие настроения возникали спонтанно, а следовательно, не вполне поддавались воздействию и манипулированию сверху. Немногие из правительств — даже накануне 1914 года — были настроены столь же шовинистически, как и подталкивавшие их в спину крайние националисты, а правительств, созданных самими ультра, еще не существовало.

Тем не менее, хотя правительства не могли полностью контролировать этот новый национализм, а последний еще не мог подчинить себе правительства, опора на государство и идентификация с ним представляли собой настоящую необходимость для националистических слоев мелкой и средней буржуазии. Если своего государства у них еще не имелось, то завоевание национальной независимости и должно было обеспечить им тот общественный статус, которого они, по собственному убеждению, заслуживали. И для тех мужчин и женщин, которые осваивали азы гаэльского языка на вечерних курсах в Дублине, а затем преподавали только что выученное другим активистам, проповедь возвращения Ирландии к ее древнему языку стала бы чем-то большим, нежели пропагандистский лозунг. Как показала впоследствии история Ир-

---

<sup>1</sup> *Michael Kater. The Nazi Party: a social profile of members and leaders 1919–1945. Cambridge MA 1983, esp. p. 236; Jens Petersen. Elettorato e base sociale del fascismo negli anni venti // Studi Storici, XVI/3, 1975. P. 627–669.*

ландского Свободного государства, знание языка превратилось в необходимое условие для занятия любых (кроме самых низких) постов на государственной службе, а потому сдача экзамена по ирландскому языку стала пропуском в интеллигентные и профессиональные круги. А если они жили в национальном государстве, то именно национализм давал им чувство социальной самоидентификации, которое пролетарии черпали в своем классовом движении. Можно предположить, что низшие слои среднего класса — как те его группы, которые, подобно ремесленникам и мелким торговцам, оказались теперь экономически незащищенными, так и те категории, которые были в значительной мере столь же новыми, как и рабочий класс (ввиду беспрецедентного расширения слоя «белых воротничков» и вообще лиц, чья профессия предполагала высшее образование) — видели в себе скорее не класс как таковой, но некое сообщество самых ревностных и лояльных, а потому и самых «уважаемых» сынов и дочерей своей родины.

Но какой бы ни была природа того национализма, который вышел на авансцену истории в предшествовавшие Первой мировой войне 50 лет, все его разновидности имели нечто общее, а именно враждебность к пролетарским социалистическим движениям — и не только потому, что последние охватывали пролетариев, но также по причине их сознательного и воинствующего *интернационализма* (или, по крайней мере, отсутствия в них националистических моментов).<sup>1</sup> А потому

---

<sup>1</sup> Данный вопрос анализируется в главе 4 книги: E. J. Hobsbawm. *Worlds of Labour*. London, 1984 и в статье того же автора «Working-class internationalism» in F. van Holthoon & Marcel van der Linden (eds.). *Internationalism in the Labour Movement*. Leiden–New York–Copenhagen–Cologne, 1988. P. 3–16.

кажется вполне логичным рассматривать лозунги национализма и социализма как взаимоисключающие и успехи одного считать бесспорным свидетельством неудач другого. И действительно, согласно каноническому взгляду историков, массовый национализм восторжествовал в ту эпоху над соперничающими идеологиями, а главное — над опиравшимся на классовое сознание социализмом; доказательством чего, как принято считать, стала вспыхнувшая в 1914 году мировая война (обнаружившая внутреннюю слабость социалистического интернационализма), а также полный триумф «принципа национальности» в договорах, оформивших мирное урегулирование после 1918 года.

И все же, вопреки обычным представлениям, те принципы, на которых основывалась политическая притягательность разных идеологий для масс (и прежде всего — классовый, конфессиональный и национальный), не являлись совершенно взаимоисключающими. Более того, ясной и четкой границы, отделяющей их друг от друга, не существовало — даже в том случае, когда обе стороны, а именно религия и атеистический социализм как бы *ex officio* настаивали на своей абсолютной несовместимости. Ведь объект коллективной самоидентификации люди выбирали совсем не так, как выбирают они ботинки, зная, что больше одной пары за один раз надеть невозможно. Они имели и сейчас имеют различные привязанности, симпатии и объекты лояльности одновременно, в том числе и в национальной сфере; их волнуют одновременно разные стороны жизни, каждая из которых — в зависимости от конкретных обстоятельств — способна в тот или иной момент выйти в их сознании на первый план. В течение долгого периода эти привязанности и симпатии могут не предъявлять к данному человеку абсолютно несовместимых требований, а потому он

может без особого труда воспринимать себя как, например, сына ирландца, мужа немки, члена шахтерского сообщества, рабочего, болельщика футбольного клуба «Барнсли», либерала, методиста, английского патриота, республиканца и сторонника Британской империи.

Проблема выбора возникала только, когда одна из этих привязанностей вступала в прямое противоречие с другой (или с другими). Политические активисты, составлявшие меньшинство, были, разумеется, более восприимчивы к подобной несовместимости, а значит, мы можем с уверенностью утверждать, что для большинства английских, французских и германских рабочих август 1914 оказался гораздо менее болезненным опытом, чем для вождей соответствующих социалистических партий, — по той простой причине, что поддержка собственного правительства в войне представлялась обычному пролетарию вполне совместимой с проявлением классового сознания и враждебностью к работодателям (об этом уже отчасти шла речь выше — см. гл. 3, с. 104–106). Шахтеры Южного Уэльса, шокировавшие собственных революционно и интернационалистски настроенных профсоюзных лидеров тем воодушевлением, с которым встали они под ружье в августе 1914, с такой же решимостью — менее чем год спустя! — присоединились ко всеобщей стачке, совершенно не воспринимая обвинения в отсутствии патриотизма. Впрочем, даже активисты могли порой счастливо сочетать то, что теоретики считали несовместимым: например, многие активные члены Французской компартии демонстрировали одновременно и французский национализм, и абсолютную лояльность по отношению к СССР.

И действительно, сам факт, что новые массовые политические движения (националистические, социа-

листические, конфессиональные и любые иные) нередко конкурировали между собой в борьбе за одни и те же массы, наводит на мысль, что их потенциальные избиратели были готовы воспринять все эти разнообразные лозунги. Близость национализма и религии вполне очевидна, в особенности — в Польше и в Ирландии. Но что является главным в этом союзе? Ответить на подобный вопрос нелегко. Гораздо более удивительным и менее изученным было существенное совпадение социального и национального недовольства, которое Ленин со свойственным ему острым восприятием политических реальностей сделал впоследствии одним из основных принципов коммунистической политики в колониальных странах. В хорошо известных международных дебатах марксистов по «национальному вопросу» речь шла не только о влиянии националистических идей на рабочих, которым надлежит внимать лишь классовым лозунгам интернационализма. Была еще одна и, вероятно, более насущная проблема: как следует относиться к тем рабочим партиям, которые поддерживают одновременно и националистические, и социалистические требования.<sup>1</sup> Более того, сейчас уже очевидно (хотя в упомянутых дискуссиях речь об этом почти не шла), что существовали партии, возникшие как социалистические, и при этом (или впоследствии) выполнявшие роль *главного инструмента национального движения своих народов*, — как существовали преимущественно социально ориентированные крестьянские партии (например, в Хорватии), которые легко вырабатывали собственные националистические программы. Короче говоря, един-

---

<sup>1</sup> Краткое изложение проблемы см. у: G. Haupt, Lowy & Weill. Les Marxistes et la question nationale. Paris, 1974. P. 39–43. Польский вопрос был самым крупным, но не единственным вопросом подобного рода.

ство борьбы за социальное и национальное освобождение, о котором Конноли мечтал в Ирландии — и которого ему не удалось добиться, — было фактически достигнуто в других странах.

Здесь можно пойти дальше и утверждать, что сочетание социальных и национальных требований сказывалось в целом гораздо более эффективным способом мобилизации масс на борьбу за независимость, нежели чисто националистические лозунги. Влияние последних ограничивалось недовольными слоями мелкой буржуазии, для которых националистические идеи были — или казались — *заменой* социально-политической программы.

В этом смысле показателен польский пример. Восстановление государственной независимости (через полтора века после разделов Польши) было достигнуто отнюдь не под знаменами какого-либо политического движения, ставившего перед собой именно эту и никакую другую цель, но под руководством Польской Социалистической партии, чей вождь, полковник Пилсудский, и стал освободителем страны. В Финляндии национальной партией финнов стала *de facto* Социалистическая партия, завоевавшая 47% голосов на последних (свободных) выборах перед Русской революцией 1917 года. В Грузии подобную роль играла другая социалистическая партия — меньшевики, в Армении — дашнаки, входившие в состав Социалистического Интернационала.<sup>1</sup> Социалистическая идеоло-

---

<sup>1</sup> О неудачных попытках финского национализма конкурировать с Социалистической партией см.: *David Kirby. Rank-and-file attitudes in the Finnish Social Democratic Party (1905–1918) // Past and Present, 111, May 1968*, esp. p. 164. О Грузии и Армении см.: *Ronald G. Suny (ed.). Transcaucasia: Nationalism and Social Change. Ann Arbor, 1983, особ. part II, очерки R. G. Suny, Anahide Ter Minassian and Gerard J. Libaradian.*



гия преобладала в национальных организациях евреев восточной Европы, как в сионистских, так и в несионистских (Бунд). Но это явление было характерно не только для царской империи, где практически любая стремившаяся к переменам идеология и организация вынуждена была воспринимать себя в первую очередь носителем идей социальной и политической революции. Национальные чувства валлийцев и шотландцев Соединенного Королевства находили свое выражение не в особых националистических партиях, но через ведущие партии общebritанской оппозиции — сначала либеральную, а затем — лейбористскую. В Нидерландах (но не в Германии) умеренные, но вполне реальные чувства малого народа реализовывались главным образом в рамках левого радикализма. А потому фризцы занимают столь же непропорционально большое место в истории нидерландского левого движения, как шотландцы и валлийцы — британского. Трольстра (1860–1930), самый выдающийся из руководителей Голландской Социалистической партии на раннем этапе ее истории, начал свою карьеру в качестве фризского поэта и лидера группы «Молодая Фрисландия», занимавшейся возрождением национальной культуры.<sup>1</sup> Подобный феномен отмечался и в последние десятилетия, хотя его до известной степени маскировала склонность старых мелкобуржуазных националистических партий и движений, первоначально связанных с правыми идеологиями — например, в Уэльсе, Эускади (Стране Басков), Фландрии — рядиться в модное платье социальной революции и марксизма. Тем не менее, ДМК, превратившаяся в главного выразителя тамильских национальных требований в Индии, возникла в качестве региональ-

<sup>1</sup> A. Fejtsma. Histoire et situation actuelle de la langue frisonne // Pluriel, 29, 1982. P. 21–34).

ной социалистической партии в Мадрасе; сходная тенденция в сторону сингальского шовинизма обнаруживается, к сожалению, и в левом движении Шри Ланки.<sup>1</sup>

Цель этих примеров не в том, чтобы точно определить соотношение националистических и социалистических элементов подобных движениях (проблема, не без оснований волновавшая Социалистический Интернационал). Они призваны показать, что массовые движения способны одновременно выражать такие стремления и тенденции, которые мы склонны считать несовместимыми, и что движения, первоначально опиравшиеся на социально-революционные лозунги, могут составить основу для того, что в конечном счете превращается в массовое национальное движение данного народа.

И тот самый пример, который так часто приводят в качестве неопровержимого доказательства преобладания национальных чувств над классовыми, в действительности иллюстрирует сложность отношений между ними. Благодаря недавним замечательным исследованиям мы теперь довольно полно осведомлены о положении дел в многонациональной Габсбургской империи, которое служит самым показательным материалом для оценки идейных конфликтов подобного рода.<sup>2</sup> В дальнейшем я кратко изложу результаты весьма интересного анализа общественных настроений, ко-

---

<sup>1</sup> О сдвиге движения JVI (Janatha Vimukti Peramuna), в 1971 году возглавившего левацкое крестьянское «молодежное» восстание от ультралевых идей к сингальскому шовинизму, см. *Kumari Jayawardene. Ethnic and Class Conflicts in Sri Lanka. Dehiwala, 1985. P. 84–90.*

<sup>2</sup> См. *Z. A. Zeman. The Break-up of the Habsburg Empire, 1914–1918. London, 1961;* и сборник статей *Die Auflösung des Habsburgerreiches. Zusammenbruch und Neuorientierung in Donauraum (Schriftenreihe des österreichischen Ost- und Südosteuropainstituts, Bd. III, Vienna, 1970).*

торый провел Петер Ганак. В своей работе он использовал обширный корпус писем солдат и членов их семей, подвергшихся цензуре или конфискованных в Вене и Будапеште во время Первой мировой войны.<sup>1</sup> В первые ее годы корреспонденты не обнаруживают сильных националистических или антимонархических настроений. Исключением являются письма, принадлежащие *irredenta*: \* сербам (главным образом из Боснии и Воеводины), которые в подавляющем большинстве симпатизируют Сербскому королевству (как сербы) и Святой Руси (как православные славяне); итальянцам и — после вступления в войну Румынии — румынам. Социальная база сербской враждебности к Австрии явно народная, тогда как большинство националистических писем итальянцев и румын исходит от представителей интеллигенции и мелкой буржуазии. Кроме упомянутых, серьезные симптомы национального недовольства обнаруживаются только среди чехов (если судить по письмам военнопленных, многие из которых, вероятно, дезертировали из патриотических мотивов). Но и здесь более половины убежденных противников Габсбургской империи и добровольцев из чешских частей в России — это выходцы из среднего класса и интеллигенции. (Письма к пленным из самой Чехии более осторожны, а потому представляют меньше ценности для исследователя).

Последующие годы войны и особенно Февральская революция в России резко увеличили политический

<sup>1</sup> Péter Hanák. Die Volksmeinung während des letzten Kriegsjahres in Österreich-Ungarn в сб. Die Auflösung. S. 58–66.

\* «Невоссоединенный» (итал.). Здесь: представители национальных групп, живущих вне территории своего «национального» государства и стремящихся к воссоединению с ним. — Прим. пер.

элемент в перехваченной переписке. В самом деле, отчеты цензоров о состоянии общественного мнения единодушно свидетельствуют о том, что Русская революция стала первым с начала войны политическим событием, отзвуки которого дошли вплоть до низших социальных слоев. Среди политически активных представителей некоторых угнетенных национальностей, например, поляков и украинцев, это событие породило надежды на реформы — и, может быть, даже на независимость. И все же господствующим настроением было стремление к миру и к *социальному* переустройству.

Политические суждения, которые начинают теперь появляться даже в письмах женщин из крестьянских и пролетарских слоев и неквалифицированных рабочих, удобнее всего классифицировать с помощью трех взаимозависимых бинарных оппозиций: богатые — бедные (или помещики — крестьяне, хозяева — рабочие), война — мир, порядок — хаос. Связь между этими категориями, по крайней мере, в письмах, вполне очевидна: богатые живут припеваючи и не служат в армии; бедные же находятся в полной власти у богатых и влиятельных, у государства, армии и т. д. Новый момент состоит не только в возросшей частоте подобных жалоб или в убеждении, что и на фронте, и в тылу бедняки терпят несправедливость, но в чувстве того, что альтернативой безропотной покорности судьбе становится теперь революционная надежда на коренные преобразования.

Важнейшей темой в письмах бедняков была война — война как разрушение *естественного строя жизни и труда*. А следовательно, тоска по нормальной, спокойной жизни порождала стремление к миру и все более острую враждебность к войне, военной службе, военной экономике и т. п. Но и здесь мы видим, как

простые жалобы превращаются в сопротивление. Вместо прежнего «Ах, если бы Господь смилостивился и вернул нам мир», читаем: «С нас хватит!» или «Говорят, социалисты собираются заключить мир».

Национальный момент проникает в этот контекст лишь косвенным путем — и главным образом потому, что «до 1918 года национальные чувства еще не кристаллизировались в устойчивый компонент сознания широких народных масс; люди еще не воспринимали вполне отличие лояльности государству от верности нации или не успели сделать между ними окончательный выбор».<sup>1</sup> Национальность выступает по большей части как один из аспектов конфликта богатых и бедных, в особенности если они принадлежат к разным национальностям. Но даже там, где национальные ноты звучат громче всего — например, в письмах чехов, сербов и итальянцев, — мы обнаруживаем также мощный порыв к социальному переустройству.

Я не стану воспроизводить подробные отчеты военных цензоров о тех переменах в общественных настроениях, которые происходили в 1917 году. Однако результаты, полученные Ганакон в ходе анализа примерно 1500 писем, отправленных в период с середины ноября 1917 по середину марта 1918 г. (т. е. уже после Октябрьской революции), представляются мне весьма поучительными и заслуживающими упоминания. Две трети писем принадлежат рабочим и крестьянам, треть — интеллигентам, а национальные пропорции приблизительно соответствуют национальному составу Габсбургской империи в целом. В 18% этих писем на первом плане социальная тема, в 10% — стремление к миру, в 16% — национальный вопрос и отношение к монархии. В 56% писем мы находим сочетание этих тем, а именно: хлеб и мир (если выразаться крат-

---

<sup>1</sup> Ibid. S. 62.

ко) — 29%, хлеб и нация — 9%, мир и нация — 18%. Таким образом, социальная тема присутствует в 56% писем, тема мира — в 57% и национальная тема — в 43%. Социальные, а в сущности — революционные ноты с особенной силой звучат в письмах чехов, венгров, словаков, немцев и хорватов. Мир, который треть авторов надеялась получить благодаря России, треть — благодаря революции и 20% — благодаря им обеим, составляет, естественно, предмет желаний для корреспондентов всех национальностей (некоторые уточнения я сделаю ниже). 60% писем на национальную тему демонстрируют враждебность к империи и более или менее явное стремление к независимости; лояльны 40% или, скорее, 28% писем (если исключить немцев и венгров). 35% авторов «национальных» писем ожидают независимости в результате победы союзников, но 12% по-прежнему верят, что она достижима в рамках монархии.

Как и следовало ожидать, желание мира сочеталось со стремлением к социальной революции, в особенности среди немцев, чехов и венгров. Однако мир и национальные чувства совмещались с бóльшим трудом — хотя бы потому, что национальная независимость многим казалась неотделимой от победы союзных армий. Именно по этой причине во время переговоров в Брест-Литовске многие «националистические» письма не одобряют немедленное заключение мира. (Это характерно для писем представителей чешской, польской, итальянской и сербской элиты.) В период, когда впервые стало ощущаться воздействие Октябрьской революции, социальный элемент в общественных настроениях достиг своего пика, — но в то же самое время, как признают Земан и Ганак, национальная и социальная составляющие в стремлении к революции начали расходиться и противоречить друг другу. Своего рода поворотным пунктом стали массовые январ-

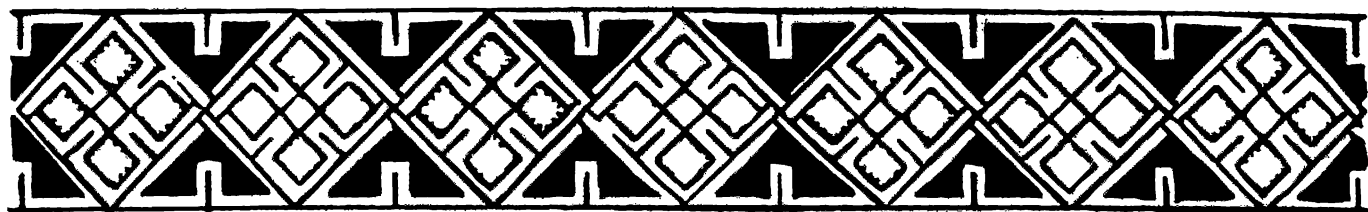
ские забастовки 1918 года. Сделав выбор в пользу подавления революционной агитации и продолжения проигранной войны, Габсбургская монархия, как отмечает Земан, в каком-то смысле предрешила судьбу Европы, которой суждено теперь было стать не Европой Советов, но Европой Вильсона. Но даже в 1918 году, когда национальная идея вышла, наконец, в народном сознании на первый план, она еще не выступала отдельно от идеи социальной и не противопоставлялась ей. Для большинства неимущих обе эти идеи в период крушения монархии сливались воедино.

Какие выводы следует нам сделать из этого краткого обзора? *Во-первых*, нужно констатировать, что по-прежнему слишком мало знаем о том, что же конкретно означала национальная идея для большинства представителей упомянутых национальностей. И чтобы это выяснить, потребуется не только множество специальных исследований, подобных выполненному Ганаком анализу корпуса цензурованных писем, но и — прежде чем такая работа сможет принести свои плоды — хладнокровный, демистифицирующий взгляд на терминологию и идеологию «национального вопроса» эпохи, и особенно в националистическом его варианте. *Во-вторых*, формирование национального сознания нельзя отделять от становления прочих форм социального и политического сознания: в ту эпоху это были параллельные и взаимосвязанные процессы. *В-третьих*, развитие национального сознания (если отвлечься от слоев, связанных с националистическими движениями крайне правого и фундаменталистского толка) не является линейным и не обязательно происходит за счет иных компонентов общественного сознания. Поставив в центр внимания август 1914, можно было бы, вероятно, заключить, что лояльность нации и национальному государству восторжествовала над все-



ми конкурирующими социальными и политическими идеями. Но можно ли было утверждать подобное в перспективе 1917 года? У тех народов воюющей Европы, которые обладали независимостью еще до войны, национализм взял верх, и в итоге движения, отражавшие реальные интересы неимущих классов, в 1918 году потерпели неудачу. Когда это произошло, мелкие и средние слои прежних угнетенных национальностей получили возможность превратиться в правящую элиту новых небольших государств, возникших в результате вильсоновского умиротворения. Таким образом, национальное освобождение без социальной революции стало (под эгидой держав-победительниц) удобной и реальной тыловой позицией для тех, кто прежде мечтал и о независимости, и о революции. Но в крупных побежденных или не удовлетворенных плодами победы (semi-defeated) государствах таких резервных рубежей не было, и там военная катастрофа привела к социальной революции. Советы и даже недолговечные советские республики мы находим не у чехов или хорватов, но в Германии, немецкой Австрии и Венгрии, а их тень витала над Италией. И когда национализм вновь поднял голову в этих странах, он стал не более умеренным «суррогатом» социальной революции, но лозунгом, мобилизующим отставных офицеров, мелкие и средние гражданские слои на дело контрреволюции. Он стал основой и питательной средой фашизма.





## *Глава 5*

### ПИК НАЦИОНАЛИЗМА, 1918–1950

**Е**сли существовал такой момент в истории, когда «принцип национальности» образца XIX века одержал победу, то случилось это по окончании Первой мировой войны, пусть даже подобный исход был совершенно непредсказуем и вовсе не входил в планы будущих победителей. В самом деле, к нему привели два события, на которые никто не рассчитывал: распад крупных многонациональных империй центральной и восточной Европы и Русская революция, побудившая союзников разыграть вильсоновскую карту против карты большевистской. Ибо, как мы могли убедиться выше, не национальное самоопределение, но, скорее, социальная революция представляла собой лозунг, действительно увлекавший массы в 1917–1918 гг. Можно, конечно, поразмышлять о том, какое воздействие на национальности континента оказала бы победоносная общеевропейская революция, но это будут пустые спекуляции. Послевоенное восстановление Европы (если исключить Россию) проходило отнюдь не на основе большевистской национальной политики. В первый и последний раз в своей истории европейский континент превратился в «картинку-загадку», составленную по преимуществу из государств, каждое из которых определялось и как нация, и как некий вариант буржуазной парламент-

ской демократии. Но этот порядок вещей оказался весьма недолговечным.

Межвоенная Европа стала свидетелем триумфа еще одного аспекта «буржуазной» нации (о котором речь шла во второй главе) — нации как «национальной экономики». Хотя большинство западных экономистов, промышленников и правительств мечтало о возвращении к мировой экономической системе 1913 года, это оказалось невозможным. Но если бы даже нечто подобное произошло, уже не могло быть подлинного возврата к экономике, основанной исключительно на принципах частного предпринимательства, свободной конкуренции и свободной торговли, представлявшей собой идеал, а отчасти даже реальность в мировом хозяйстве той эпохи, когда Британия находилась в зените своего могущества.

Уже в 1913 году капиталистическая экономика быстрыми темпами двигалась к созданию системы крупных корпораций, поддерживаемых, опекаемых и даже до известной степени руководимых правительствами. Война сама по себе резко ускорила тенденцию к формированию такой капиталистической экономики, управление и даже планирование которой осуществляет государство. И когда перед Лениным встала проблема плановой социалистической экономики будущего (о которой социалисты до 1914 года практически не задумывались), он взял за образец военную экономику Германии 1914–1917 гг. Разумеется, если учесть вызванное войной радикальное перераспределение экономической и политической власти в западном мире, то станет ясно, что даже возврат к подобной хозяйственной системе, основанной на союзе государства с крупным капиталом, не смог бы вернуть Европу к положению, существовавшему в 1913 году. И в сущности, любая попытка вернуться в 1913 год оказывалась утопией. Межвоенный экономический

кризис явным образом способствовал формированию замкнутых «национальных экономик». В течение нескольких лет казалось, что сама мировая экономика стоит на грани краха: мощные потоки международной миграции иссякли, превратившись в тонкие ручейки, высокие стены валютного контроля препятствовали международным платежам, международная торговля сокращалась и даже международные инвестиции обнаруживали одно время признаки скорого и полного краха. А после того как даже британцы вышли в 1931 году из Организации Свободной Торговли, представлялось очевидным, что все государства отчаянно стремятся окружить себя редутами протекционизма, — столь мощными, что это уже напоминало курс на полную автаркию (несколько смягчаемую двусторонними соглашениями). В общем, когда мировое хозяйство потрясла экономическая буря, мировой капитализм искал спасения в отдельных хижинах национальных экономик. Был ли этот процесс неизбежным? В теории — нет. Ведь реакцией на глобальные экономические ураганы 1970-х и 1980-х годов подобное бегство (пока еще) не стало. Однако в межвоенный период автаркия, вне всякого сомнения, наблюдалась.

Таким образом, положение вещей, сложившееся между двумя мировыми войнами, предоставляет нам отличную возможность оценить как потенциальную силу, так и слабость национализма и национальных государств. Но прежде чем обратиться к этой проблеме, бросим взгляд на ту модель национально-государственного устройства, которая была навязана Европе Версальским мирным договором и другими связанными с ним соглашениями. (Ради удобства и по логическим основаниям мы включаем сюда и англо-ирландский договор 1921 г.) Самый беглый взгляд мгновенно обнаруживает, что принцип Вильсона оказался совершенно неспособным привести государственные

границы в полное соответствие с границами национальными и языковыми. А между тем мирные соглашения 1918–1919 гг. действительно попытались превратить этот принцип в жизнь, насколько это вообще было возможно (исключением стали некоторые политико-стратегические решения относительно германских границ и вынужденные уступки экспансионизму Польши и Италии). Как бы то ни было, ни до, ни после Версаля, ни в Европе, ни где-либо еще не предпринимались столь же целенаправленные и систематические попытки перекроить политическую карту по национальному принципу.

Но принцип этот попросту не работал. Ввиду вполне объективных этнических реальностей большинство новых государств, воздвигнутых на обломках прежних империй, оказались — совершенно неизбежным образом — столь же многонациональными, как и старые «тюрьмы народов», которым они пришли на смену. В пример можно привести Чехословакию, Польшу, Румынию и Югославию. Немецкое, словенское и хорватское меньшинства в Италии заняли место итальянского меньшинства Габсбургской империи. Главное отличие заключалось в том, что новые государства обладали, как правило, меньшими размерами, и «угнетенные народы» именовались теперь «угнетенными меньшинствами». Логическим следствием попытки создать континент, аккуратно разделенный на самостоятельные государства, каждое из которых имело бы этнически и лингвистически однородное население, стало массовое изгнание и уничтожение меньшинств. Именно таким было, есть и будет кровавое *reductio ad absurdum* \* национализма в его территориальной версии, пусть даже это стало вполне очевидным лишь в 1940-х го-

---

\* Сведение к нелепости, доведение до абсурда (лат.). — Прим. пер.

дах. Впрочем, массовые высылки и даже геноцид имели место у южных границ Европы уже в ходе Первой мировой войны и сразу по ее окончании, когда турки устроили в 1915 году резню армян, а после греко-турецкой войны 1922 года изгнали 1,3–1,5 млн. греков из Малой Азии, где последние жили со времен Гомера.<sup>1</sup> Позднее Адольф Гитлер — в этом смысле вполне последовательный националист вильсоновского толка — принимал меры к переселению в Германию тех немцев, которые жили за пределами «фатерлянда» (например, в итальянском Южном Тироле) — и выступал за поголовное истребление евреев. А после Второй мировой войны, когда на обширном пространстве между Францией и внутренними районами СССР евреев практически не осталось, пришел черед немцев, и теперь уже их высылали *en masse* из Польши и Чехословакии. После всего этого уже можно было понять, что создание однородного национального государства представляет собой цель, которую могут осуществить только варвары или, по крайней мере, только варварскими средствами.

Одним из парадоксальных результатов открытия того факта, что полное совпадение государств с национальностями недостижимо, стала устойчивость границ, предусмотренных Версальским миром (абсурдных даже по стандартам Вильсона). Границы эти изменялись только в исключительных случаях, в угоду интересам великих держав: Германии — до 1945 г. и СССР — после 1940 г. Различные попытки перекроить границы государств, образовавшихся после распада Австро-Венгерской и Турецкой империй, не привели к прочным

---

<sup>1</sup> См. С. А. Macartney. «Refugees» in Encyclopedia of the Social Sciences. New York, 1934, vol. 13. P. 200–205; Charles B. Eddy. Greece and the Greek Refugees. London, 1931. Справедливости ради следует упомянуть и о 400 тысячах турок, изгнанных из Греции.

результатам, и сейчас они проходят примерно там же, где и после Первой мировой войны (если не считать адриатических территорий, после 1918 года присоединенных к Италии, а затем переданных Югославии).

Но вильсоновская система породила и некоторые другие результаты, весьма знаменательные и не вполне ожидаемые. Во-первых, она продемонстрировала, — и этому не нужно удивляться — что национализм малых наций может быть так же нетерпим к меньшинствам, как и тот вариант национализма, который Ленин называл «великодержавным шовинизмом». Для знатоков Габсбургской Венгрии это, конечно, не стало особым открытием. Более важным и действительно новым явилось осознание того факта, что «национальная идея» в формулировке ее официальных поборников не обязательно совпадает с истинным самоощущением соответствующих народов. Плебисциты, организованные после 1918 года на территориях со смешанным населением и призванные определить, гражданами какого из претендующих на эти земли национальных государств станут их жители, выявили значительное число лиц, которые пожелали присоединиться к иноязычному государству. Данный факт можно было порой объяснять политическим давлением, подтасовками при голосовании или вовсе отделаться от проблемы ссылками на необразованность масс, их политическую незрелость и т. п. В принципе ни одна из этих гипотез не является абсолютно неправдоподобной. Тем не менее, наличие поляков, предпочитающих жить не в возрожденной Польше, а в Германии, или словенцев, избравших не вновь возникшую Югославию, но Австрию, сомнению не подлежало, пусть даже это обстоятельство было *a priori* непостижимо для дюдей, твердо веривших, что представители любой национальности непременно должны ощущать своим то государство, которое объявило себя ее



политическим воплощением. Но подобная теория и в самом деле быстро завоевывала новых сторонников. Двадцать лет спустя именно она побудила британское правительство интернировать *en bloc* \* большинство выходцев из Германии, в т. ч. евреев и эмигрантов-антифашистов, поскольку предполагалось, что любой человек, родившийся в Германии, сохраняет абсолютную лояльность этой стране.

Еще более серьезное расхождение между теорией и действительностью обнаружилось в Ирландии. Вопреки Эммету и Уолфу Тону большинство жителей шести графств Ольстера не желали считать себя «ирландцами» в том же смысле, что и основная масса населения двадцати шести остальных графств (и даже незначительная протестантская община к югу от англо-ирландской границы). Предположение о том, что в Ирландии существует единая ирландская нация, или, скорее, что все жители острова мечтают о единой независимой фенианской Ирландии, оказалось ошибочным, и хотя в течение полувека после образования Ирландского Свободного Государства (а затем Республики) фении и их сторонники объясняли раздел страны британским имперским заговором или глупостью ольстерских юнионистов, одураченных британскими агентами, два последних десятилетия доказали, что корни ирландского раскола следует искать отнюдь не в Лондоне.

Подобным же образом с основанием Югославского королевства обнаружилось, что его жители вовсе не обладают общим «югославским» самосознанием, которое пионеры иллирийской идеи (хорваты) постулировали еще в начале XIX века, и что на них гораздо сильнее действуют иные лозунги, апеллирующие не к «югославам», а к хорватам, сербам или словенцам, и

---

\* Здесь: без разбора, не входя в подробности (фр.). — Прим. пер.

достаточно влиятельные для того, чтобы довести дело до бойни. В частности, массовое хорватское самосознание развилось лишь после возникновения Югославии, и направлено оно было как раз против нового королевства, точнее, против (реального или мнимого) господства в нем сербов.<sup>1</sup> А в новоявленной Чехословакии словаки упорно уклонялись от братских объятий чехов. Впоследствии сходные процессы (и по сходным причинам) еще более очевидным образом дали о себе знать во многих государствах, возникших в результате освобождения от колониальной зависимости. Народы не отождествляли себя с «нацией» именно так, как это им предписывали вожди и вообще те, кто выступал от их имени. Индийский Национальный Конгресс, преданный идее единого субконтинента, вынужден был в 1947 году согласиться с разделом Индии, точно так же и Пакистану, основанному на идее общего государства всех мусульман субконтинента, пришлось в 1971 году смириться с отделением Бангладеш. Когда же индийская политика перестала быть монополией узкого слоя англозированной или европеизированной элиты, ей пришлось столкнуться с требованием административного деления по языковому принципу, о чем прежде никто в национальном движении и не помышлял. (Впрочем, некоторые индийские коммунисты начали обращать внимание на эту проблему незадолго до начала Первой мировой войны).<sup>2</sup> Именно благодаря соперничеству между местными языками официальным языком Индии до сих пор остается английский, хотя говорит на нем лишь

---

<sup>1</sup> *Mirjana Gross. On the integration of the Croatian nation: a case study in nation building //East European Quarterly, 15, 2 June 1981. P. 224.*

<sup>2</sup> См. *G. Adhikari. Pakistan and Indian National Unity. London, 1942. Passim, esp. p. 16–20.* Это был отход от преж-

ничтожная доля 700-миллионного населения страны: все прочие национальности не желают соглашаться с господством хинди, родного языка для 40% граждан.

Версальский мир обнаружил еще один неизвестный прежде феномен: географическое распространение национальных движений и отклонение новых от европейского образца. Официально державы-победительницы сохраняли верность вильсоновскому национализму, а потому для всякого, кто провозглашал себя выразителем чаяний какого-нибудь угнетенного или непризнанного народа — а подобные лица во множестве осаждали главных миротворцев — было вполне естественно ссылаться на национальный принцип, и в особенности — на право наций на самоопределение. И все же это было чем-то большим, нежели просто выигрышным аргументом. Вожди и идеологи антиколониальных движений совершенно искренне использовали язык европейского национализма, усвоенный ими в Европе или от европейцев, даже если он не годился для описания ситуации в их странах. А когда вместо радикализма Французской революции главной идеологией вселенского освобождения стал радикализм революции Русской, право наций на самоопределение (ныне канонически сформулированное в сталинских работах) уже смогло достигнуть тех слоев, которые оставались недостижимыми для лозунгов Мадзини. В Третьем мире (как его стали называть впоследствии) освобождение понимали теперь как «освобождение национальное» или, в марксистских кругах, «национальное и социальное».

Однако и здесь действительность не совпадала с теорией. Реальный и все более мощный освободитель-

---

ней линии Коммунистической партии, которая, подобно Конгрессу, выступала за хиндустани как единый национальный язык. (*R. Palme Dutt. India Today. London, 1940. P. 265–266*).

ный импульс заключался в ненависти к завоевателям, господам и эксплуататорам (которые, помимо всего прочего, воспринимались как чужаки по цвету кожи, одежде и образу жизни), или к тем, в ком видели их приспешников. Настроения эти были по своей природе антиимпериалистическими. Если же среди простого народа и существовали тогда протонациональные чувства — этнические, религиозные или какие-либо иные, — то они отнюдь не способствовали росту национального самосознания, но, скорее, служили ему помехой, и именно к ним охотно апеллировали колониальные владыки в своей борьбе с националистами. Отсюда постоянная критика имперского принципа «разделяй и властвуй», имперского покровительства трайбализму, коммунализму, — словом, всему тому, что разделяло народы, которые, по мнению националистов, должны были выступать как единая нация (однако на практике вели себя иначе).

Кроме того, если исключить немногие относительно устойчивые государственные образования (например, Китай, Корею, Вьетнам и, пожалуй, Иран и Египет, которые, будь они европейскими, попали бы в разряд «исторических наций»), обнаружится, что подавляющее большинство территориальных единиц, за независимость которых боролись так называемые «национальные движения», либо представляли собой прямые продукты империалистической экспансии, в нынешней своей форме существовавшие, как правило, не более нескольких десятилетий, либо были признаны скорее религиозно-культурными зонами, нежели чем-то таким, что в Европе могло бы называться «нацией». Сами же борцы за свободу были «националистами» только потому, что усвоили западные теории, превосходно обосновывающие необходимость свержения чужеземной власти; но в любом случае они составляли в своих странах лишь незначительное мень-

шинство, главным образом, из местных *évolués* \*. Что же касается культурных или геополитических движений, вроде панарабского, панлатиноамериканского или панафриканского, то последние не являлись националистическими даже в этом, весьма узком смысле слова; они были национальными, пусть даже некоторые виды идеологии империалистической экспансии, зародившиеся в сердце Европы, например, пангерманская, могли обладать определенным сходством с национализмом. Подобные теории представляли собой совершенно искусственные построения, создававшиеся теми интеллектуалами, которые не имели возможности опереться в своих спекуляциях на какое-либо реальное государство или нацию. И первые арабские националисты появились скорее в османской Сирии, представлявшей собой как страна нечто весьма смутное и неопределенное, а не в Египте, где национальные движения имели в большей степени собственно египетскую ориентацию. Как бы то ни было, подобные движения отражали, в сущности, лишь тот бесспорный факт, что лингвистическая подготовка лиц, получивших образование на языке широко распространенной культуры, делает для них доступными интеллигентные профессии в любой точке данного культурного региона, — обстоятельство, до сих пор весьма облегчающее жизнь латиноамериканским интеллектуалам, большинство которых в определенный момент своей карьеры может оказаться в политической ссылке; или палестинцам-выпускникам университетов, без труда находящим себе работу в обширной зоне от Персидского залива до Марокко.

С другой стороны, территориально-ориентированные освободительные движения были вынуждены опираться на те элементы общности, которые успела при-

---

\* Развитой, передовой, продвинутый (фр.). — Прим. пер.

внести на данную территорию колониальная власть, поскольку иного рода единством или национальным своеобразием будущая независимая страна очень часто попросту не обладала. Единство, навязанное завоеванием и деятельностью колониальной администрации, могло в конце концов породить народ, сознающий себя «нацией», — подобно тому, как существование независимого государства формировало порой у его граждан чувство национального патриотизма. Французское владычество после 1830 г. и, что важнее, борьба против него — вот единственный опыт, который превращает Алжир как страну в нечто целостное; тем не менее, мы вправе полагать, что Алжир утвердился теперь в качестве единой нации, по крайней мере, столь же прочно, как и вполне «исторические» государственные образования Магриба, например, Тунис и Марокко. Еще более очевидно, что именно общий опыт сионистской колонизации и экспансии создал палестинский национализм, связанный с территорией, которая вплоть до 1918 года даже не имела сколько-нибудь заметной региональной идентичности в пределах тогдашней турецкой южной Сирии. Всего этого, однако, недостаточно, чтобы государства, возникшие в ходе деколонизации (главным образом после 1945 г.), могли с полным правом называться «нациями», а движения, приведшие к деколонизации (если предположить, что последняя стала ответом на потребности настоящего или предугаданные потребности будущего), — движениями «националистическими». О тех процессах, которые протекали в зависимом мире в позднейшую эпоху, речь пойдет ниже.

Мы же вернемся на родину национализма, в Европу.

Преобразование политической карты континента по национальному принципу лишало национализм его освободительного и объединительного содержания,

поскольку для большинства наций после 1918 года подобные цели были уже в основном достигнуты. Теперь европейская ситуация предвосхищала до известной степени то положение, в котором оказался после Второй мировой войны политически деколонизированный Третий мир, а кроме того, имела определенное сходство с Латинской Америкой, этой лабораторией раннего неокOLONиализма. Политической независимости территориальные государства в целом добились, а значит, стало гораздо сложнее упрощать или затушевывать будущие проблемы, откладывая их анализ вплоть до обретения независимости или самоопределения, которые, как теперь можно было ясно понять, отнюдь не решали их все автоматически.

Какое же наследство оставил прежний освободительный и объединительный национализм? Во-первых, для большинства национальностей оставалась проблема меньшинства, живущего за пределами соответствующих национальных государств (венгры в Румынии, словенцы в Австрии); во-вторых, — проблема национальной экспансии подобных национальных государств, осуществлявшейся за счет иностранцев или собственных меньшинств. Естественно, некоторые национальности как в западной, так и в восточной Европе своих государств по-прежнему не имели (каталонцы, македонцы). Но если до 1914 года типичные национальные движения были направлены против государств или государственных образований, воспринимавшихся как многонациональные или наднациональные, — вроде Габсбургской или Османской империй, — то после 1919 года их противниками в Европе становились главным образом государства национальные. А следовательно, эти движения почти неизбежно были не объединительными, а, скорее, сепаратистскими, хотя сепаратистские цели и устремления могли смягчаться политическим реализмом или, как



в случае с ольстерскими юнионистами, маскироваться чувством преданности какой-то другой стране. Но это не было чем-то новым. Новым стало то, что в номинально национальных, а фактически многонациональных государствах Западной Европы подобные настроения принимали теперь политические, а не преимущественно культурные, как прежде, формы, хотя некоторые из этих новых националистических организаций, например, Уэльская и Шотландская национальные партии, возникшие в межвоенный период и едва вступившие в «фазу В» своей эволюции, еще не имели массовой поддержки.

В самом деле, национальные движения малых народов Западной Европы (если отвлечься от Ирландии) до 1914 года ничем особенным себя не проявили. Баскская Национальная партия, после 1905 года добившаяся определенного влияния в массах, а в 1917–1919 гг. одерживавшая практически полные победы на местных выборах (не голосовали за нее лишь пролетарии Бильбао), представляла собой нечто исключительное. Ее молодых активистов прямо вдохновлял ирландский революционный национализм 1916–1922 гг., а ее массовую базу расширила централистская диктатура Примо де Риверы, а затем еще более жесткий и репрессивный централизм генерала Франко. Каталонское национальное движение по-прежнему опиралось главным образом на местные средние слои, интеллигенцию и нотаблей провинциальных городков, поскольку активный и по преимуществу анархистски настроенный пролетариат (как собственно каталонцы, так и иммигранты) по классовым причинам все еще относился к национализму с недоверием. Анархистская литература сознательно и целенаправленно печаталась на испанском. И здесь местные левые и правые сблизилась только в эпоху Примо де Риверы через некое подобие народного фронта, выступавшего против мадридской

монархии с требованием автономии для Каталонии. Республика и франкистская диктатура усилили массовый «каталанизм», который в последние годы диктатуры и в период после смерти Франко, вероятно, действительно породил массовый сдвиг к каталанскому языку, представляющему собой в наше время уже не просто разговорное наречие, но прочно утвердившийся и получивший официальный статус язык культуры. Тем не менее, в 1980 году среди печатной продукции, выходившей по-каталански, солидные тиражи имели главным образом журналы для интеллигенции и среднего класса, превратившиеся в процветающий жанр; но лишь 6,5% ежедневных газет Барселоны издавалось на каталанском.<sup>1</sup> Как бы то ни было, 80% жителей Каталонии говорит на каталанском, а 91% населения Галисии — на местном «гальего» (здесь региональное движение гораздо менее активно), — тогда как лишь 30% жителей страны басков владело в 1977 году баскским языком (позднейшие данные, судя по всему, не изменились),<sup>2</sup> что, очевидно, имеет связь с тем обстоятельством, что баскские националисты стремились скорее к полной независимости, нежели к автономии. Различие между баскским и каталонским национализмом (одним из проявлений которого является только что упомянутое) с течением времени, вероятно, все более возрастало, — главным образом потому, что «каталанизм» превратился в массовую силу за счет собственного сдвига влево, позволившего ему объединиться с мощным и самостоятельным рабочим движением (иным путем обрести массовую поддержку он не мог), тогда как

<sup>1</sup> Le Monde, 11 января 1981.

<sup>2</sup> H.-J. Puhle. Baskischer Nationalismus im spanischen Kontext в сб.: H. A. Winkler (ed.). Nationalismus in der Welt von Heute. Göttingen, 1982. S. 53–54.

баскскому национализму удалось изолировать и в конечном счете практически свести на нет традиционное социалистическое движение рабочего класса — факт, который не способна завуалировать революционно-марксистская фразеология сепаратистов из ЭТА. И, вероятно, не стоит удивляться тому, что «каталанизм» ассимилировал иммигрантов (главным образом рабочих) гораздо успешнее, нежели баскское движение, которое держится в значительной степени на ксенофобии. В 1977 году 54% жителей Каталонии, родившихся за ее пределами, говорило по-каталански, тогда как для страны басков соответствующая цифра составляла лишь 8% (впрочем, здесь следует учитывать и то, что баскский язык гораздо сложнее).<sup>1</sup>

Среди других вариантов западноевропейского национализма стоит упомянуть постепенно превращавшееся в серьезную политическую силу фламандское движение. В новый и более опасный этап своего развития оно вступило в 1914 году, когда некоторые его деятели пошли на сотрудничество с немцами, оккупировавшими большую часть Бельгии. Еще более откровенным подобный коллаборационизм стал в эпоху Второй мировой войны. И тем не менее, серьезную угрозу единству Бельгии фламандский национализм создал лишь некоторое время спустя после 1945 года. Прочие националистические движения небольших народов Европы сколько-нибудь заметной роли по-прежнему не играли. В период межвоенной депрессии шотландская и уэльсская националистические партии едва встали на ноги, но они все еще пребывали на задвор-

---

<sup>1</sup> Подробное сопоставление ситуации в Стране Басков и Каталонии см. в: *M. Garcia Ferrando. Regionalismo y autonomias en España. Madrid, 1982* и *E. López Aranguren. La conaencia regional en el proceso autonómico español. Madrid, 1983.*

ках политической жизни, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что основатель «Плайд Кимру» очень напоминал континентальных реакционеров вроде Шарля Морраса и к тому же был католиком.<sup>1</sup> Ни одна из этих партий не сумела добиться поддержки избирателей вплоть до 1960-х годов. Большинство других подобных движений не вышло за пределы фольклорного традиционализма или чисто провинциального недовольства центром.

Тем не менее, в национализме 1918–1950 гг. следует подчеркнуть еще один важный момент, который выводит нас — и его — из традиционного круга проблем (пограничные споры, выборы, плебисциты, языковые вопросы и т. п.). В эту эпоху — эпоху современных, урбанизированных обществ с развитой техникой — национальная идентификация обрела новые способы самовыражения. Укажем на главные из них. Первым, и не требующим особых комментариев, стало появление новейших средств массовой информации — прессы, кино и радио. С их помощью государства и отдельные лица получили возможность стандартизировать, унифицировать и изменять в собственных интересах массовое сознание и, естественно, превращать его в объект целенаправленного пропагандистского воздействия. (Первое министерство, прямой задачей которого стала «пропаганда» и соответствующее «народное просвещение», было учреждено в 1933 г. в Германии с приходом к власти Гитлера.) Но, безусловно, еще более важной, чем возможность методичной обработки умов в пропагандистских целях, стала способность средств массовой коммуникации трансфор-

---

<sup>1</sup> См. *E. Sherrington. Welsh nationalism, the French Revolution and the influence of the French right* в кн.: *D. Smith (ed.). A People and a Proletariat: Essays in the History of Wales 1780–1980. London, 1980. P. 127–147.*

мировать символы данной страны в элемент повседневной жизни рядового человека, разрушая таким образом границу между приватно-локальной сферой существования большинства граждан и областью публично-государственной. Без современных масс-медиа было бы невозможным постепенное превращение британской королевской семьи во вполне «домашний» и одновременно публичный символ национального единства. Самый продуманный из его ритуальных вариантов — рождественское обращение монарха к нации — был изобретен именно для радио (1932 г.), а впоследствии перенесен на телеэкран.

*Спорт* также помогал ликвидировать разрыв между частной и общественной сферами. В межвоенный период спорт — как массовое зрелище — превратился в Европе в бесконечную череду гладиаторских боев между индивидуумами или командами, олицетворяющими национальные государства (теперь это уже вполне глобальный феномен). В предшествующую эпоху такие события, как Олимпийские игры или международные футбольные матчи, интересовали главным образом публику из средних классов (хотя Олимпийские игры начали приобретать характер состязаний между нациями еще до 1914 года), а матчи между представителями разных народов задумывались, в сущности, для того, чтобы сблизить национальные компоненты многонациональных держав. Эти состязания символизировали единство подобных государств, так как дружеское соперничество между их народами должно было, по идее, лишь обострять чувство принадлежности к единому целому. Институционализация регулярных состязаний позволяла «выпустить пар» межгрупповой напряженности, находившей в этой символической борьбе вполне удобный и безобидный выход. Элемент ритуальной «разрядки» легко обнаруживается в играх между командами Австрии и Вен-

грии — первых международных футбольных матчах, организованных на континенте.<sup>1</sup> А в приобщении Уэльса и Ирландии к регбийному соперничеству Англии и Шотландии (1880-е годы) можно усмотреть реакцию на подъем национальных чувств в тогдашней Британии.

Но после 1918 года международный спорт, как это вскоре отметил Джордж Оруэлл, превратился в элемент национального соперничества, а сами спортсмены, представители соответствующих наций и государств, — в важный символ их воображаемой общности. Именно в этот период главную роль в Тур де Франс начали играть не отдельные гонщики, а национальные команды; в кубке Митропы стали встречаться ведущие сборные центральноевропейского региона; мировой футбол получил Кубок мира, а Олимпийские игры, как это продемонстрировал 1936 год, окончательно превратились в повод для национального соперничества и самоутверждения. Исключительно эффективным средством внедрения национальных чувств (по крайней мере, среди мужчин) спорт является потому, что даже лица с наименее выраженными политическими или общественными интересами могут легко отождествить себя с нацией, если ее символизируют молодые люди, блистающие теми качествами, которыми практически каждый мужчина хочет или в определенный период своей жизни хотел обладать. В виде команды из одиннадцати человек с конкретными именами воображаемая общность миллионов кажется более реальной, и тогда даже тот, кто принадлежит всего лишь к болельщикам, сам становится символом нации. Автор этих строк хорошо помнит, с каким волнением слу-

---

<sup>1</sup> E. J. Hobsbawm. Mass-Producing traditions в кн.: E. J. Hobsbawm & T. Ranger (eds.). The Invention of Tradition. Cambridge, 1983. P. 300–301.

шал он в 1929 году радиорепортаж о первом в истории матче английской и австрийской футбольных сборных (проходившем в Вене). Было это в доме моих австрийских приятелей, которые пригрозили: если выиграет Англия — что по ходу трансляции казалось весьма вероятным — мне это даром не пройдет. Единственный английский мальчик в этой компании, я был тогда самой Англией, они же воплощали Австрию. (К счастью, игра завершилась вничью.) Так двенадцатилетние ребята переносили преданность команде на свою нацию в целом.

Таким образом, в межвоенный период в европейских националистических движениях преобладал национализм наций-государств и их невоссоединившихся меньшинств на территориях других государств. Разумеется, война и ее последствия усиливали национализм, в особенности после того, как в начале 1920-х годов волна революционных надежд пошла на убыль. Фашизм и другие правые движения не замедлили этим воспользоваться. Прежде всего они стремились мобилизовать средние слои и прочие классы, испытывавшие страх перед социальной революцией, на борьбу с красной угрозой, которая — особенно в своей большевистской форме — легко отождествлялась с воинствующим интернационализмом и (почти совпадавшим с ним, как тогда казалось) антимилитаризмом, усиленным страшным опытом 1914–1918 гг. Подобная националистическая пропаганда действовала тем успешнее, даже на рабочих, что в поражениях или неудачах страны она винила внешних врагов и внутренних предателей. Недостатка же в поражениях и неудачах, требовавших объяснения и оправдания, разумеется, не было.

Не стоит впадать в преувеличения, утверждая, будто подобный воинствующий национализм стал всего лишь результатом отчаяния, хотя вполне очевидно, что в период Великой депрессии именно крах всех



надежд, безысходность и негодование толкали множество людей в объятия нацистской партии и других крайне правых движений Европы. И, однако, реакция немцев на поражения 1918 и 1945 годов была далеко не одинаковой. В эпоху Веймарской Республики практически все немцы, в т. ч. и коммунисты, были убеждены в вопиющей несправедливости Версальского договора, и борьба против него стала для всех партий, как правых, так и левых, одним из важнейших лозунгов, способных увлечь за собой массы. Между тем в 1945 году Германию заставили принять неизмеримо более суровые и произвольные условия, нежели в 1919. Кроме того, после 1945 г. на территории Федеративной Республики оказались миллионы озлобленных, националистически настроенных немцев, безжалостно изгнанных из государств Центральной и Восточной Европы и отнюдь не считавших это изгнание справедливым возмездием за гораздо более ужасные зверства, совершенные нацистской Германией в других странах. Однако воинствующему политическому реваншизму суждено было сыграть в политической жизни ФРГ весьма скромную и преходящую роль, и сегодня он, бесспорно, не является серьезной силой. Причины, обусловившие различие между эпохами Веймара и Бонна, определить нетрудно. С конца 1940-х годов жизнь большинства граждан Федеративной Республики улучшалась поразительными темпами, тогда как Веймарская Республика, едва оправившись после военного краха, революции, спада и галопирующей инфляции, уже через несколько лет вверглась в пучину ужасающей депрессии.

Но даже если не считать возрождение воинствующего национализма простой реакцией на чувство безысходности, он, безусловно, был чем-то таким, что позволяло заполнить вакуум, возникший вследствие краха иных идеологий и политических программ и

их явной неспособности осуществить людские надежды. Он стал еще одной новой утопией для тех, кто утратил старые утопии века Просвещения; программой для тех, кто разуверился в других программах; поддержкой для тех, кто уже не мог опереться на прочие социальные и политические реалии. К этому вопросу мы вернемся ниже.

И однако, как мы пытались показать в предыдущей главе, национализм вообще — и национализм интересующей нас эпохи в частности — нельзя полностью отождествлять с теми слоями, для которых он представлялся исключительным, абсолютным и всепоглощающим политическим императивом. Мы видели, что национализм был далеко не единственной формой, которую принимало чувство национальной идентичности, или, если использовать термины гражданских прав и обязанностей, чувство патриотизма. Здесь важно видеть различие между непримиримым национализмом государств или правых националистических движений, стремившимся вытеснить все прочие способы политической и социальной идентификации, и более сложным национальным/гражданским и общественным самосознанием, образующим в современных государствах ту почву, на которой прорастают все иные политические убеждения и чувства. И в этом смысле «нацию» было непросто отделить от «класса». Если же мы допустим, что классовое сознание обладало на практике гражданско-национальным измерением, а гражданско-национальное или этническое сознание не были лишены социальных аспектов, то у нас появятся веские основания полагать, что радикализация трудящихся классов межвоенной Европы могла усилить потенциал их национального самосознания.

Как иначе объяснить тот факт, что в эпоху борьбы с фашизмом левые движения нефашистских стран сумели с необыкновенным успехом вновь привлечь на

свою сторону национальные и патриотические чувства? Ибо едва ли можно отрицать, что сопротивление нацистской Германии (особенно во время Второй мировой войны) черпало силы как в собственно национальных чувствах, так и в надежде на социальное обновление и освобождение. Вполне очевидно, что в середине 1930-х годов коммунисты пошли на сознательный разрыв с традицией Первого и Второго Интернационалов, которые передали символы патриотизма в пользование буржуазным государствам и мелкобуржуазным политикам, — даже те символы, которые, подобно «Марсельезе», были тесно связаны с революционным и в т. ч. социалистическим прошлым.<sup>1</sup> Последующие попытки отвоевать эти символы и, если можно так выразиться, разрушить монополию армий дьявола на самые лучшие походные марши заключали в себе, разумеется, много странного, по крайней мере, если рассматривать их извне и ретроспективно. Компартия США, например, провозгласила — к великому удивлению немногих наблюдателей, — что коммунизм это и есть подлинный американизм XX века. И все же роль, сыгранная компартиями в антифашистской борьбе (особенно после 1941 года), делала их права на патриотизм весьма убедительными; во всяком случае, достаточно вескими, чтобы внушить тревогу такому человеку, как генерал де Голль.<sup>2</sup> Более того, сочетание красных флагов с национальными как

<sup>1</sup> О замене «Марсельезы» «Интернационалом» во Франции и в Германии см.: *M. Dommanget, Eugène Pottier. Paris, 1971, ch. III. О патриотических лозунгах см. напр. Maurice Thorez. France Today and the Peopls Front. London, 1936, XIX. P. 174–185, esp. 180–181.*

<sup>2</sup> *Charles De Gaulle. Mémoires de Guerre, II. Paris, 1956. P. 291–292. О США см. Earl Browder. The Peopls Front in the United States. London, 1937. esp. P. 187–196, 249–269.*

внутри, так и вне коммунистического движения было подлинно народным явлением.

Трудно сказать, имел ли место среди левых подлинный взрыв собственно национальных чувств, или же попросту вновь получил возможность выйти на первый план традиционный патриотизм якобинского толка, долгое время оттеснявшийся на обочину официальным антинационализмом и антимилитаризмом левых доктрин. Подобные вопросы мало исследованы, хотя они доступны для серьезного анализа, а имеющиеся у нас в наличии официальные политические документы эпохи являются столь же ненадежным путеводителем в этой области, как и воспоминания современников. Во всяком случае, очевидно, что новый союз идей социальной революции и патриотических настроений был чрезвычайно сложным феноменом, и пока не появились специальные исследования на эту тему, можно, по крайней мере, попытаться бегло обрисовать некоторые его аспекты.

*Во-первых*, антифашистский национализм возник в атмосфере международной идеологической гражданской войны, в ходе которой значительная часть национальных правящих классов сделала, как казалось, ясный выбор в пользу международного правого блока и отождествлявшихся с ним государств. Таким образом, внутренние партии правого толка отбросили лозунги патриотической ксенофобии, в свое время весьма им пригодившиеся. Во Франции это выражалось так: «Лучше Гитлер, чем Леон Блюм». Возможно, первоначальный смысл фразы был таков: «Лучше немец, чем еврей», но ведь она без труда поддавалась и иной интерпретации: «Лучше чужая страна, чем своя собственная». А значит, французским левым было теперь гораздо проще вырвать национальный флаг из рук правых, державших его уже не так крепко, как прежде. Подобным же образом и в Британии оппози-

ция политике умиротворения Гитлера легче давалась левым, ибо консерваторы не могли не видеть в Гитлере — и вполне справедливо — скорее мощный оплот против большевизма, нежели угрозу для Британской империи. Поэтому подъем антифашистского патриотизма это в известном смысле свидетельство того, что мы вправе назвать триумфом определенной разновидности интернационализма.

Во-вторых, рабочие и интеллигенты также делали свой *международный* выбор, но выбор этот в тогдашних обстоятельствах усиливал национальные чувства. Недавние исследования британского и итальянского коммунистических движений 1930-х годов показали, какую роль сыграла борьба с фашизмом, и прежде всего гражданская война в Испании,<sup>1</sup> в росте коммунистических настроений в среде молодых рабочих и интеллектуалов. Но поддержка республиканской Испании была не просто актом международной солидарности, подобным антиимпериалистическим кампаниям в поддержку Индии или Марокко, размах и влияние которых были гораздо более ограниченными. В Британии борьба против угрозы фашизма и войны касалась британцев, во Франции — французов, но в июле 1936 года главный ее фронт прошел в окрестностях Мадрида. Так сложилась история, что вопросы, представлявшие собой, по существу, внутреннее дело каждого отдельного государства, решались теперь на полях сражений страны, столь далекой и неведомой для большинства рабочих, что единственной ассоциацией, которую могла она вызвать у среднего британца, была борьба, ведущаяся на ее территории, и цели этой борьбы. Кроме того, поскольку фашизм и война отождествлялись с вполне оп-

---

<sup>1</sup> *Hywell Francis. Miners Against Fascism: Wales and the Spanish Civil War. London, 1984; Paolo Spriano. Storia del Partito Comunista Italiano, vol. III. Turin, 1970, ch. IV.*

ределенными государствами, Германией и Италией, то речь теперь шла не только о внутренних перспективах Британии или Франции или о мире и войне вообще: смыслом борьбы становилась защита британской или французской нации от немецкой агрессии.

*В-третьих*, антифашистский национализм, как это стало ясно к концу Второй мировой войны, был тесно связан не только с национальным, но и с социальным противостоянием. И для британцев, и для борцов Сопротивления на континенте будущая победа казалась неотделимой от социальных преобразований. И тот факт, что в Британии конец войны совпал с убедительной победой на выборах лейбористской партии и провалом Уинстона Черчилля — обожаемого нацией военного лидера и символа британского патриотизма, — есть бесспорное доказательство данного утверждения, ибо, как бы ни влияла эйфория освобождения на политические симпатии граждан в прочих странах, британские парламентские выборы 1945 года как истинный и точный показатель общественных настроений сомнению не подлежат. И консерваторы, и лейбористы стремились к победе в войне, но только одна из этих партий ставила своей прямой целью и победу, и социальные преобразования.

Кроме того, для многих британских рабочих война сама по себе имела определенный социальный аспект. Не случайно германское нападение на СССР вызвало мощную волну просоветских симпатий среди британских рабочих на фронте и в тылу; симпатий, на которых совершенно не отразилось поведение СССР и местных коммунистов в период с сентября 1939 г. до июня 1941 г. И дело было не только в том, что у Британии, долгое время сражавшейся в одиночку, наконец-то появился союзник. Тем из нас, кто пережил этот поворот в качестве рядовых солдат пролетарских по своему составу частей британской армии, совершен-

но ясно, что большинство политически сознательных бойцов в подобных частях (т. е. лейбористов и тред-юнионистов) по-прежнему воспринимали Советский Союз как в определенном смысле «государство рабочих». И даже столь твердый и непреклонный антикоммунист среди профсоюзных лидеров, как Эрнест Бевин, отказался от подобного взгляда лишь спустя некоторое время после окончания Второй мировой войны.<sup>1</sup> Слишком сильным было ощущение того, что сама эта война есть не только конфликт государств, но и борьба классов.

Таким образом, в антифашистский период национализм приобрел устойчивую связь с левым движением — связь, которую впоследствии еще более укрепил опыт антиимпериалистической борьбы в колониях. Сближение борцов против колониализма с левыми партиями происходило различными способами. Политическими союзниками первых в странах-метрополиях почти всегда оказывались левые. Теории империализма (т. е. борьбы против империализма) уже давно стали неотъемлемым элементом социалистических доктрин. И тот факт, что Советская Россия, будучи сама в значительной степени азиатской страной, воспринимала мир во многом в неевропейской (а между двумя войнами по преимуществу в азиатской) перспективе, не мог не оказать влияния на борцов из (будущего) Третьего мира. И обратно, со времени ленинского тезиса о том, что освобождение угнетенных колониальных народов есть мощный резерв мировой революции, коммунистические революционеры всеми силами поощряли эту борьбу, которая была им близка уже потому, что любое явление, ненавистное для

---

<sup>1</sup> Ср. его речь 1941 года у: *A. Bullock. The Life and Times of Ernest Bevin, vol. 2 (1967). P. 77; H. Pelling. The Labour Governments 1945–1951. London, 1984. P. 120.*



империалистов в метрополиях, должно, как они считали, встречать поддержку у рабочих.

Однако реальные отношения между левыми движениями и националистическими силами в зависимых странах оказывались, разумеется, более сложными, чем это можно заключить из лозунгов и теорий. Если отвлечься от чисто индивидуальных идейных предпочтений борцов с колониализмом, то следует признать: какими бы интернационалистами ни были эти люди в теории, на практике они стремились к завоеванию независимости для своей собственной страны и ни к чему больше. Они плохо воспринимали рассуждения о том, что им-де следует видоизменить свои планы или отсрочить их реализацию вплоть до достижения какой-то более широкой глобальной цели, например, военной победы над нацистской Германией или Японией, т. е. главными врагами их метрополий. В Германии и Японии многие из них — следуя традиционному фенианскому принципу — видели союзников своей нации, особенно в те годы, когда победа этих государств казалась почти неизбежной. С точки зрения левых антифашистов трудно было понять такую, например, фигуру, как Франк Райен: боевик из ИРА, человек откровенно левых взглядов, он сражается в составе интербригад за Испанскую Республику — но этот же самый человек, попав в плен к франкистам, неожиданно объявляется в Берлине, где делает все возможное, чтобы в обмен на поддержку Германии со стороны ИРА выторговать у нацистов объединение Северной и Южной Ирландии после победы Гитлера.<sup>1</sup> Но с точки зрения традиционного ирландского рес-

---

<sup>1</sup> См. *Sean Cronin. Frank Ryan. The Search for the Republic. Dublin, 1980*; а также: *Frank Ryan (ed.). The Book of the XV Brigade. Newcastle on Tyne 1975*, первое издание — *Madrid, 1938*.

публиканизма в Райене можно видеть человека, который ведет вполне последовательную политику, хотя, пожалуй, не всегда выбирает самые продуманные средства. Можно было бы предъявить претензии и Субхасу Ч. Босу («Нетаджи»), герою бенгальских народных масс и в свое время одному из видных радикальных деятелей Индийского Национального Конгресса, который перешел на сторону японцев и организовал антибританскую Индийскую Национальную Армию из индийских солдат, попавших в плен в первые месяцы войны. И все же, выдвигая подобные обвинения, нельзя ссылаться на то, что в 1942 году ставка на победу союзников в войне в Азии была предпочтительнее: напротив, успешное японское вторжение в Индию казалось тогда вполне вероятным. Многие лидеры антиимпериалистических движений — о чем мы теперь не склонны вспоминать — видели в сотрудничестве с Германией и Японией (особенно в период до 1943 года) средство избавления от англичан и французов.

И тем не менее, процесс деколонизации и борьба за независимость в целом ассоциировались с социалистическим/коммунистическим антиимпериализмом, и, вероятно, именно поэтому очень многие из вновь возникших независимых государств — а не только те, в освобождении которых социалисты и коммунисты сыграли важную роль, — провозгласили себя в том или ином смысле «социалистическими». Лозунг национального освобождения стал достоянием левых, и в результате новым этническим и сепаратистским движениям Западной Европы пришлось парадоксальным образом усваивать социально-революционную и марксистско-ленинскую фразеологию, так плохо гармонизовавшую с их духовными истоками (т. е. с праворадикальными идеологиями начала века), а также с профашистскими и даже (в ходе войны) коллаборационистскими эпизодами из биографий иных акти-

вистов постарше.<sup>1</sup> После 1968 года, когда обнаружилось, что долгожданный золотой век так и не наступил, в подобные движения устремились молодые интеллектуалы левацких взглядов; это послужило новым стимулом к трансформации националистической риторики, и в итоге отставшие в своем развитии народы, коим не позволяли осуществить «естественное право на самоопределение», оказались зачисленными в разряд «колоний», борющихся против империалистической эксплуатации.

Есть основания считать, что в 1930–1960 гг. идеология национального освобождения отражала главным образом левые теории и, в частности, установки марксистского Коминтерна. То обстоятельство, что альтернативный язык для выражения национальных чувств оказался настолько дискредитирован своей связью с фашизмом, что в течение жизни целого поколения был практически исключен из публичного обихода, лишь подчеркивало гегемонию левой идеологии. Гитлер и процесс деколонизации восстановили союз националистов с левыми, до 1948 года казавшийся столь естественным. И лишь в 1970-х годах вновь начинают появляться иные обоснования национализма. Самые влиятельные европейские националистические движения этой эпохи, будучи по существу направлены против коммунистических режимов, возвращались к более простым и «утробным» формам национального самоутверждения, даже тогда, когда они прямо не отвергали идеологию, исходившую от господствующих компартий. А в Третьем мире подъем религиозного фундамента-

---

<sup>1</sup> О коллаборационистском прошлом многих активистов «этнических» движений во Франции см.: *William R. Beer. The social class of ethnic activists in contemporary France* в кн. *Milton J. Esman (ed.). Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca, 1977. P. 157.*

лизма, преимущественно в различных исламских формах, но также и в иных религиозных версиях (например буддизм в среде сингальских ультра Шри Ланки), становился обоснованием как для революционного национализма, так и для репрессий на национальной почве. И в этой ретроспективе гегемония левых после 1930-х годов может показаться в ретроспективе недолгим отклонением от нормы и даже иллюзией.

Остается еще один важный вопрос: каким образом повлиял на судьбы национализма выход националистических теорий и движений за пределы того региона, где они впервые возникли? Хотя европейские наблюдатели уже в 1920-х годах начали всерьез воспринимать национализм зависимого мира (на практике — исламских стран и Азии), вносить какие-либо коррективы в европейские методы анализа подобных явлений они не считали нужным.<sup>1</sup> Латиноамериканские республики (самый крупный конгломерат независимых государств за пределами Европы) особого внимания где-либо, кроме США, не привлекали, а националистические движения в этих странах либо рассматривались в виде пуританских чудачеств, либо приравнивались к *indigenismo*, повторному открытию индейских цивилизаций и культур прошлого, — пока некоторые местные группы не обнаружили в 1930–1940 гг. определенных симпатий к европейскому фашизму, что позволило без долгих размышлений приклеить к ним привычные европейские ярлыки. Японии, хотя она, бесспорно, представляла

---

<sup>1</sup> *Hans Kohn. History of Nationalism in the East. New York, 1933; ego же. Nationalism and Imperialism in the Hither East. New York 1932.* Эти работы, впервые опубликованные по-немецки в 1928 и 1930 гг. соответственно, стали первыми крупными исследованиями данной темы. Особое внимание к Ближнему Востоку обусловлено, вероятно, сионистскими интересами автора.

собой явление *sui generis* \*, можно было присвоить «почетный» западный титул имперской державы, а следовательно, видеть в ней национальное и националистическое государство, чем-то напоминающее западные образцы. Что же касается остальных регионов Африки и Азии, не находившихся во владении или под управлением какой-либо метрополии, то — если исключить Афганистан и, может быть, Сиам (Таиланд) — там было лишь одно государство, имевшее реальную возможность для ведения самостоятельной политики: постимперская Турция.

Практически все сколько-нибудь влиятельные антиимпериалистические движения можно было подвести под одну из трех готовых рубрик (в метрополиях так обычно и поступали): местная образованная элита, подражающая европейским теориям «национального самоопределения» (Индия); простонародная антизападная ксенофобия (универсальная характеристика, применявшаяся очень широко, особенно по отношению к Китаю); прирожденное свободолюбие диких воинственных племен (Марокко, кочевники аравийских пустынь). В последнем случае колониальные власти и интеллектуалы, помнившие о возможности использовать этих крепких, отважных и обыкновенно равнодушных к политике молодцов в качестве солдат имперских армий, обнаружили снисходительность, прибегая к вражде и карательным мерам для городских агитаторов, особенно для тех из них, кто имел хоть какое-то образование. Ни один из перечисленных случаев не требовал, казалось, существенного пересмотра привычных теоретических подходов, хотя пример народных движений в исламских странах и даже характер влияния на массы лозунгов Ганди под-

---

\* Единственное в своем роде; уникальное (лат.). — Прим. пер.

сказывали, что мобилизующая роль религии была здесь более значительной, нежели в современной Европе. И, пожалуй, самым оригинальным моментом в теоретическом осмыслении национализма Третьего мира (вне революционного левого движения) стал всеобщий скептицизм относительно универсальной применимости понятия «нация». Имперским наблюдателям казалось, что в зависимых странах национализм представляет собой чаще всего импортный интеллектуальный продукт, весьма популярный среди немногочисленного слоя туземных *évolués*, оторванных от основной массы своих соотечественников, которые держатся совершенно иных представлений о социальной общности и политической лояльности. Нередко это были вполне справедливые оценки, хотя именно они способствовали тому, что колониальные власти или европейские поселенцы не замечали роста массового национального самосознания, когда он действительно происходил (так, например, сионисты и израильские евреи явно проглядели его в случае с палестинскими арабами).

Самое интересное в теоретическом осмыслении национальных проблем зависимого мира появилось в межвоенный период в недрах международного коммунистического движения, пусть даже эти идеи и не вышли за жесткие рамки ленинского варианта марксизма, окончательно приведенного в систему в эту эпоху. Однако главным для марксистов был вопрос об отношениях между классами в рамках широкого антиимпериалистического движения за национальное и социальное освобождение (в т. ч. и теми классами, которые, подобно буржуазии и пролетариату колониальных стран, должны были, по мнению марксистов, вести между собой классовую борьбу), иначе говоря, национальная проблема интересовала их прежде всего в той мере, в какой туземные колониальные общества

обладали классовой структурой, поддающейся анализу в западных понятиях, что создавало для марксистского подхода новые сложности. С другой стороны, определение конкретных «наций», борющихся за свою свободу, обычно попросту заимствовалось марксистами без всякой критики у фактически существующих националистических движений. К примеру, индийская нация представляла собой население индийского субконтинента, как это утверждал ИНК; ирландская нация была тем, что считали таковой фении.<sup>1</sup> Впрочем, для наших нынешних целей нет необходимости углубляться в эту интересную область.

Лишь немногим из антиимпериалистических «национальных» движений Третьего мира соответствовало какое-либо политическое или этническое образование, возникшее еще до прихода колонизаторов, и потому развитие национализма в европейском смысле слова, национализма образца XIX века, пришлось в этом регионе на эпоху деколонизации, т. е. главным образом после 1945 года. А значит, реальным противником подобных националистических движений ока-

---

<sup>1</sup> Die nationale Frage und Österreichs Kampf um seine Unabhängigkeit: Ein Sammelband. В предисловии Йоганна Копелинга (Paris, 1939) документально засвидетельствовано главное исключение — Австрия. В ее немецкоязычных жителях марксисты видели членов немецкой нации, и прежде всего по этой причине Австрийская социал-демократическая партия была предана идее объединения с Германией, породившей большие проблемы после того, как сама Германия оказалась в руках Гитлера. Социал-демократы по-прежнему держались этого взгляда столь твердо, что Карл Реннер (впоследствии первый президент Второй Австрийской республики) фактически приветствовал *Anschluss*, тогда как австрийские коммунисты, желая избежать подобных затруднений, выработали теорию особой австрийской национальности.



зывались, как правило, не чужеземные империалистические угнетатели, но недавно освободившиеся государства, которые заявляли о своей национальной однородности, не обладая таковой на самом деле. Иными словами, этот национализм стал протестом против территориального деления зависимого мира в империалистическую эпоху, необоснованного с точки зрения «национальной», т. е. этнической и культурной, но порой также и против явного несоответствия местным условиям тех западных идеологий, которые занимствовали туземные европеизированные элиты, унаследовавшие власть прежних правителей.

Но в самом ли деле эти движения выступали — и выступают — с подобными протестами во имя чего-то такого, что соответствует старому «принципу национальности» и требованию самоопределения? В определенных случаях они действительно говорят этим языком, усвоенным, очевидно, уже не прямо у Мадзини, но косвенно, через марксизм межвоенной эпохи, который во многих регионах колониального мира стал для местных интеллектуалов самым влиятельным идейным течением. Именно так, очевидно, обстояло дело в Шри Ланке, как с сингальскими, так и с тамильскими экстремистами, хотя сингальский коммунизм, стремясь доказать превосходство ариев, опирался также и на соответствующие западные лингвистические/расовые теории XIX века.<sup>1</sup> Но отсюда не следует, что в межобщинных конфликтах и в соперничестве этнических групп Третьего мира нужно ви-

<sup>1</sup> *Kumari Jayawardene*. Ethnic and Class Conflicts in Sri Lanka. Dehiwala, 1985; *его же*. The national question and the left movement in Sri Lanka // *South Asia Bulletin*, VII, 1 and 2, 1987. P. 11–22; *Jayadeva Vyandoga*. Reinterpreting Tamil and Sinhala nationalism (*ibid.*, p. 39–46); *R. N. Kearney*. Ethnic conflict and the Tamil separatism movement in Sri Lanka // *Asian Survey*, 25, 9 September, 1985. P. 898–917.

деть прежде всего процесс становления государств, логическим итогом которого должно явиться образование самостоятельного территориального государства. От поспешных выводов нас должна удерживать неспособность «трайбализма» — во многих районах Африки имеющего, безусловно, весьма глубокие корни — «противостоять карательному аппарату даже относительно неокрепших новых государств».<sup>1</sup> С другой стороны, стоит обратить внимание и на неспособность тех территорий, которые, подобно Ливану, распадаются на свои обширные компоненты, сохранить что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее характер национального или любого иного государства.

Разумеется, после 1945 года возникали такие государства, которые явным образом делились на несколько (от двух до четырех) регионов, весьма несходных по своим социальным, культурным, этническим и прочим политически значимым характеристикам; и если бы не влияние международных факторов, то они могли бы расколоться на части вдоль этих трещин, как это порой и случалось (Западный и Восточный Пакистан, турецкий и греческий Кипр). В пример можно привести Судан и Чад (мусульманский/арабский Север — христианский/негритянский, анимистский Юг) и Нигерию (мусульмане и хауса на севере, йоруба на юго-западе, ибо на юго-востоке). И однако весьма показательным, что после неудавшейся попытки провинции Биафра (ибо) выйти из состава государства (1967) общая напряженность ситуации в Нигерии явно уменьшилась вследствие замены прежнего трехчастного деления страны на 19 менее крупных штатов, позволившей административно разделить каждую из трех главных общин и, между прочим, подчеркнуть тот факт,

---

<sup>1</sup> *Fredrick Barth* (ed.). *Ethnic Groups and Boundaries*. Boston, 1989. P. 34.

что хауса, йоруба и ибо составляют не более 60% всего населения Нигерии. Ясно также, сколь нестабильно внутреннее положение тех государств, где власть принадлежит одной общине, тем более если последняя еще не установила полный контроль над всей территорией страны. Это, очевидно, относится к Эфиопии, где за образованием империи, опиравшейся на христианское меньшинство, — говорящие на амхарском составляют 25% населения, которое в целом делится на 40% христиан, 40% мусульман и 20% прочих, — последовали краткий период итальянского колониального господства, восстановление и расширение империи и революция 1974 года. И однако, территориальное единство этой несчастной, измученной голодом и войной страны едва ли подверглось бы серьезной угрозе, если бы не попытка присоединить Эритрею. Последняя, сначала в качестве итальянской колонии, а затем, находясь под британским управлением, успела выработать собственную территориальную идентичность и самостоятельные политические движения, прежде чем ее из соображений международного «удобства» присоединили к Эфиопии, в состав которой Эритрея никогда прежде не входила.

Внутри многих вновь возникших независимых государств, как африканских, так и азиатских, существует, бесспорно, масса этнических, племенных и общинных трений и конфликтов, и однако — даже если оставить в стороне страны, уже, очевидно, выработавшие достаточно успешно действующий полиэтнический *modus vivendi* \*, — далеко не очевидно, что каждый из соответствующих народов или даже их вождей и лидеров действительно стремится к сепаратизму.

Реальные проблемы этнических и общинных групп, особенно тех, которые, не будучи подготовлены исто-

---

\* Способ существования (лат.). — Прим. пер.

рией, оказались перед лицом резких социально-экономических перемен, совершенно иные. В гораздо большей степени они связаны не с образованием новых наций, а с массовой миграцией в старые (или новые) индустриальные страны: как адаптироваться к новой жизни в полиэтническом обществе — вот в чем настоящая проблема. Естественно, подобные иммигранты объединяются в группы с другими выходцами из «исторической родины»; в данном случае ими движет чувство незащищенности или ностальгии, необходимость взаимопомощи, реакция на враждебность извне и, не в последнюю очередь, мощный организующий фактор выборов (если таковой существует). Любому североамериканскому политику известно, как горячо отзываются они на этнические лозунги и сколь активно поддерживают «национальное дело» стран их происхождения, особенно если миграция носит отчасти политический или идеологический характер (поддержка ИРА ирландцами, идея восстановления прибалтийских государств среди латышей, враждебность к Ясиру Арафату среди евреев и т. д.). Но всякому политику известно и другое: поднимать при случае соответствующий шум по поводу сталинизма, Шинн Фейн или Организации Освобождения Палестины — это лишь малая часть политической задачи представителей подобных групп: главное — блюсти интересы этих избирателей как *американцев* или *канадцев*. В полиэтническом обществе это прежде всего означает умение «выторговывать» для данной группы (в конкуренции с другими группами) соответствующую долю общественных благ, защищать ее от дискриминации, — короче говоря, максимально улучшать ее перспективы, а действие невыгодных для нее факторов сводить к минимуму. Национализм в смысле претензий на самостоятельное государство или хотя бы на языковую автономию не имеет к этому никакого отношения,

пусть даже порой он и способен доставить диаспоре известное удовольствие.

Пример негров США доказывает это с особой очевидностью. Во-первых, их положение — как группы — явно определяется расовым фактором, а во-вторых, несмотря на весьма заметный элемент социальной сегрегации и даже замкнутое существование в гетто, вопрос о «территориальном сепаратизме» (даже если отвлечься от практической неосуществимости последнего) для них совершенно не возникает — ни в виде массового исхода в какую-либо иную (африканскую) страну, ни в форме обособленного расселения в какой-либо части США. Правда, первый вариант встречал порой довольно сильную поддержку — на эмоциональном уровне! — среди чернокожих жителей западного полушария; однако всерьез, как реальную политическую программу, его никто никогда не рассматривал, кроме некоторых безумцев из ультраправых группировок, ставящих своей целью массовое выселение («репатриацию») цветных иммигрантов.

Второй из указанных вариантов предлагал одно время — в духе ортодоксальной доктрины «национального самоопределения» — Коммунистический Интернационал, однако ровно никакого интереса у негров он не вызвал. Отметив на карте те графства южных штатов, где черное население, по данным переписей, составляет большинство, можно было показать, что на бумаге действительно существует более или менее сплошной (с несколькими анкклавами и эксклавами) пояс, который по этой причине мог бы претендовать на статус «национальной территории» американских негров и превратиться в «черную республику».<sup>1</sup> Нелепость этих картографичес-

---

<sup>1</sup> Партия усилила борьбу за равноправие негров и за их право на самоопределение вплоть до выхода «черного пояса» из состава США (Die Kommunistische Internationale

ких фантазий заключалась в предположении, будто проблема существования в условиях (преимущественно) белой Америки может быть каким-то образом исключена из жизни американских негров с помощью сепаратизма. Кроме того, уже тогда было вполне очевидно, что если бы даже черную республику можно было образовать где-нибудь в зоне деревенских блюзов, это едва ли повлияло бы на ситуацию в городских гетто северных и западных штатов, куда негры уже переселялись массами. Концентрация в городах, где в 1970 обитало 97% не-южных негров (треть негров Юга по-прежнему жила в сельской местности), предоставила афро-американцам мощный рычаг электоральной борьбы, из чего они сумели извлечь определенную выгоду, — сосредоточив, правда, все усилия на том, чтобы добиться для своей этнической группы более значительной доли в ресурсах и благах общества в целом. Территориальная сегрегация в границах этнических гетто, как свидетельствует опыт Белфаста и Бейрута, способна послужить мощным стимулом к этническому сплочению, но она фактически снимает классическую перспективу национализма — самоопределение через создание независимых территориальных государств (исключения здесь крайне немногочисленны).

Но и этого мало. Урбанизация и индустриализация, предполагающие массовые миграции и многооб-

---

vor dem VII Weltkongress: Materialien. Moscow-Leningrad, 1935, p. 445): из доклада о «решениях, принятых осенью 1930 года». Об «острых расхождениях» по вопросу о лозунге «черной республики» для негритянского населения США, возникших в ходе работы соответствующей подкомиссии VI Конгресса Коминтерна в 1928 г. см. доклады Форда и Джонса на Конгрессе (Compte-Rendu Sténographique du VI<sup>e</sup> Congrès de l'Internationale Communiste 17 juillet–1 septembre 1928. В сб. La Correspondance Internationale, no. 125, 19 October 1928, p. 1292–1293; no. 130, 30 October 1928, p. 1418).

разные перемещения людей, лишают смысла еще одну фундаментальную предпосылку национализма — тезис о существовании территорий с экономически, культурно и лингвистически гомогенным населением. Обычной реакцией коренного населения принимающих стран и регионов на массовый наплыв «чужаков» стали, к несчастью, расизм и ксенофобия (в США — начиная с 1890-х годов, в Западной Европе — с 1950-х годов). И все же ксенофобия и расизм — это симптомы, а не лекарства. Вопреки всем грезам и риторическим разглагольствованиям о возврате к прежней чистоте и несмешанности наций, этнические группы и общины современных государств просто обречены на сосуществование. Правда, в свое время массовый геноцид и массовые изгнания («репатриации») и в самом деле радикально упростили этническую карту Европы (подобные методы кое-где могут быть испробованы и сейчас). Но последующие миграционные процессы восстановили этническое многообразие континента, которое варварство стремилось уничтожить. Сегодня, однако, типичное «национальное меньшинство» в принимающих иммигрантов странах представляет собой скорее архипелаг из небольших островков, нежели сплошной массив суши, и к его проблемам могут иметь некоторое отношение идеи Отто Бауэра, но уж никак не Мадзини.

Таково же положение этнических групп и в полиэтнических и многообщинных государствах Третьего мира, т. е. в большинстве бывших колоний, превосходящих своими размерами небольшие острова Карибского бассейна (и даже в некоторых мини-государствах). Отдельные этнические и общинные группы в новых государствах нередко обладают мощной внутренней организацией, главным образом, через политические партии и влиятельные группы давления, которые *de facto* выражают их особые этнические интересы. Глав-



ная их цель — доступ к государственным и административным постам, которые во многих подобных странах представляют собой важнейший путь к богатству и накоплению капитала для тех, кто не владеет навыками современного предпринимательства (традиционным достоянием определенных меньшинств или белых).<sup>1</sup> Подобный доступ приобретается через обучение (если не считать редких случаев военных переворотов, совершаемых самозванными офицерами), а потому «конкурирующие этнические группы», как замечает со свойственной ему проницательностью Фредерик Барт, «дифференцируются в зависимости от своего образовательного уровня и от достигнутой ими степени контроля (или монополии) над системой образования».<sup>2</sup>

В той мере, в какой эта межгрупповая борьба ведется за доступ к государственному аппарату (или за контроль над ним), подобная этническая конкуренция имеет нечто общее с ростом «мелкобуржуазного» национализма, речь о котором шла в главе 4. В предельных случаях это может породить сепаратистские движения, как, например, среди тамилы Шри Ланки — меньшинства (в географическом смысле отчасти подпадающего отделению), которое при англичанах имело непропорционально большое представительство в колониальной администрации и, вероятно, в высшем образовании, а затем испытывало давление со стороны явно преобладающего сингальского большинства, — и не в последнюю очередь через превращение сингальского в *единственный* государственный язык (1956 г.). И будь хинди родным языком не для 40, но для 72% населения Индии, искушение исключить английский из официальной сферы было бы гораздо сильнее —

---

<sup>1</sup> Разумеется, подобные меньшинства также опираются в своей деятельности на особые связи с властью.

<sup>2</sup> См. Barth (ed.). *Ethnic Groups*, p. 34–37.

точно так же, как и угроза тамильского и прочих сепаратизмов на территории субконтинента.<sup>1</sup> Впрочем, территориальный сепаратизм представляет собой случай особый и нетипичный. Даже в Шри Ланке сепаратистские настроения пришли на смену федералистским лишь примерно через 25 лет после обретения независимости. Типичный же вариант — сосуществование в условиях соперничества, поддерживаемое при необходимости различными видами децентрализации и автономии. И чем более урбанизированным и индустриальным является данное общество, тем более искусственными оказываются попытки ограничить этнические группы, действующие на широком экономическом пространстве, узкими пределами их родины. Подобная политика властей ЮАР по справедливости расценивается не как традиционный опыт «национального строительства», предпринятый в интересах африканцев, но как желание увековечить расовый гнет.

И однако, как указывает все тот же Барт,<sup>2</sup> межгрупповые отношения в современных полиэтнических обществах отличны по своему характеру от аналогичных отношений в прежних традиционных обществах и к тому же менее устойчивы. Во-первых, перед группами, вступающими в современное или относительно развитое общество, открываются три (вероятно, отчасти пересекающиеся) пути. Их представители могут попытаться ассимилироваться с членами развитого общества (или попросту «выдать» себя за таковых); некоторые в этом преуспеют, но община в целом «ли-

<sup>1</sup> См. *Sunil Bastian*. University admission and the national question и *Charles Abeysekera*. Ethnic representation in the higher state services в сб. *Ethnicity and Social Change in Sri Lanka* (Papers presented at a seminar organized by the Social Scientists' Association, December, 1979), Dehiwala, 1985. P. 220–232, 233–249.

<sup>2</sup> *Barth* (ed.). *Ethnic Groups*. P. 33–37.

шится источника внутренней диверсификации и, вероятно, останется в культурном смысле консервативной ...группой, занимающей низкое положение в более крупной социальной системе». Кроме того, группа может принять статус меньшинства и попытаться уменьшить связанные с ним невыгоды, при этом, однако, упорно сохраняя этнические особенности в «сферах, не требующих межэтнического общения». В результате полиэтнически организованное общество в ясных его формах едва ли возникнет, в индустриальных же обществах окончательным итогом станет, вероятно, ассимиляция. И наконец, группа может сознательно акцентировать собственное этническое своеобразие, «используя его для выработки новых ориентаций и моделей... отсутствовавших в ее прежних общественных структурах или же не соответствующих новым условиям». Эта стратегия, по мнению Барта, более всего способствует зарождению постколониального этнического национализма с возможным курсом на создание самостоятельного государства, — хотя, как я пытался показать, это не является ни ее обычной целью, ни логически необходимым следствием. Как бы то ни было, подведение всех этих способов «выживания» этнических групп под единую категорию «нации» или «национализма» ничего не дает для исследователя. Приведем в доказательство лишь один пример полиэтнической страны — Канаду, где живут квебекские франкоканадцы, греческие и прибалтийские иммигранты, индейцы-алгонкины, украинцы и англо-шотландцы.

Во-вторых, довольно часто и, пожалуй, даже в большинстве случаев, межэтнические отношения стабилизировались через постепенное развитие социально-этнического разделения труда, при котором «чужак» имеет общепризнанную функцию, и — какими бы ни были «наши» трения с его общиной, — служит для «нас» скорее дополнением, нежели выступает в роли

конкурента. При отсутствии внешних препятствий подобный этнически сегментированный рынок труда формируется естественным образом, даже в эпоху западной индустриализации и урбанизации, отчасти потому, что на этих рынках обнаруживаются вакантные ниши, но главным образом по той причине, что неформальный механизм взаимопомощи, существующий у иммигрантов из определенных регионов, заполняет эти ниши друзьями, родственниками и клиентами из числа земляков. Так, в Нью-Йорке мы и сегодня ожидаем увидеть в лавке зеленщика лицо корейца, а среди работающих на небоскребах монтажников встречаем необыкновенно много индейцев-могавков; мы привыкли, что нью-йоркские киоскеры — это (как и в Лондоне) по преимуществу выходцы из Индии, а персонал индийских ресторанов — иммигранты из Силетского района Бангладеш.

Если учесть, что «традиционные полиэтнические системы очень часто имеют ярко выраженный экономический характер» (Барт), то может показаться удивительным, что движения, отстаивающие свою этническую идентичность в многонациональных государствах, гораздо чаще бывают озабочены не этим видом социального разделения, но позицией их групп в свободном межобщинном соперничестве за контроль над государством. Многие из того, что принято считать проявлениями постколониального национализма, отражает обусловленную подобным соперничеством нестабильность межгрупповых отношений, которые зависят не от реального этноэкономического разделения труда и функций, но от политического равновесия (или его нарушения).

Таким образом, признаки межэтнических и межобщинных трений и конфликтов легко обнаруживаются и вне зоны первоначального распространения национализма, а потому внешне они могут вписываться в «национальную» модель. И однако следует еще раз под-

черкнуть: в данном случае перед нами отнюдь не тот «национальный вопрос», о котором рассуждали марксисты и в терминах которого обосновывалось изменение государственных границ. Или, если угодно, выразимся иначе: выход национализма за пределы зоны его зарождения делает его недоступным для прежних методов анализа, о чем свидетельствует спонтанное появление новых терминов, стремящихся уловить суть этого феномена, — например, слова *ethnie* («этническая группа», или же то, что можно было бы назвать «национальностью»), возникшего, по всей видимости, совсем недавно.<sup>1</sup> Многие уже давно это поняли, хотя ранние исследователи незападного национализма, ясно сознавая, что «здесь мы сталкиваемся с феноменом, вполне отличным от национализма европейского», считали все же «бессмысленным» избегать самого термина «национализм», коль скоро он «стал общепринятым».<sup>2</sup> Но как бы ни обстояло дело с употреблением данного термина, феномен, к которому он относится, порождает новые проблемы в самых разных областях. На одной из них, а именно на проблеме языка, мы кратко остановимся в завершение этой главы.

---

<sup>1</sup> Trésor de la Langue Française (vol. VIII, Paris, 1980) регистрирует факт его употребления в 1896 году, однако других примеров его использования вплоть до 1956 года не дает. *Anthony D. Smith* в работе *The Ethnic Origins of Nations* (Oxford, 1986) широко употребляет данный термин, но при этом явно рассматривает его как французский неологизм, не вполне ассимилировавшийся в английском языке. И я сомневаюсь, что его можно обнаружить в работах по национализму, написанных ранее середины 1960-х гг. (разве что в виде некоей причуды).

<sup>2</sup> *John H. Kautsky*. An essay in the politics of development в кн.: *John H. Kautsky* (ed.). *Political Change in Underdeveloped Countries: Nationalism and Communism*. New York–London, 1962. P. 33.

Далеко не очевидно, что классическая модель языкового национализма, т. е. превращение этнического диалекта в универсальный литературный «национальный» язык, который впоследствии становится государственным, непременно сохранится и в будущем. (Даже внутри давно и прочно утвердившихся литературных языков отмечена тенденция к своеобразной «дезинтеграции» путем превращения разговорных вариантов или диалектов в возможное средство школьного обучения, — например, «негритянский («черный») английский» или подвергшийся сильно-му английскому влиянию французский *joual* в населенных низшими классами районах Монреаля.) В практическом отношении многоязычие стало в большинстве современных государств неизбежным, — либо вследствие миграции, наполняющей буквально все западные города «этническими» колониями, либо потому, что в новых государствах сегодня в ходу столь большое количество языков, носители которых не понимают друг друга (не считая более скромных «лингва франка»), что средство национального (а еще лучше — межнационального) общения превращается в необходимость. (Предельным примером может служить Папуа Новая Гвинея с населением в  $2\frac{1}{2}$  миллиона человек и 700 языками). Сейчас уже ясно, что в последнем случае наиболее приемлемы в политическом смысле искусственные образования, лишённые локальной этнической идентификации (например, пиджин или бахаса Индонезия), или же иностранные (предпочтительно — мировые) языки, которые не дают особых преимуществ и не причиняют ущерба ни одной местной этнической группе (как правило, это английский). Нетрудно заметить, что подобная ситуация, которая может объяснить «поразительную языковую гибкость индонезийской элиты и отсутствие у нее сильной эмоциональной привязанности к «род-

ному языку»,<sup>1</sup> не похожа на то, что присуще европейским националистическим движениям. Точно так же и система современных переписей в полиэтнической Канаде отличается по своим принципам от аналогичной процедуры в старой Габсбургской империи. Ибо, прекрасно зная, что члены иммигрантских этнических групп, поставленные в ходе переписи перед выбором между этносом и канадской национальностью, непременно назовут себя канадцами, а также учитывая, сколь притягателен для них английский язык, этнические группы давления противятся включению в переписи вопросов о языковой или этнической самоидентификации, а потому вплоть до недавнего времени в переписях требовалось указывать этническое *происхождение* по отцовской линии, а ответы «канадец» или «американец» допускались только для индейцев. Этот искусственный «этнос переписей», на котором первоначально настаивали франко-канадцы, стремившиеся любым путем увеличить на бумаге свою численность вне провинции Квебек (главной зоны их расселения), служил также целям прочих этнических и иммигрантских лидеров, позволяя им замаскировать тот факт, что, к примеру, из 315 000 лиц, указавших на польское происхождение в переписи 1971 г., только 135 000 назвали польский своим родным языком и лишь 70 000 действительно использовали его в повседневном общении. Примерно такие же данные существуют и для украинцев.<sup>2</sup>

Одним словом, этнический и лингвистический национализм способен в наше время двигаться в разных

---

<sup>1</sup> N. Tanner. Speech and society among the Indonesian elite в кн.: J. B. Pride & J. Homes (eds.). Sociolinguistics. Harmondsworth 1972. P. 127.

<sup>2</sup> Robert F. Harney. Sogreat a heritage as ours. Immigration and the survival of the Canadian polity // Daedalus, vol. 117/4, Fall, 1988. P. 68–69, 83–84.



направлениях, и оба они могут постепенно утрачивать свою зависимость от государственной власти или связь с нею. Довольно распространенным, похоже, становится феномен, если можно так выразиться, «неконкурентного много- или двуязычия», аналогичный тем отношениям, которые существовали в XIX веке между официальными языками государства/культуры и менее авторитетными диалектами и наречиями. И нас не должна вводить в заблуждение тенденция предоставлять местному языку тот же официальный статус, что и более распространенным общенациональным/международным языкам культуры, таким, например, как испанский (в Латинской Америке), французский (в некоторых регионах Африки) или — чаще всего — английский (последний является языком среднего образования на Филиппинах и, по крайней мере до революции, был таковым в Эфиопии).<sup>1</sup> Основной моделью становится теперь не борьба за безусловное верховенство, как в Квебеке, но разграничение функций, как, например, в Парагвае, где городская элита говорит и на испанском, и на гуарани, однако главным средством письменной коммуникации (за исключением, пожалуй, *belles lettres*) \* остается испанский. Маловероятно, что язык кечуа, получивший в 1975 г. в Перу равный официальный статус с испанским, попытает-

<sup>1</sup> О роли английского см. *François Grosjean. Life with Two Languages. Cambridge MA, 1982*, где указывается, что в 1974 г. лишь в 38 государствах язык этот не имел никаких официальных функций. В 20 (неанглоговорящих) странах он был единственным государственным языком, а в 36 других — языком судопроизводства и основным языком школьного обучения (с. 114). О проблеме конкуренции с английским см. также: *L. Harries. The nationalization of Swahili in Kenya // Language and Society, 5, 1976. P. 153–164.*

\* Беллетристика, художественная литература (фр.). — Прим. пер.

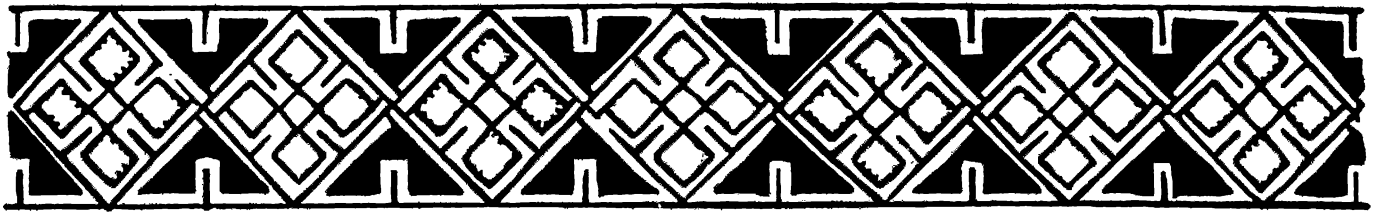
ся заменить последний в качестве языка ежедневной прессы и высшего образования; и едва ли английский перестанет быть главным путем к образованию, богатству и власти в бывших африканских или тихоокеанских колониях Британии, какое бы официальное положение ни занимали в этих странах местные языки.<sup>1</sup>

Эти мысли приводят нас к некоторым заключительным соображениям относительно будущего наций и национализма.



---

<sup>1</sup> Современные масс-медиа (радио, телевидение и т. д.), «не требующие напряженных усилий ради овладения грамотой» (*David Riesman*. Introduction to Daniel Lerner, *The Passing of Traditional Society*. New York, 1958. P. 4) в определенном смысле уменьшили то утилитарное значение, которое прежде имела для моноглотов литература на местном языке; последние уже не отрезаны от информации, поступающей со всего света. Главным инструментом этой культурной революции стал транзистор. См. например, *Howard Handelman*. *Struggle in the Andes: Peasant Political Mobilization in Peru*. Austin, 1974. P. 58. Впервые мое внимание к этой революции привлек в начале 1960-х гг. ныне покойный Хосе Мария Аргуэда, указавший на широкое распространение в Лиме местных радиостанций на языке кечуа; они предназначались для иммигрантов и работали обычно в те часы, когда не спали только трудящиеся-индейцы.



## Глава 6

# НАЦИОНАЛИЗМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

**С** того времени как в начале 1990-х годов вышло первое издание настоящей книги, уже образовалось или находится в стадии образования больше государств, чем в любой иной период нашего столетия. Распад СССР и Югославии успел пополнить сообщество международно признанных суверенных государств шестнадцатью новыми членами, и в данную минуту невозможно предугадать, на каком рубеже остановится наступление национального сепаратизма. Все современные государства официально являются «нациями»; все политические волнения и пропагандистские кампании легко обращаются против иностранцев, практически все государства их стесняют и всячески стремятся не допустить на свою территорию. А потому заключающие эту книгу размышления об *упадке* национализма как вектора исторического процесса по сравнению с его ролью в период с 1830-х годов до конца Второй мировой войны могут показаться результатом сознательного ослепления.

В самом деле, было бы нелепо отрицать, что крушение Советского Союза и той региональной и мировой системы, для которой он в качестве одной из сверхдержав служил оплотом в течение примерно сорока

лет, означает глубокий и, вероятно, не подлежащий пересмотру исторический сдвиг, чьи последствия остаются в данную минуту совершенно неясными. И тем не менее, по-настоящему *новые* элементы в историю национализма эти последствия вносят лишь постольку, поскольку распад СССР в 1991 году превосходит по своим масштабам (временный) распад царской России в 1918–1920 гг., затронувший главным образом ее европейские и закавказские регионы.<sup>1</sup> Ибо в основе своей «национальные вопросы» 1989–1992 гг. отнюдь не новы. В подавляющем большинстве случаев они волнуют исконную родину националистических движений — Европу. В Северной и Южной Америке, по крайней мере к югу от границы США и Канады, серьезных симптомов политического сепаратизма до сих пор не заметно. Нет особых признаков того, что исламский мир, во всяком случае, набирающие силу фундаменталистские движения, сколько-нибудь озабочены увеличением числа государственных границ. Они желают другого — возвращения к истинной вере основателей ислама, и нелегко понять, чем бы их мог привлечь сепаратизм как таковой. Правда, сепаратистские движения (по преимуществу террористические) потрясают окраины южно-азиатского субконтинента, и тем не менее новые государства до сих пор сохраняют свои первоначальные границы (если не считать Пакистана, от которого отделился Бангладеш). В сущности, подавляющее большинство постколониальных национальных режимов — и не только азиатских —

---

<sup>1</sup> Однако тогдашние «пантуранские» амбиции Турции в Центральной Азии — к счастью, они были характерны не для Кемаля Ататюрка, но для его разгромленных политических противников, вроде Энвер-паши, — и японская заинтересованность в русском Дальнем Востоке предвосхищают проблемы, о которых мы еще немало услышим в 1990-е гг.

все еще верны традиции национализма XIX века, как либерального, так и революционно-демократического. Ганди и Неру, Мандела и Мугабе, покойные Зульфикар Бхутто и Бандаранаике и, рискну предположить, находящаяся ныне в заключении лидер Бирмы (Мьянмы) г-жа Аунг-Сан Су Хи — все они являлись (или являются) националистами в ином смысле, чем, к примеру, Ландсбергис или Туджман. Они действуют (или действовали) совершенно в духе Массимо Д'Адзелио — как создатели нации, а не как их разрушители (см. выше с. 52–53).

Многие постколониальные африканские государства — в том числе и Южная Африка, хотя иные надеются на обратное, — могут впасть в состояние хаоса и беспорядка, как это недавно произошло с некоторыми из них. И однако считать причиной краха, постигшего Эфиопию или Сомали, неотъемлемое право народов на образование суверенного государства, значит без всяких оснований расширять смысл терминов. Столкновения и конфликты между этническими группами — и часто весьма кровавые — вспыхивали еще тогда, когда политических программ национализма не было и в помине; и, вероятно, первые переживут последние.

Что касается взрыва сепаратистского национализма в Европе, то его предпосылки можно указать с еще большей точностью в истории XX века. Мины, заложенные в Версале и Брест-Литовске, взрываются до сих пор. Окончательный распад Габсбургской и Османской империй и временный распад царской России привели к образованию практически той же группы государств, что и события недавнего времени, и с тем же комплексом противоречий, разрешимых в конечном счете разве что путем массового уничтожения или насильственной массовой миграции: взрывоопасные проблемы 1988–1992 гг. были созданы в 1918–1921 гг. Именно тогда словаков впервые впрягли в одно

ярмо с чехами; Словению (прежде австрийскую) объединили с Хорватией (некогда военной границей против турок) и — через целое тысячелетие совершенно иного исторического опыта! — с православной Сербией, еще недавно входившей в состав Османской империи. Вдвое увеличилась территория Румынии, что породило конфликты между ее национальностями. Победители-немцы создали в Прибалтике три маленьких государства, которые вообще не имели прецедентов в истории и — по крайней мере, в Эстонии и Латвии — не являлись для соответствующих народов предметом сколько-нибудь заметных стремлений.<sup>1</sup> Государства эти сохранились благодаря союзникам как часть «санитарного кордона» против большевистской России. В период наибольшего ослабления России германское влияние способствовало созданию независимых Грузии и Армении, британцы же обеспечили автономию богатого нефтью Азербайджана. До 1917 года национализм не представлял в Закавказье серьезной политической проблемы — если термин «национализм» вообще подходит для свойственного азербайджанским низам антиармянского озлобления. Армяне по вполне понятным причинам больше тревожились по поводу Турции, нежели Москвы; грузины поддерживали номинально марксистскую Всероссийскую партию (меньшевиков) как свою национальную. Тем не менее, многонациональная Российская империя, в отличие от империй Габсбургской или Османской, благодаря Октябрьской революции и Гитлеру просуществовала в течение жизни трех последующих поколений. Победа в гражданской войне исключила возмож-

---

<sup>1</sup> Это явствует из итогов голосования на выборах во Всероссийское Учредительное Собрание в ноябре 1917 года; их анализ см. у *O. Radkey. Russia Goes to the Polls. Ithaca, 1989.*

ность украинского сепаратизма, а возвращение Закавказья позволило покончить с местными националистическими движениями, — правда, будучи достигнутым отчасти через соглашение с кемалевской Турцией, оно оставило нерешенными весьма острые вопросы, горячий материал для будущих национальных волнений, и прежде всего проблему Нагорного Карабаха, армянского анклава на территории Азербайджана.<sup>1</sup> В 1939–1940 гг. СССР возвратил почти все, что утратила царская Россия, — кроме Финляндии (которой Ленин позволил мирно отделиться) и бывшей русской Польши.

Таким образом, очевидный взрыв сепаратизма в 1988–1992 гг. проще всего определить как «завершение дела, не оконченного в 1918–1921 гг.». При этом, однако, следует учитывать, что те старые и острые национальные проблемы, которые действительно казались взрывоопасными европейским правительствам до 1914 года, к реальному взрыву как раз и не привели. Отнюдь не «македонский вопрос», хорошо известный ученым и вызывавший на международных конгрессах настоящие сражения между специалистами в

---

<sup>1</sup> Армения служит примером того, как трудно увязать национальность с определенной территорией. Нынешняя Республика Армения (со столицей в Ереване) до 1914 года не играла особой роли в истории этого многострадального народа: тогдашняя «Армения» находилась главным образом в Турции. Российские армяне Закавказья жили в деревнях, а также составляли значительную часть городского населения в этом регионе (в Тбилиси и Баку, по всей видимости, большинство); кроме того, существовала многочисленная армянская диаспора в России и за ее пределами. Можно, пожалуй, сказать так: современная «Армения» — это все, что осталось после того, как на всех других территориях, где прежде жили армяне, их вырезали или подвергли изгнанию.



самых разных дисциплинах, стал причиной распада Югославии. Напротив, Македонская Народная Республика всячески старалась держаться подальше от сербохорватского конфликта, — пока Югославия не начала разваливаться по-настоящему и ее составным частям пришлось ради элементарной самозащиты самим позаботиться о своей судьбе. (Весьма характерно, что ее официальное признание до сих пор саботирует Греция, аннексировавшая в 1913 году значительную часть македонской территории.) Подобным же образом, единственной частью царской России, где еще до 1917 года существовало подлинно национальное (хотя и не сепаратистское) движение, была Украина. Однако Украина (под контролем руководства местной компартии) оставалась относительно спокойной, когда прибалтийские и закавказские республики уже всерьез требовали выхода из состава СССР, и смирилась с отделением лишь после того, как неудавшийся августовский переворот 1991 года разрушил Советский Союз.

Кроме того, определенное понимание «нации» и ее чаяний (парадоксальным образом одинаковое у Ленина и Вудро Вильсона) создало линии разлома, вдоль которых и раскололись впоследствии сконструированные коммунистами многонациональные образования, — точно так же, как колониальные границы 1880–1950 гг., за отсутствием каких-либо иных, превратились в границы новых независимых государств. (Большинство их жителей не имело об этих границах никакого понятия или просто не замечало их.) Что касается Советского Союза, то здесь мы можем пойти еще дальше и утверждать, что именно коммунистический режим принялся сознательно и целенаправленно *создавать* этнолингвистические территориальные «национально-административные единицы» (т. е. «нации» в современном смысле), — создавать там, где прежде они не

существовали или где о них никто всерьез не помышлял, например, у мусульман Средней Азии или белорусов. Идея советских республик казахской, киргизской, узбекской, таджикской или туркменской «наций» была скорее чисто теоретической конструкцией советских интеллектуалов, нежели исконным устремлением любого из перечисленных народов.<sup>1</sup>

Представление о том, что эти народы то ли вследствие «национального угнетения», то ли по причине своего «исламского сознания» вынуждали советскую систему чрезмерно напрягать свои силы, что якобы и привело к ее краху, есть лишь еще один пример справедливой неприязни западных наблюдателей к советской системе и веры в ее недолговечность. На самом же деле Средняя Азия оставалась политически пассивной вплоть до распада Союза — если не считать нескольких погромов среди национальных меньшинств, сосланных в свое время в эти далекие края Сталиным. Тот национализм, который развивается в среднеазиатских республиках сейчас, есть постсоветский феномен.

А значит, главной причиной начавшихся в 1989 году перемен было отнюдь не национальное напряжение (которое эффективно контролировалось даже там, где оно действительно существовало, например, в Польше или среди народов Югославии), но прежде всего курс на самореформирование, который взял советский режим, и то обстоятельство, что в ходе его реализации он а) отказался от военной поддержки режимов-сателлитов; б) разрушил центральную командно-административную систему, позволявшую ему функционировать, и, следовательно, в) подорвал основу

---

<sup>1</sup> Cf. *Graham Smith* (ed.). *The Nationalities Question in the Soviet Union*, part IV, «Muslim Central Asia». London and New York, 1990, e. g. P. 215, 230, 262.

для существования даже независимых коммунистических режимов на Балканах. Национализм действительно выиграл от этих процессов, но он не был в сколько-нибудь серьезной степени их подлинной движущей силой. Отсюда — всеобщее изумление при виде мгновенного краха восточно-европейских режимов; краха, которого абсолютно никто не ожидал (даже в Польше, где крайне непопулярная власть, тем не менее, доказала свою способность почти десять лет удерживать под контролем массовую и хорошо организованную оппозицию).

Достаточно беглого взгляда, чтобы заметить, к примеру, существенное различие между двумя объединениями Германии 1871 и 1990 гг. Первое воспринималось как долгожданное достижение той цели, которая так или иначе была ключевой проблемой для всех сколько-нибудь небезразличных к политике немцев (даже для тех, кто пытался этому объединению противиться). Даже Маркс и Энгельс чувствовали, что Бисмарк «(tut) jetzt, wie im 1866, ein Stück von unserer Arbeit in seiner Weise».<sup>1\*</sup> Однако все главные партии Федеративной Республики вплоть до осени 1989 в течение долгих лет отделялись от проблемы объединения Германии лишь дежурными фразами — и не только потому, что оно оставалось явно неосуществимым до Горбачева, но и по той причине, что националистические организации и националистическая пропаганда были в политическом смысле маргинальными явлениями. Стремление к немецкому единству не служило главным мотивом ни для политической оппозиции в ГДР, ни для обыкновенных восточных нем-

---

<sup>1</sup> Энгельс — Марксу, письмо от 15 августа 1870 г. (*Marx-Engels, Werke, Bd. 33. Berlin, 1966. S. 40.*)

\* «И теперь, как и в 1866 г., выполняет частицу нашей работы, делая это *по-своему*» (нем.). — *Прим. пер.*

цев, чей массовый исход ускорил крах режима. При всех своих сомнениях и тревогах о будущем большинство немцев, конечно, приветствует объединение двух Германий, и все же сама его стремительность, равно как и явная неподготовленность к нему, показывают, что, несмотря на всю публичную риторику на сей счет, оно, это объединение, явилось побочным продуктом совершенно неожиданных событий вне Германии.

Что же касается СССР, то он рухнул не под действием внутренних национальных конфликтов, как это предсказывали иные советологи <sup>1</sup> (хотя национальное напряжение в СССР, несомненно, существовало), но по причине экономических трудностей. «Гласность», воспринимавшаяся реформаторско-коммунистическим руководством страны как неперемненное условие «перестройки», породила свободу дискуссий и политической агитации, а кроме того ослабила централизованную командную систему, на которой держались и режим, и общество в целом. Неудача «перестройки», т. е. ухудшение условий жизни простых граждан, подорвала доверие к союзному правительству, на которое была возложена ответственность за все трудности, и побудила (даже заставила) искать решение проблем на региональном и местном уровне. Можно с уверенностью утверждать, что до Горбачева ни одна советская республика — кроме прибалтийских — не стремилась к отделению от СССР, и даже для Прибалтики независимость оставалась не более чем мечтой. И не стоит думать, будто СССР держался лишь на страхе и принуждении, хотя и они, бесспорно, играли свою роль, не позволяя этническим и общинным трениям в смешанных районах выродиться до взаимной резни (как

---

<sup>1</sup> *Helène Carrère d'Encausse. L'empire éclaté. Paris, 1978; idem. La gloire des nations, ou La Fin de l'empire soviétique. Paris, 1990.*

это произошло впоследствии). Местная и региональная автономия в долгую брежневскую эпоху вовсе не была утопией. Мало того, русские без конца жаловались, что в большинстве других республик люди живут лучше, чем в РСФСР. Совершенно очевидно, что национальная дезинтеграция СССР (и, кстати говоря, входивших в его состав республик, тоже фактически многонациональных) была следствием событий в Москве, а отнюдь не их причиной.

Как ни парадоксально, но, пожалуй, именно на Западе собственно националистические движения в большей мере обладают способностью ослаблять существующие режимы, ибо именно там националистическая агитация расшатывает некоторые из самых старых национальных государств: Соединенное Королевство, Испанию, Францию, не говоря уже о Канаде (в меньшей степени — даже Швейцарии). Действительно ли произойдет когда-либо полное отделение Квебека или Шотландии, остается сегодня (1992) предметом теоретических предположений. Вне прежнего евро-советского красного пояса успешные отделения были после Второй мировой войны чрезвычайно редким феноменом, а мирные выходы из состава существующих государств попросту неизвестны. И однако, перспектива возможного отделения Шотландии или Квебека, о которой двадцать пять лет тому назад вообще нельзя было говорить всерьез, теперь уже может обсуждаться как нечто реальное.

И тем не менее, национализм, при всей его неизбежности, уже не играет той исторической роли, которая принадлежала ему в эпоху между Французской революцией и крахом колониализма после Второй мировой войны.

Становление «наций», соединявших в себе национальное государство и национальную экономику, было, безусловно, ключевым моментом в общем процессе

исторических преобразований, происходивших в «развитом мире» в XIX веке, и воспринималось именно в этом качестве. Что же касается «зависимого» мира первой половины XX века, то здесь, и прежде всего, по понятным причинам, в колониальной его части, национально-освободительные движения стали основным орудием политического освобождения, т. е. устранения имперской администрации и, что еще важнее, прямого военного господства метрополий, — ситуация, которая еще полвека назад показалась бы немыслимой.<sup>1</sup> Теоретическим образцом для национально-освободительных движений Третьего мира служил, как мы видели, западный национализм, однако те государства, которые они стремились создать, оказывались на практике чаще всего прямой противоположностью этнически и лингвистически гомогенным образованиям, считавшимся на Западе стандартной моделью «национального государства». Но даже в этом отношении национализм Третьего мира имел с западным национализмом либеральной эпохи *de facto* больше сходства, нежели различий. Оба являлись, как правило, объединительными и (социально) освободительными движениями, хотя в последнем аспекте достигнутые ими результаты соответствовали поставленным целям гораздо реже, чем в первом.

Что же касается современных сепаратистских и вообще «разделительных» по своей сути «этнических» движений, то они не имеют подобного рода *положительной* программы или перспективы. Это явствует уже из того факта, что ввиду полного отсутствия у

---

<sup>1</sup> После Второй мировой войны широкомасштабные войны с использованием всех видов оружия, кроме ядерного и химико-биологического (Корея, Вьетнам), оказывались для сверхдержав гораздо менее успешными, чем это можно было бы предположить, исходя из опыта прежней истории.

них реальной исторической программы они пытаются реанимировать первоначальную мадзиниевскую модель этнически и лингвистически гомогенного государства («каждой нации — собственное государство, не более одного государства для любой нации»). Позиция, как нетрудно заметить, нереалистичная и полностью противоречащая основным тенденциям языкового и культурного развития конца XX века (см. выше — с. 190—193). В дальнейшем мы увидим, что она совершенно не соприкасается с реальными проблемами эпохи и, не будучи в силах дать для них универсальное или хотя бы локально применимое решение — разве что по редкому стечению счастливых обстоятельств, — лишь еще более усложняет их и запутывает.

И все же нельзя отрицать силу тех эмоций, которые побуждают «нас» идентифицировать себя в качестве «этнической» лингвистической группы, отличной от «них», чуждых и несущих угрозу «нам». Менее всего следует это делать сейчас, в конце XX века, когда воображаемые «мы» (британцы) и символические «они» (аргентинцы) под бурные патриотические рукоплескания устроили безумную войну за гнилое болото и дикое пастбище, затерянные где-то в Южной Атлантике, и когда самой массовой идеологией в мире стала ксенофобия. И однако ксенофобия, легко и незаметно переходящая в откровенный расизм, — в нынешней Америке и Европе он распространился шире, чем в эпоху фашизма, — способна представить исторически обоснованную перспективу даже в меньшей степени, чем национализм мадзиниевского толка. И действительно, сама ксенофобия редко пытается изобразить из себя нечто большее, нежели крик ярости или отчаяния. И даже те, кто романтически сочувствует лозунгам полной независимости для отдельных малых народов, кажется, не слишком часто утверждают, что у Национального Фронта Ле Пена, словно у Януса,



два лица. Лицо у него только одно, и большинство из нас предпочитает, чтобы и этого лица не было.

Но какова же природа этого вопля страдания и ярости? В который уже раз подобные движения в защиту этнической идентичности оказываются, по всей видимости, лишь реакцией слабости и страха, отчаянной попыткой возвести баррикады на пути сил современности, напоминающей в этом смысле скорее возмущение пражских немцев, загнанных в угол чешской иммиграцией, нежели чувства наступающих чехов. Но так обстоит дело не только с небольшими языковыми общинами, уязвимыми даже для самых незначительных демографических сдвигов, — например, с немногочисленными обитателями горного и прибрежного Уэльса, которые до сих пор говорят по-валлийски, или с Эстонией с ее миллионом или около того эстоноязычных (критическим пределом, который и при любых иных обстоятельствах с трудом обеспечивал бы этой стране сохранение современной лингвистической культуры на всех уровнях). Не удивительно, что самой острой проблемой в этих районах стала неконтролируемая иммиграция моноглотов-носителей соответственно английского и русского языков. Однако подобная реакция имеет место и среди гораздо более многочисленных групп, чье лингвистическое/культурное своеобразие не подвергается какой-либо угрозе. Самый абсурдный ее пример — движение, требующее объявить английский единственным *государственным* языком США (в конце 1980-х годов получившее в некоторых штатах политический оттенок). Ибо, хотя испаноязычная иммиграция действительно приобрела в некоторых регионах США достаточно массовый масштаб, чтобы сделать общение с иммигрантами на их родном языке желательным, а порой — необходимым, сама мысль о том, что господство анг-

лийского в США подвергается или может подвергнуться какой-либо опасности, есть политическая паранойя.

Горючим материалом для подобной защитной реакции против истинных или мнимых угроз служит сочетание процессов международной миграции с фундаментальными, беспрецедентными и необычайно стремительными социально-экономическими преобразованиями, столь характерными для третьей четверти нашего века. Примером этого сочетания мелкобуржуазного языкового национализма с массовым шоком перед лицом будущего служит французская Канада. На бумаге положение французского языка кажется достаточно прочным: это родной язык для четвертой части населения страны (составляющей примерно 50% по отношению к коренным англофонам Канады), его статус обеспечивается официальным двуязычием федерации, он пользуется поддержкой из-за границы, со стороны французской культуры, во франкофонных университетах учится более 130 000 студентов (данные 1988 г.) и т. д. И тем не менее, квебекский национализм — это отражение позиции народа, который в панике отступает под давлением сил истории, и даже успехи его воспринимаются скорее как симптом внутренней слабости.<sup>1</sup> В самом деле, желая занять круговую оборону внутри автономной и даже сепаратистской провинции Квебек, квебекский национализм фактически предоставил собственной судьбе значительное франкоязычное меньшинство в Нью-Брунсуике и Онтарио. Свойствен-

---

<sup>1</sup> Хороший пример — «Léon Dion, The mystery of Quebec» (*Daedalus*, vol. 117/4, Fall 1988, p. 283–318): «Новое поколение не обнаруживает твердой решимости держаться за французский язык, которая была свойственна его отцам, — отчасти потому, что чувствует себя защищенным <...> Хартией французского языка <...> отчасти потому, что англоязычные канадцы стали относиться к французскому более терпимо» (p. 310).

ное *Canadiens* \* чувство неуверенности проявляется в их убеждении в том, что ставшая теперь официальной «многокультурность» Канады есть лишь заговор, имеющий своей целью «раздавить особые требования *Francophonie* \*\* политическим прессом многокультурности». <sup>1</sup> Эту неуверенность, разумеется, усиливает то обстоятельство, что явное большинство из 3,5 миллионов иммигрантов, прибывших в страну после 1945 года, предпочли, чтобы дети их получали образование на английском, который открывает гораздо более широкие перспективы для карьеры в Северной Америке, нежели французский. Впрочем, на бумаге угроза со стороны иммиграции выглядит для франкофонной Канады менее серьезной, чем для англоязычной части страны, поскольку в 1946–1971 гг. лишь около 15% вновь прибывших поселились в провинции Квебек.

За неуверенностью и страхом франко-канадцев стоит, без сомнения, глубокий социальный катаклизм, симптомом которого стал стремительный упадок католической церкви. Это произошло в обществе, которое так долго оставалось консервативным, католическим, клерикальным и имело высокий уровень рождаемости (причем не только среди крестьян, но и в городах). В течение же 1960-х годов число лиц, регулярно посещающих церковь, упало в провинции Квебек с 80% до 25%, а коэффициент рождаемости стал одним из самых низких в Канаде. <sup>2</sup> Что бы ни скрывалось за столь разительной переменой в квебекских нравах, она не могла не породить дезориентиро-

---

\* канадцы (фр.). — *Прим. пер.*

\*\* франкоязычное население, франкоязычные территории (фр.). — *Прим. пер.*

<sup>1</sup> R. F. Harney. So great a heritage as ours. Immigration and the survival of the Canadian polity // *Daedalus*, vol. 117/4, Fall, 1988. P. 75.

<sup>2</sup> Gérard Pelletier. Quebec: different but in step with North America // *Daedalus*, vol. 117/4, Fall, 1988. P. 271; Harney. So great a heritage as ours. P. 62.

ванное поколение, жаждущее новых истин взамен терпящих крах старых. Некоторые даже утверждали, что резкий подъем воинствующего сепаратизма представляет собой суррогат утраченного традиционного католицизма. Эта гипотеза (а она едва ли поддается окончательному подтверждению или опровержению) не кажется лишенной оснований, по крайней мере, тому, кто, подобно автору этих строк, наблюдал, как в одном из районов Северного Уэльса в среде молодого поколения зарождается воинствующий валлийский национализм, лежащий совершенно вне традиции, а если учесть пристрастие его сторонников к пиву и алкоголю, то и совершенно ей противоречащий. Когда опустели церкви и молельни, проповедник и ученый-самоучка перестали быть голосом общины, а падение престижа трезвого образа жизни уничтожило самый простой и очевидный способ, посредством которого индивид мог некогда демонстрировать свою принадлежность к пуританской культуре.

Мобильность широких масс населения естественным образом обостряет это чувство дезориентации; к тому же ведут и экономические сдвиги, причем некоторые из них не лишены связи с подъемом местного национализма.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Рост квебекского национализма привел в 1970-х гг. к массовому исходу деловых людей из Монреаля (прежде — самого большого города Канады и важнейшего центра канадского бизнеса), чем воспользовался к своей выгоде Торонто. «Город теперь ожидает более скромная судьба — регионального центра провинции Квебек и восточной Канады». Но хотя Монреаль испытывает со стороны языковых меньшинств гораздо меньшее давление, нежели другие канадские города, это, похоже, никак не отражается на местной языковой непримиримости. В Торонто и Ванкувере англопротестанты уже не являются большинством, тогда как в Монреале 66% населения приходится на франкоканадцев. Cf. *F. J. Artibise. Canada as an urban nation // Daedalus, vol. 117/4, Fall, 1988. P. 233–264.*

В урбанизированных обществах мы на каждом шагу встречаем вырванных из родной почвы мужчин и женщин, напоминающих нам о хрупкости наших собственных семейных корней.

Что касается бывших коммунистических стран Европы, то здесь утрата социальных ориентиров усугубляется крахом того образа жизни, к которому привыкло и так или иначе приспособилось большинство их жителей. Национализм — если воспользоваться словами Мирослава Хроча о нынешней Центральной Европе — «служит в распадающемся обществе субститутom интеграционных факторов. Когда терпит крах общество, последней опорой начинает казаться нация».<sup>1</sup>

В социалистических и постсоциалистических экономиках, которые в значительной мере были «экономиками дефицита»,<sup>2</sup> национальность, подобно родственным связям и иным механизмам покровительства и обмена услугами, уже выполняла весьма конкретные функции. Она «предоставляла членам одной группы определенные преимущества перед “другими” группами»<sup>3</sup> в борьбе за скудные ресурсы и, соответственно, отграничивала «других», чьи права усту-

---

<sup>1</sup> *M. Hroch. Nationale Bewegungen früher und heute. Ein europäischer Vergleich* (unpublished paper 1991). P. 14. Едва ли стоит добавлять, что, по убеждению Хроча, явный всплеск националистических настроений в Центральной и Восточной Европе представляет собой (как правило) не продолжение старой националистической традиции, но своего рода заново изобретенную традицию, «*Illusion der Reprise*». «К примеру, чешские патриоты XIX века рядились в гуситские одежды, — примерно так же современные восточноевропейские национальные движения подражают патриотам прошлого века» (p. 11).

<sup>2</sup> *J. Kornai. The Economics of Shortage*. Amsterdam, 1980.

<sup>3</sup> *Katherine Verdery*, неопубликованные наброски «*Nationalism and the Road to Democracy*». P. 36.

пали «нашим». Там, где, как в бывшем СССР, прежняя единая государственная власть и общество в целом совершенно дезинтегрируются, «человек со стороны», «чужак», оказывается беспомощным. «Города, [административные единицы], республики, защищаясь от мигрантов, отгораживаются друг от друга»; местные продуктовые карточки раскалывают рынок на отдельные мини-экономики, «не допуская к имеющимся благам <...> “посторонних”». <sup>1</sup>

И тем не менее, этнические и национальные характеристики представляют собой в посткоммунистических странах в первую очередь то средство, с помощью которого можно четко определить сообщество «невинных» и идентифицировать «виновных», несущих ответственность за «наши» несчастья (особенно теперь, когда роль козлов отпущения уже не могут играть коммунистические режимы). По поводу Чехословакии кто-то сказал: «Страна буквально кишит всякого рода “другими”. Каждый без усталости показывает пальцем на “других” и ругает их последними словами». <sup>2</sup> Но это скорее универсальная, а не только посткоммунистическая ситуация. Именно «их» можно и должно обвинять во всех несчастьях, трудностях и разочарованиях, испытанных «нами» за последние сорок лет, ставших эпохой самых глубоких и стремительных сдвигов в условиях человеческой жизни, которые известны нам из письменной истории. Но кто такие «они»? Совершенно ясно — можно сказать, по определению, — что «они» это «не мы»; это люди, которые являются нашими врагами просто потому, что они другие: нынешние враги, прежние враги и даже вполне воображае-

<sup>1</sup> *Caroline Humphrey. «Icebergs», barter and the mafia in provincial Russia // Anthropology Today, 7(2), 1991. P. 8–13.*

<sup>2</sup> *Andrew Lass. Цит. у Verdery. Nationalism and the Road to Democracy. P. 52.*

мые враги, как, например, в Польше, где антисемитизм — при полном отсутствии евреев! — до сих пор объясняет все беды страны хорошо известным способом. И если бы чужаков и иностранцев с их коварными плутнями не существовало вовсе, их непременно следовало бы выдумать. Впрочем, в конце нашего тысячелетия их и не нужно изобретать: как легко узнаваемый источник скверны и общественной опасности они буквально заволокли наши города; ими кишит мир за пределами наших границ, где они — увы! совершенно недоступные нашему контролю — ненавидят нас и без конца строят против нас козни. В тех странах, которым повезло меньше, они есть (и всегда были) наши соседи, но само наше существование бок о бок с «ними» подрывает теперь нашу абсолютную убежденность в принадлежности к *нашему* народу и *нашей* стране.

Есть ли что-либо общее у подобных этнических/националистических эмоциональных реакций с недавним подъемом «фундаментализма» во многих регионах мира? Считается, что фундаментализм апеллирует прежде всего к «людям, неспособным вынести “случайное”, лишенное твердых опор и понятных ориентиров существование, и потому объединяющимся вокруг тех, кто готов предложить им абсолютное, всеобъемлющее, не ведающее сомнений и не признающее исключений мировоззрение».<sup>1</sup> В нем видят идеологию «непременно “реактивную” и реакционную»; ей, этой идеологии, «совершенно необходима некая сила, тенденция, некий враг, который мог бы восприниматься как потенциальная или уже вполне реальная угроза, разъедающая и разрушающая все самое дорогое для данно-

<sup>1</sup> *Martin E. Marty. Fundamentalism as a social phenomenon // Bulletin, The American Academy of Arts and Sciences, 42/2 November, 1988. P. 15–29.*



го сообщества». «Фундаментальные ценности», на которые опирается фундаментализм, «непременно восходят к более ранней, чаще всего — изначальной, чистой и неиспорченной <...> стадии в священной истории соответствующей группы». Эти ценности «используются в целях демаркации — для того, чтобы четко обозначить границы, привлечь и объединить «своих» и оттолкнуть «чужих». Тем самым они вполне подтверждают старое замечание Георга Зиммеля о том, что «группы и особенно меньшинства, существующие в условиях конфликта, нередко отвергают любые знаки терпимости и попытки сближения, ибо в противном случае непримиримый и “закрытый” характер их борьбы — главное условие ее продолжения — утратил бы свою чистоту и абсолютность <...> Забота о том, чтобы враги — неважно, какие именно — непременно наличествовали, провозглашается внутри некоторых подобных групп даже чем-то вроде политической мудрости: с их помощью сохраняется действительное единство членов группы и сознание группой того, что это единство есть ее жизненный интерес».<sup>1</sup>

Сходство с некоторыми из современных этнических/националистических движений вполне очевидно, особенно в тех случаях, когда последние имеют (или стремятся восстановить) связь со специфической для данной группы религиозной верой. В пример можно привести конфликт армян (христиан) с азербайджанскими турками (мусульманами) или новейшую фазу лихудовского сионизма в Израиле, явно ориентированную на Ветхий Завет и столь отличную от подчеркнута светской и даже антирелигиозной идеологии отцов движения.<sup>2</sup> Весьма вероятно, что наш инопла-

<sup>1</sup> Ibid. P. 20–21.

<sup>2</sup> Не ясно, в какой мере смягчила свою оппозицию сионизму подлинно традиционная иудейская ортодоксия

нетянин увидел бы в этнической нетерпимости, национальных конфликтах, ксенофобии и фундаментализме разные стороны одного и того же явления. Тем не менее, одно чрезвычайно важное отличие здесь существует. Фундаментализм (в любой его религиозной версии) предлагает как индивиду, так и обществу подробную и конкретную программу, пусть даже она заимствуется из священных текстов и традиций, соответствие которых условиям конца XX века далеко не очевидно. Какова же фундаменталистская альтернатива современному миру, погрязшему во зле и пороке? Долго думать не приходится: женщин снова упрячут подальше от чужих глаз (а замужним снова состригут волосы); за воровство станут карать отсечением рук или ног; Коран, Библия или иной авторитетный компендиум вечных истин — в интерпретации тех, кто вправе его истолковывать — станет единственным практическим и моральным руководством для всех и на все случаи жизни. Между тем апелляция к этносу или к языку — даже если на их основе образуются новые государства — не дает никаких ориентиров на будущее. Это всего лишь протест против существующего положения, а точнее, против «других», которые каким-то образом угрожают данной этнически определяемой группе. Ибо в отличие от фундаментализма, который — при всей сектантской узости своих ны-

---

(несомненно, противящаяся основанию в Израиле государства для всех евреев до прихода Мессии). Во всяком случае, тех еврейских поселенцев на оккупированных территориях, которые усиленно выпячивают внешние атрибуты своей религиозности, не следует автоматически отождествлять с другим (и, по-видимому, набирающим силу) крылом еврейского фундаментализма, стремящимся навязать секуляризованному обществу полное и безоговорочное соблюдение религиозных норм.

нешних лозунгов — черпает силу в притязании на абсолютную истину, теоретически доступную для всех, национализм по определению исключает из своей сферы всех, кто не принадлежит к данной «нации», т. е. огромное большинство рода человеческого. Более того, если фундаментализм способен, по крайней мере, до известной степени, опираться на остатки подлинных традиций, обычаев и обрядов, воплощенных и закреплённых в религиозном культе, то национализм как таковой оказывается либо откровенно враждебным реальному, невыдуманному прошлому, либо возникает на его обломках.

Но, с другой стороны, у национализма есть одно преимущество перед фундаментализмом. Сама его неопределенность, отсутствие в нем конкретной положительной программы способны обеспечить национализму всеобщую поддержку в пределах данной группы. Фундаментализм же представляет собой феномен, характерный для меньшинства (за исключением вполне традиционных обществ, пытающихся отразить первый натиск современности). Это обстоятельство может быть замаскировано силой соответствующих режимов, которые навязывают фундаментализм своим народам, не слишком интересуясь их мнением (Иран), либо способностью фундаменталистских меньшинств эффективно использовать стратегически самые важные голоса избирателей в демократических системах (Израиль, США). Сегодня, однако, можно считать вполне очевидным, что «моральное большинство» не является действительным (электоральным) большинством, точно так же как «моральная победа» — традиционный эвфемизм для поражения — отнюдь не есть победа реальная. Тем не менее, этническая пропаганда способна привлечь значительное большинство данной общины — при условии, что лозунги ее остаются достаточно смутными или далекими от реальных проблем. Нет

особых сомнений в том, что большинство евреев, живущих вне Израиля, стоит «за Израиль», большинство армян поддерживает требование передачи Нагорного Карабаха Армении, а большинство фламандцев из всех сил старается не говорить по-французски. Но подобное единство мгновенно рушится, как только «дело нации» начинает отождествляться не с общими местами, но с более конкретными, порождающими раскол проблемами: не с «Израилем» вообще, но с политикой Бегина, Шамира или Шарона; не с Уэльсом вообще, но со статусом валлийского языка; не с «фламандским духом» против всего «французского», но с вполне определенной Фламандской националистической партией.<sup>1</sup> А потому партии и движения с подчеркнуто «националистическими» (чаще всего — сепаратистскими) программами выражают, как правило, интересы меньшинств или отдельных групп, или представляют собой в политическом смысле нечто весьма изменчивое и неустойчивое. Эту нестабильность иллюстрируют резкие колебания в количестве членов и собранных на выборах голосов, характерные в последние двадцать лет для Шотландской, Уэльсской, Квебекской и, без сомнения, других националистических партий. Подобные партии очень любят отождествлять себя — и только себя — с коллективным ощущением отличия от «других», с враждебностью к «ним» и с чувством «воображаемой общности», которые действительно могут быть чем-то свойственным всей данной «нации», — но едва ли они единственные выразители подобного национального согласия.

---

<sup>1</sup> В 1958–1974 гг. три главные общевельгийские партии (в их фламандских вариантах) ни разу не собирали во Фландрии меньше 81,2% голосов. См. A. Zolberg в сб. M. Esmen (ed.). *Ethnic Conflict in the Western World*. Ithaca, 1977. P. 118.

Трудности, страдания, утрата опор и ориентиров, проявляющиеся в этом стремлении к чему-то принадлежать и относиться, а следовательно, в «политике идентичности» (не обязательно национальной), являются теперь движущей силой истории не в бóльшей мере, чем жажда «порядка» — столь же естественная и понятная реакция на иной аспект социального кризиса. И то и другое — скорее симптомы болезни, а не ее диагноз, и уж тем более не лекарство. Эти феномены, однако, порождают ложное представление о нациях и националистических движениях как о грозной и неодолимой силе, готовой вступить вместе с нами в следующее тысячелетие. Мощь ее еще более увеличивается в наших глазах благодаря элементарной семантической иллюзии, превращающей сегодня на официальном уровне в «нации» (и в члены Организации Объединенных Наций) все государства без исключения, — даже те, которые «нациями», безусловно, не являются. А потому все движения, добивающиеся территориальной автономии, склонны видеть в себе творцов «наций», даже если это совершенно не соответствует действительности, а все движения, защищающие региональные, местные и даже групповые интересы против центральной власти и государственной бюрократии, при возможности с великой охотой рядятся в национальные костюмы, предпочтительно — этнолингвистических фасонов. А следовательно, нации и национализм кажутся нам более влиятельными и вездесущими, чем они есть на самом деле. Аруба желает отделиться от остальной голландской Вест-Индии, ибо ей неудобно пребывать в одном ярме с Кюрасао. Отлично — но станет ли она от этого нацией? Станет ли нацией Кюрасао? Или Суринам, который уже стал членом Организации Объединенных Наций? Жители Корнуолла имеют счастливую возможность расписывать свое региональное недовольство в при-

влекательные цвета кельтской традиции, что придает им больше уверенности в себе, — пусть даже это побуждает кое-кого из них заново изобретать язык, на котором вот уже 200 лет никто не говорит, а единственной массовой публичной традицией, которая до сих пор имеет в этом графстве по-настоящему крепкие корни, является методизм братьев Уэсли. Корнуоллу в этом смысле повезло больше, чем скажем, Мерсисайду, которому не на что опереться в защите местных интересов и решении местных проблем (столь же или даже более острых), — если, конечно, не считать память о «Битлз» и славные традиции вечного соперничества двух знаменитых футбольных клубов. (При этом, однако, нужно тщательно избегать всего того, что могло бы напомнить жителям Мерсисайда о разделяющих из цветах — оранжевом и зеленом.) Корнуолл, таким образом, может играть на национальных струнах, а вот Мерсисайд — нет. Но разве истинные причины, порождающие недовольство в обоих районах, в чем-то существенно отличаются?

В действительности нынешний рост сепаратистских и этнических настроений отчасти объясняется тем обстоятельством, что после Второй мировой войны новые государства — вопреки обычному мнению — создавались под действием факторов, не имевших ничего общего с принципом национального самоопределения в духе президента Вильсона, действовавшим после Первой мировой войны. Факторы эти обусловлены тремя причинами: деколонизацией, революционным движением и, разумеется, вмешательством внешних сил.

Процесс деколонизации привел к тому, что независимые государства создавались, как правило, на основе наличных зон колониальной администрации, с сохранением существующих колониальных границ.

Последние же проводились безотносительно к обитателям этих зон, а порой даже без всякого понятия о том, живет ли в них кто-либо вообще, и потому они не имели ровно никакого национального и даже протонационального смысла для местного населения (за исключением образованных и европеизированных туземных меньшинств — как правило, весьма незначительных в количественном отношении). И напротив, там, где подобные территории были слишком малы по своим размерам или разбросаны на обширном пространстве (как во многих колонизированных архипелагах), их легко соединяли или разделяли из соображений местной политики или простого удобства. Отсюда — постоянные и, как правило, тщетные призывы лидеров новых государств бороться с «трайбализмом», «коммунализмом» и прочими силами, на которые возлагалась ответственность за то, что новоиспеченные обитатели республики X упорно не желают чувствовать себя в первую очередь гражданами и патриотами X, а уже потом — членами какой-то иной общности.

Короче говоря, лозунги большинства подобных «наций» и «национальных движений» оказывались на практике противоположными национализму, стремящемуся соединить в одно целое тех, кто, как предполагается, имеет общие этнос, язык, культуру, историческое прошлое и все остальное. В сущности, это был *интернационализм*. Интернационализм лидеров и активистов национально-освободительных движений Третьего мира более очевиден там, где подобные движения играли ведущую роль в освобождении своих стран, нежели в тех странах, которые деколонизировались сверху, ибо происшедший в постколониальную эпоху раскол того, что прежде действовало (или воспринималось) как единое «народное» движение, оказывался здесь более драматическим и болезненным.



Иногда подобное единство терпело крах еще до обретения независимости (Индия), но чаще всего вскоре после победы: трения и конфликты возникали между народами-участниками движения (арабы и берберы в Алжире); между теми, кто активно боролся за независимость, и теми, кто стоял в стороне, и, наконец, между эмансипированным, светским, свободным от групповой узости мировоззрением вождей и более элементарными и традиционными чувствами масс. Наибольшее внимание исследователей привлекают, естественно, те случаи, когда многонациональные и многообщинные государства раскалываются на части или стоят на грани распада (раздел индийского субконтинента в 1947 году, последующий распад Пакистана, тамильский сепаратизм в Шри Ланке), — однако не нужно забывать, что для того мира, где полиэтнические и многообщинные государства являются нормой, указанные случаи представляют собой, в сущности, исключение. И потому слова, сказанные почти тридцать лет тому назад, в целом остаются истинными и сейчас: «Страны, где живут представители многих языковых и культурных групп (каковы большинство африканских и азиатских государств), не распались; те же, которые содержат лишь часть одной языковой группы (например, арабские и североафриканские) не <...> объединились».<sup>1</sup>

Вмешательство внешних сил, если не считать совершенно случайных совпадений, явно не имело националистического характера ни в своих мотивах, ни в результатах. Это настолько очевидно, что примеры здесь не нужны. Таким же — хотя и в меньшей степе-

---

<sup>1</sup> *John H. Kautsky. An essay in the politics of development* в кн.: *John H. Kautsky (ed.). Political Change in Underdeveloped Countries: Nationalism and Communism. New York-London, 1962. P. 35.*

ни — было и влияние фактора социальной революции. Социальные революционеры превосходно понимали силу национализма, а по идеологическим основаниям твердо поддерживали принцип национальной автономии — даже там, где последняя в действительности вовсе не была необходимостью (как, например, среди лужицких славян, чей язык медленно угасает, несмотря на достойные восхищения попытки его оживить, предпринимавшиеся в бывшей ГДР). Характерно, что единственный вид конституционных положений, который власти социалистических стран после 1917 года принимали всерьез, — это формулы, касавшиеся федеративного устройства и автономии. Прочие конституционные гарантии (если таковые вообще имелись) оставались чистым умозрением, тогда как национальная автономия всегда была чем-то вполне реальным. Но поскольку подобные режимы не идентифицируют себя — по крайней мере, в теории — с какой-либо из входящих в состав данного государства национальностей,<sup>1</sup> а особые интересы каждой из них рассматривают как нечто второстепенное по сравнению с более высокой общей целью, то они не являются националистическими.

А значит, обратив печальный взгляд от сегодняшней действительности к недавнему прошлому, мы можем теперь ретроспективно убедиться в том, что за коммунистическими режимами многонациональных государств нужно признать одно крупное достижение: гибельные следствия национализма в своих странах им

---

<sup>1</sup> Целенаправленная политика румынизации, проводившаяся в Румынии при Чаушеску, принадлежит к числу редких исключений. Она порывает с принципами национальной автономии, которые были тщательно разработаны коммунистами, когда они пришли к власти после Второй мировой войны.

удалось ограничить. Югославская революция удерживала народы Югославии от почти неизбежной взаимной резни в течение периода, равного которому по продолжительности в их прежней истории не было, — к несчастью, он уже закончился. Разрушительный потенциал национализма, так долго с успехом блокировавшийся (исключение — годы Второй мировой войны), стал вполне очевиден и на территории бывшего СССР. В самом деле, «дискриминация» и даже «угнетение», против которых протестовали западные защитники некоторых советских национальностей, в конечном счете оказались гораздо менее ужасными,<sup>1</sup> чем последствия краха советской власти. Что касается государственного антисемитизма в СССР, — несомненно, вполне очевидного после образования в 1948 году государства Израиль, — то его нужно оценивать на фоне подъема низового антисемитизма в ту эпоху, когда вновь была разрешена свобода политической пропаганды (в том числе и реакционного толка). В этой связи следует, разумеется, вспомнить и о массовых убийствах евреев, осуществлявшихся в Прибалтике и на Украине *местными элементами* после того, как пришли немцы, — но *до того, как нацисты сами приступили к методическому истреблению евреев.*<sup>2</sup> Можно, пожалуй, утверждать, что нынешняя волна этнических или мини-этнических настроений стала ответом на неэтнические и ненационалистические принципы государственного строительства, явно преобладавшие в XX

---

<sup>1</sup> Сказанное не следует понимать как оправдание массовых перемещений населения, предпринимавшихся по национальным мотивам в ходе войны. Подобные действия не могут быть оправданы ничем, кроме необходимости спасти данные группы от уничтожения.

<sup>2</sup> *Arno Mayer. Why Did the Heavens not Darken? The «Final Solution» in History. New York, 1989. P. 257–262.*

веке на большей части земного шара. Это, однако, не означает, что подобные этнические реакции способны дать сколько-нибудь реальный альтернативный принцип для политического переустройства мира в следующем столетии.

Подтверждением сказанного служит и третье наблюдение. Современная «нация» явным образом постепенно утрачивает весьма важную из своих прежних функций — функцию территориально ограниченной «национальной экономики», представлявшей собой (по крайней мере, в развитых регионах) один из элементов в системе более обширной «мировой экономики». После Второй мировой войны, но особенно — начиная с 1960-х годов, роль «национальных экономик» резко уменьшается или даже вообще ставится под вопрос ввиду коренных перемен в международной организации труда (основными формами которой становятся транснациональные или многонациональные компании самой разной величины) и соответствующего развития международных центров и систем экономической деятельности, которые из практических соображений выводятся за пределы прямого контроля со стороны правительств. Число *межправительственных* международных организаций выросло со 123 в 1951 г. до 280 в 1972 г. и 365 в 1984, а количество международных *неправительственных* организаций — с 832 до 2173 в 1972 г., а за последующие двадцать лет более чем удвоилось, составив 4615.<sup>1</sup> Вероятно, единственной функционирующей «национальной экономикой» в конце XX века остается японская.

Однако на смену прежним (развитым) «национальным экономикам» в качестве основных блоков

---

<sup>1</sup> *David Held. Farewell nation state //Marxism Today, December, 1988. P. 15.*

мировой экономической системы пришли не только более крупные ассоциации или федерации «наций-государств» типа Европейского Экономического Сообщества или совместно контролируемые международные организации, подобные Международному Валютному Фонду, хотя появление последних также служит симптомом того, что мир «национальных экономик» уходит в прошлое. Такие важные элементы системы международных экономических связей, как, например, рынок евродоллара, находятся вне всякого государственного контроля.

Разумеется, все это стало возможным как благодаря технической революции на транспорте и в средствах связи, так и по причине свободного перемещения производительных сил, которое осуществляется в течение долгого периода в обширном регионе, сложившемся после Второй мировой войны. Это также привело к мощной волне международной и межконтинентальной миграции — крупнейшей со времени предшествовавших 1914 году десятилетий. Миграция усилила межобщинные трения (особенно в виде расизма), но при этом сделала мир национальных территорий, «принадлежащих» исключительно коренному населению, которое умеет заставить чужаков «знать свое место», еще менее реалистической перспективой для XXI века, чем она была для века XX. Сегодня мы переживаем период, в котором любопытным образом совмещаются технология конца XX века, принцип свободной торговли XIX столетия и возрождение своего рода промежуточных, межгосударственных центров мировой торговли, характерных для эпохи средневековья. Оживают города-государства, вроде Гонконга и Сингапура; внутри юридически суверенных наций-государств умножаются экстерриториальные «индустриальные зоны», подобные «ганзейскому безмену», на лишенных какой-

либо иной ценности островках появляются оффшорные убежища от налогов, чья единственная функция в том и состоит, чтобы освободить международную экономическую деятельность от контроля со стороны национальных государств. Ни к одному из этих процессов ориентированная на нации и национализм идеология никакого отношения не имеет.

Сказанное не означает, что экономическая роль государств уменьшается или совершенно сходит на нет. Напротив, как в капиталистических, так и в некапиталистических странах она выросла, — и это несмотря на существовавшую в 1980-х годах в обоих лагерях тенденцию поощрять частный и вообще негосударственный сектор. Не говоря уже о государственном планировании и управлении, по-прежнему сохраняющих свою важность даже в тех странах, которые в теории привержены неолиберализму, один лишь вес общественных доходов и расходов в экономике государств, а главное — растущая роль последних в значительном перераспределении национального продукта посредством фискальных механизмов и системы социального обеспечения сделали государство, вероятно, еще более ключевым фактором в жизни современного человека. Национальные экономики, размываемые экономикой транснациональной, существуют рядом и во взаимодействии с нею. А к тому же, если исключить, с одной стороны, самые «замурованные» страны — а сколько их осталось теперь, когда даже Бирма подумывает о возвращении в мир? — и, с другой — Японию, то следует признать, что собственно «национальные» экономики уже не те, какие были прежде. Даже США, которые в 1980-х годах еще казались достаточно мощными, чтобы решать свои экономические проблемы, не обращая внимания на других, в конце этого десятилетия осознали, что «контроль над их экономикой

перешел в значительной степени в руки иностранных инвесторов... которые теперь способны поощрять ее рост или, напротив, содействовать ее сползанию к спаду» (The Wall Street Journal, 5 December, 1988, p. 1). Что же касается всех малых и практически всех средних по величине государств, то их экономики уже явно перестали быть автономными (в той мере, в какой они вообще были таковыми).

Здесь напрашивается еще одно важное соображение. Дело в том, что важнейшие политические конфликты, которые, по всей видимости, и будут определять судьбы нынешнего мира, имеют мало общего с проблемами наций-государств, ибо в течение последних пятидесяти лет не существовало ничего похожего на европейскую систему государств образца XIX века.

Послевоенный мир был в политическом смысле биполярным: он строился вокруг двух сверхдержав, которые можно рассматривать в качестве громадных по величине наций, — но, безусловно, отнюдь не в качестве элементов международного порядка, аналогичного тому, какой существовал в XIX веке или до 1939 года. Самое большее, что могли сделать прочие государства, — как союзники одной из сверхдержав, так и не входившие с ними в союз, — это выступить по отношению к сверхдержавам в роли сдерживающего фактора; впрочем, у нас нет особых оснований полагать, что они в этом смысле многого добились. Кроме того, центральный конфликт эпохи имел идеологическую природу (это справедливо в отношении США, но отчасти и догорбачевского СССР), поскольку триумф «истинной» идеологии был равнозначен господству соответствующей сверхдержавы. Революция и контрреволюция — вот главная тема мировой политики после 1945 года; национальные же вопросы лишь до известной степени ее оттеняли или затушевывали.



Эта модель, как принято считать, разрушилась в 1989 году, когда СССР перестал быть сверхдержавой; впрочем, модель мира, расколотого на две части Октябрьской революцией, перестала соответствовать реалиям конца XX века еще раньше. Непосредственным результатом подобного развития событий стало то, что мир лишился международного системообразующего или упорядочивающего принципа, хотя последняя сверхдержава и попыталась присвоить себе функции единственного мирового полицейского, — роль, которая, по всей видимости, превышает экономические и военные возможности и этого, и всякого иного отдельного государства.

Таким образом, в настоящий момент никакой системы не существует вовсе. Разделение же по этнолингвистическому признаку совершенно не способно стать основой для сколько-нибудь устойчивой, упорядоченной и хотя бы элементарно предсказуемой мировой системы, — чтобы убедиться в этом сейчас (1992), достаточно бросить беглый взгляд на обширный регион, простирающийся от Вены и Триеста до Владивостока. Все карты для одной пятой части суши стали ненадежными и условными. Единственное, что можно с достоверностью утверждать о ее «картографическом» будущем, так это то, что зависит оно теперь от небольшой группы главных игроков за пределами данного региона: Германии, Турции, Ирана, Китая, Японии и — несколько далее — США.<sup>1</sup> (Внутри его находится лишь Россия, которая, вероятно, сохранится в качестве более или менее крупного политического об-

---

<sup>1</sup> К моменту написания этих строк Европейское Сообщество как таковое еще не продемонстрировало способности к совместным действиям в области международной дипломатии, а ООН превратилась в придаток США. Разумеется, подобная ситуация может вскоре измениться.

разования.) Главная же партия принадлежит указанным странам именно потому, что их пока не подрывает изнутри сепаратистское движение.

Новая «Европа наций», а тем более — «мир наций» сами по себе не способны создать даже сколько-нибудь устойчивый «ансамбль» независимых и суверенных государств. С военной точки зрения независимость малых государств зависит от международного порядка, который — каким бы ни была его внутренняя природа — защищает их от более сильных хищников-соседей; события на Ближнем Востоке ясно это доказали тотчас же после нарушения баланса сверхдержав. И пока не возникнет новая международная система, по крайней мере треть ныне существующих государств (т. е. страны с населением не более 2,5 млн. чел.) не будет иметь эффективных гарантий независимости. Создание же нескольких новых малых государств лишь увеличит число нестабильных политических образований. Когда же этот новый международный порядок сформируется, реальная роль малых и слабых будет в нем столь же незначительна, как и влияние Ольденбурга или Мекленбург-Шверина на политику Германского союза в прошлом веке. В экономическом же отношении даже гораздо более мощные государства зависят теперь, как мы убедились выше, от глобальной экономики, которая определяет их внутреннее состояние и находится вне их контроля. Латвийская или баскская «национальная» экономика, взятая в отрыве от какой-то более крупной системы, частью которой она является, есть такой же абсурд, как и «парижская» экономика в отрыве от Франции в целом.

Самое большее, что можно утверждать с определенностью, это то, что малые государства теперь столь же жизнеспособны в экономическом отношении, как и государства более крупные, поскольку «национальная экономика» отходит на второй план перед транс-

национальной. Можно также предположить, что «регионы» представляют собой в наше время более рациональный элемент крупных экономических структур, подобных Европейскому Сообществу, нежели исторические государства, являющиеся его официальными членами. Оба эти тезиса, на мой взгляд, справедливы, однако логической связи между ними не существует. Западноевропейские сепаратистские националистические движения (например, шотландское, уэльское, баскское или каталонское) могут теперь в качестве представителей «регионов» апеллировать непосредственно к Брюсселю, пренебрегая собственными национальными правительствами. И все же у нас нет оснований полагать, что малое государство *ipso facto* образует экономический регион в большей степени, нежели государство крупное (например, Шотландия по сравнению с Англией); и обратно, у нас нет причин думать, будто экономический регион должен *ipso facto* совпадать с потенциальным политическим образованием, созданным на основе этнолингвистических или исторических критериев.<sup>1</sup> А кроме того, если сепаратистские движения малых народов более всего мечтают о том, чтобы утвердиться в качестве элементов крупных наднациональных политико-экономических систем (в данном случае — Европейского Сообщества), то они по сути дела отказываются от классической цели подобных движений — создания независимого суверенного национального государства.

Но против *Kleinstaaterei*, по крайней мере в ее этнолингвистическом варианте, свидетельствует сегодня не только неспособность этой системы разрешить

---

<sup>1</sup> Это явствует из: *Sydney Pollard. Peaceful Conquest: The Industrialization of Europe 1760–1970. Oxford, 1981*, где заглавная тема рассматривается как «по существу проблема отдельных регионов в общеевропейском контексте» (р. VII).

реальные проблемы современности, но и то обстоятельство, что, получив возможность проводить свою политику, она их еще более усугубляет. Культурный плюрализм и свобода в наше время почти наверняка надежнее гарантированы в крупных государствах, сознающих и признающих свой многонациональный и многокультурный характер, нежели в мелких странах, которые стремятся к идеалу этнолингвистической и культурной однородности. И вовсе не удивительно, что самым первым требованием словацкого национализма стало в 1990 г. следующее: «Словацкий должен стать единственным государственным языком, а 600 000 этнических венгров нужно заставить использовать в общении с властями только словацкий и никакой другой».<sup>1</sup> Что касается алжирского националистического закона 1990 г., который «превращает арабский в государственный язык, предусматривая высокие штрафы за употребление в официальной сфере любого иного языка», то в Алжире его воспримут отнюдь не в качестве шага к освобождению от французского влияния, но как выпад против третьей части алжирцев, которая говорит на берберском языке.<sup>2</sup> Справедливо замечено, что:

«Современная версия существовавшего до XIX столетия мира — мира искренних и наивных местных привязанностей — звучит очень мило, однако нынешние разрушители национальных государств клонят, кажется, совсем в другую сторону <...> Они отнюдь не стремятся к созданию таких государств, которые состояли бы из терпимых и достаточно открытых друг другу небольших районов, но исходят из крайне огра-

<sup>1</sup> *Henry Kamm*. Language bill weighed as Slovak separatists rally // *New York Times*, 25 October, 1990.

<sup>2</sup> *Algerians hit at language ban* // *Financial Times*, 28 December, 1990.

ниченного представления о том, что сохранить свою целостность народ может лишь благодаря полному этническому, религиозному или языковому единообразию».<sup>1</sup>

Курс на подобным образом понятую «монолитность» уже приводит к возникновению автономистских и сепаратистских настроений среди меньшинств в такого рода националистических государственных образованиях, а также к тому, что лучше всего называть не «балканизацией», а скорее «ливанизацией». Русские и турки хотят отделиться от Молдавии; свою независимость от националистической Хорватии объявляют сербы; негрузинские кавказские народности отвергают господство в Грузии грузин, — а, с другой стороны, в Вильнюсе слышны голоса ультранационалистов, которые сомневаются в том, что вождь, коего фамилия явно выдает немецкие корни, способен как следует уразуметь самые глубокие вековые чаяния литовцев. В нашем мире, где примерно из 180 государств, вероятно, немногим более полудюжины могли бы не без оснований претендовать на то, что их граждане принадлежат к одной этнической или языковой группе, национализм, основанный на стремлении к подобной однородности, не только нежелателен, но в значительной степени саморазрушителен.

Короче говоря, лозунг самоопределения вплоть до права на выход из состава государства, в его классической версии Вильсона–Ленина, не способен послужить *всеобщим* принципом для решения реальных проблем XXI века. Скорее, в нем следует видеть симптом кризиса понятия «нации-государства» образца прошлого века; понятия, зажатого в тиски между «супранационализмом» и «инфранационализмом» (если вос-

---

<sup>1</sup> The state of the nation state // Economist, 22 December 1990–14 January 1991. P. 78.

пользоваться терминологией журнала *The Economist*).<sup>1</sup> Но кризис этот затронул не только крупные, но и малые нации-государства, как новые, так и старые.

А значит, сомнению подлежит отнюдь не сила собственного людям стремления к самоидентификации с некоей общностью, вариантом которой — но, как показывает исламский мир, не единственным — является национальность. Мы также не отрицаем и энергию противодействия всеобщей централизации и бюрократизации государства, экономики и культуры, т. е. их удаленности от конкретного человека и недоступности для контроля снизу. Нет у нас причин сомневаться и в том, что практически любое проявление местного и даже группового недовольства, способное встать под цветные знамена, находит для себя весьма привлекательным национальное обоснование.<sup>2</sup> Скептики сомневаются в другом, а именно: действительно ли стремление к созданию однородных наций-государств так уже неодолимо, как это принято считать; и в самом ли деле теоретическая концепция и практическая программа подобного государства окажутся вполне пригодными для XXI века? Ведь даже в тех регионах, где можно было ожидать весьма мощных классических движений за образование самостоятельных наций-государств, с помощью эффективного пе-

<sup>1</sup> Ibid. P. 73–78.

<sup>2</sup> «Классовый “грим” воинствующих лидеров <...> Окситанского (провансальского) движения свидетельствует о том, что причины подобного недовольства заключаются преимущественно не в региональной неравномерности экономического развития, а в тех трудностях, которые испытывают “белые воротнички” и представители интеллигентных профессий <...> по всей Франции». William R. Beer. The social class of ethnic activists in contemporary France в кн.: Milton J. Esman (ed.). Ethnic Conflict in the Western World. Ithaca, 1977. P. 158.

пераспределения функций и разумной регионализации подобные тенденции удалось предотвратить или даже остановить. В Северной и Южной Америке, во всяком случае, к югу от Канады, после Гражданской войны в США сепаратизм явно пошел на убыль. И весьма знаменательно, что в Западной Европе сепаратистские движения менее всего характерны для государств, потерпевших поражение во Второй мировой войне и вынужденных под внешним давлением — ставшим, очевидно, реакцией на сверхцентрализацию фашистской эпохи, — пойти на особенно существенное перераспределение власти от центра к регионам; хотя, если рассуждать формально, Бавария и Сицилия представляют собой, по крайней мере, столь же благоприятную почву для сепаратизма, как и Шотландия или франкоязычные районы Бернской Юры. В действительности же, возникшее на Сицилии после 1943 года сепаратистское движение оказалось весьма недолговечным, пусть даже иные авторы до сих пор оплакивают его конец как «гибель сицилийской нации».<sup>1</sup> Смертельный удар ему нанес закон 1946 г. о региональной автономии.

Таким образом, современный национализм служит отражением того лишь наполовину осознанного кризиса, который переживают ныне теория и практика национализма Вильсона—Ленина. Как мы убедились, даже весьма многие из старых, мощных и непримиримых националистических движений (например, баскское и шотландское) испытывают сомнения относительно реального смысла государственной независимости, пусть даже они по-прежнему ставят своей целью полное отделение от тех государств, в состав которых

---

<sup>1</sup> *Marcello Cimino. Fine di una nazione. Palermo, 1977; G. C. Marino. Storia del separatismo siciliano 1943–1947. Rome, 1979.*



входят сейчас соответствующие территории. Подобные колебания превосходно иллюстрирует старый и до сих пор не получивший адекватного ответа «ирландский вопрос». Во-первых, независимая Ирландская Республика, настаивая на своей полной политической самостоятельности по отношению к Британии — резко подчеркнутой нейтралитетом Ирландии в ходе Второй мировой войны, — на практике нисколько не возражает против обширных связей с Соединенным Королевством. И для ирландского национализма не составило особого труда приспособиться к весьма любопытному положению вещей, при котором граждане Ирландии, находясь на британской территории, пользуются всеми правами граждан Соединенного Королевства, как если бы их страна никогда от него и не отделялась, т. е. *de facto* обладают двойным гражданством. Во-вторых, быстро угасает прежняя вера в лозунг единой независимой Ирландии. И лондонское, и дублинское правительства, вероятно, согласились бы с тем, что единая Ирландия есть нечто (относительно) приемлемое. Однако весьма немногие — даже в Ирландской Республике — увидели бы в подобном объединении что-либо иное, кроме наименее неудачного из имеющихся в наличии плохих вариантов. С другой стороны, если бы Ольстер должен был в подобной ситуации объявить себя независимым как от Ирландии, так и от Великобритании, то большинство ольстерских протестантов также сочло бы это окончательное отречение от папы меньшим злом. В общем, можно с уверенностью утверждать, что лишь кучка фанатиков сумела бы разглядеть в национальном/общинном самоопределении сколько-нибудь существенные преимущества по сравнению с нынешним — крайне неудовлетворительным — положением вещей.

Кризис национального сознания, обусловленный сходными причинами, мы можем обнаружить и в на-

циях давно сложившихся. Это сознание — в том виде, в каком оно возникло в Европе прошлого века, — располагалось где-то внутри четырехугольника, вершинами которого были Народ, Государство, Нация и Правительство. В теории все четыре элемента совпадали. Как выразился Гитлер, Германия — это «*ein Volk, ein Reich, ein Fuehrer*», т. е. один народ/нация, одно государство, одно правительство (*Volk* означает здесь и народ, и нацию). В реальности же понятия «государства» и «правительства» определялись, как правило, политическими критериями, характерными для той эпохи, у истоков которой стояли великие революции XVIII века, тогда как понятия «народа» и «нации» определялись главным образом прежними, до-политическими критериями, служившими формированию воображаемых общностей. Политика же постоянно стремилась присвоить эти до-политические элементы и преобразовать их ради собственных целей. Органическая связь всех четырех элементов принималась без доказательств, — теперь, однако, в крупных исторических или давно сформировавшихся нациях-государствах это уже стало невозможным.

Иллюстрацией сказанного могут послужить результаты опроса общественного мнения, проведенного в 1972 г. в ФРГ.<sup>1</sup> Данный случай можно считать, вероятно, предельным, поскольку от абсолютного (в теории) всегерманского политического единства при Гитлере Германия перешла к ситуации одновременного существования по крайней мере двух государств, каждое из которых могло считать себя всей немецкой нацией или ее частью. Но именно это положение вещей и позволяет нам обнаружить сомнения и колебания в

---

<sup>1</sup> Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen, Materialien zum Bericht zur Lage der Nation, 3 Bden. Bonn, 1971, 1972, 1974, III. S. 107–113, esp. S. 112.

умах большинства граждан, размышляющих о том, что такое «нация».

Первое, что явствует из опроса, это значительная степень неуверенности. 83% западных немцев сочли, что им хорошо известно, что такое капитализм; 78% не испытывали затруднений относительно социализма, но лишь 71% рискнул высказаться по поводу «государства», а 34% оказались совершенно неспособны как-либо определить или описать «нацию». Среди наименее образованных слоев неуверенности было еще больше. 90% получивших среднее образование немцев сочли себя осведомленными по поводу смысла всех четырех терминов, но лишь 54% (не имевших профессиональной подготовки, т. е. неквалифицированных) немцев, окончивших только начальную школу, ответили, что им понятно значение слова «государство», и лишь 47% считали, что имеют представление о «нации». Причина этих колебаний в том и состоит, что прежняя связь «народа», «нации» и «государства» распалась.

На вопрос: «Нация и государство — это одно и то же, или мы говорим здесь о двух разных вещах?», 43% западных немцев — 81% среди лиц с высоким уровнем образования — дали вполне очевидный (ввиду одновременного существования двух немецких государств) ответ: это не одно и то же. Однако 35% респондентов сочли, что нация и государство неразделимы, а отсюда 31% рабочих (39% лиц моложе 40 лет) вполне логично заключил, что ГДР, являясь особым государством, образует сейчас особую нацию. Отметим также, что группой, тверже других убежденной в тождестве нации и государства, оказались квалифицированные рабочие (42%); а лица, голосующие за социал-демократов, тверже других верили в то, что Германия представляет собой одну нацию, разделен-

ную на два государства (52%); среди христианско-демократического электората подобного мнения держались 36%. Можно сказать, что через сто лет после объединения Германии (1871) традиционное, образца XIX века понятие «нации» прочнее всего сохранилось в среде рабочего класса.

Все это наводит на следующую мысль: идея «нации», когда ее, словно моллюска, извлекают из на первый взгляд твердой раковины «нации-государства», предстает перед нами в чрезвычайно смутном и неуловимом облике. Это, конечно, не означает, будто немцы к востоку и западу от Эльбы — даже до воссоединения обоих государств — не воспринимали себя как «немцев», хотя большинство австрийцев после 1945 года уже, вероятно, не считало себя частью более крупной германской нации (как это было им свойственно между 1918 и 1945 гг.), а немецкоязычные швейцарцы, несомненно, активно отвергали всякую мысль о своем тождестве с немцами. Западные и восточные немцы испытывали колебания (и вполне обоснованные) относительно политических и иных импликаций самой этой «немецкости». И далеко не ясно, положило ли конец подобной неуверенности образование в 1990 году единого немецкого государства.

Есть основания подозревать, что и в других исторических «нациях-государствах» аналогичные вопросы привели бы к столь же путаным и неопределенным ответам. Какова, к примеру, связь между «французскостью» и *francophonie* (до недавнего времени этот термин даже не существовал — впервые он зафиксирован в 1959 г.)? И генерал де Голль — хотел он этого или нет — вступил в прямое противоречие с традиционным лингвистическим определением французской нации, когда обратился к жителям Квебека как к «французам за рубежом». В свою очередь, теоретики

квебекского национализма «более или менее решительно отказались от понятия *родина (la patrie)* и впутались в нескончаемые споры относительно недостатков и преимуществ таких терминов, как *нация, народ, общество и государство*».<sup>1</sup> Вплоть до 1960-х годов быть «британцем» с точки зрения юридической и административной попросту означало появиться на свет от родителей-британцев или на британской территории либо вступить в брак с британским гражданином, или натурализоваться. Сегодня этот вопрос далек от прежней простоты.

Все сказанное не означает, будто национализму не принадлежит сейчас видное место в мировой политике или что по сравнению с прежними временами его заметно поубавилось. Я говорю о другом: несмотря на то, что национализм, бесспорно, вышел на первый план, *исторически* он стал менее важным. Он уже не является, так сказать, глобальной перспективой развития или всеобщей политической программой, — чем он, вероятно, действительно был в XIX—начале XX вв. Теперь он, самое большее, лишь дополнительный усложняющий фактор или катализатор для иного рода процессов. Историю европоцентристского мира XIX века можно не без веских оснований представить в виде истории «становления наций», как это и сделал в свое время Уолтер Бэйджхот. В подобном свете мы и сей-

---

<sup>1</sup> *Dion. The mystery of Quebec. P. 302.* Голлистское понимание Квебека как французского, представленное в заявлении французского правительства от 31 июля 1967 г., состояло в том, что Франция не может «оставаться безучастной к настоящей и будущей судьбе людей, которые являются потомками ее собственного народа и сохраняют изумительную верность своей исторической родине; или считать Канаду иностранным государством в том же смысле, что и остальные государства мира» (Canadian News Facts, vol. I, no. 15, 14 August 1967), p. 114.

час изображаем историю крупнейших государств Европы после 1870 г. (см. напр., название работы Юджина Вебера *Крестьяне становятся французами*).<sup>1</sup> Но неужели кто-нибудь опишет подобным образом мировую историю конца XX—начала XXI века? — В высшей степени маловероятно.

Напротив, ее неизбежно придется писать как историю такого мира, который уже не может быть удержан в жестких рамках «наций» и «наций-государств» в их прежнем толковании — политическом, экономическом, культурном и даже лингвистическом. История эта будет в значительной степени супранациональной и инфранациональной, но даже инфранациональность — независимо от того, рядится ли она в одежды какого-либо мини-национализма или нет — станет симптомом упадка старых наций-государств в качестве эффективно действующих структур. Ведя речь о «нациях-государствах», «нациях» или этнических/языковых группах, история прежде всего покажет, как они отступают на второй план перед лицом нового, супранационального преобразования мира, сопротивляются ему, поглощаются им или адаптируются к нему. Нации и национализм никуда из этой истории не исчезнут — но только играть они в ней будут второстепенные, а часто и совершенно незначительные роли. Это не значит, что в системе образования и в культурной жизни отдельных, в особенности небольших стран их национальная история и культура не будут занимать весьма важное место — их роль, вероятно, даже возрастет. Вполне вероятно, что они смогут пережить расцвет в рамках гораздо более широкой супранациональной системы, как процветает, например, в наши дни каталонская культура, — при

---

<sup>1</sup> *Eugen Weber. Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914. Stanford, 1976.*

этом, однако, молчаливо подразумевается, что общение каталонцев с остальным миром будет осуществляться на испанском и на английском, поскольку весьма немногие из людей, живущих вне каталонии, окажутся способными говорить с каталонцами на своем языке.<sup>1</sup>

«Нация» и «национализм», как я уже заметил выше, больше не являются терминами, в которых можно адекватно описать, а тем более глубоко проанализировать политические образования и даже чувства и настроения, которые в свое время описывались с их помощью. И я не исключаю возможности того, что с закатом нации-государства и национализм пойдет на убыль; и тогда с ясностью обнаружится, что быть «англичанином», «ирландцем», «евреем» или вмещать в себе все эти характеристики — это лишь один из многих способов самоидентификации, к которым прибегают люди в зависимости от конкретных обстоятельств.<sup>2</sup> Было бы нелепо утверждать, что день этот уже близок, — я, однако, надеюсь, что сейчас о нем уже можно говорить как по крайней мере о реальной перспективе. В конце концов, сам факт, что историки начинают делать известные успехи в иссле-

<sup>1</sup> В 1970-х гг. две трети каталонцев, оказавшись за границей, считали себя «испанцами». *M. Garcia Ferrando. Regionalismo y autónomias en España. Madrid, 1982, Table II.*

<sup>2</sup> К числу немногих теоретиков, разделяющих, по-видимому, мои сомнения относительно силы и влияния современного национализма, принадлежит Джон Брейли (*John Breuilly*), автор работы *Nationalism and the State*. Он критикует как Гельнера, так и Андерсона за свойственное им допущение, будто «самоочевидные успехи национализма свидетельствуют о том, что он чрезвычайно прочно укоренен в сознании и поведении человека» (*Reflections on nationalism // Philosophy and Social Science, 15/1, March 1985. P. 73*).



довании и анализе проблем наций и национализма, наводит на мысль, что в этом — как и во многих других случаях — пик изучаемого ими феномена уже позади. Сова Минервы, несущая мудрость, вылетает, по слову Гегеля, в сумерки, и то, что теперь она кружит над нациями и национализмом, есть добрый знак.



## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Введение .....</b>	<b>5</b>
<b>Глава I.</b>	
<b>Нация как новое историческое явление .....</b>	<b>25</b>
<b>Глава II.</b>	
<b>Народный протонационализм .....</b>	<b>74</b>
<b>Глава III.</b>	
<b>Позиция правительств .....</b>	<b>128</b>
<b>Глава IV.</b>	
<b>Трансформация национализма     в 1870–1918 гг. ....</b>	<b>161</b>
<b>Глава V.</b>	
<b>Пик национализма, 1918–1950 .....</b>	<b>208</b>
<b>Глава VI.</b>	
<b>Национализм во второй половине     двадцатого века .....</b>	<b>258</b>

**Директор издательства:**

*Абышко О. Л.*

**Главный редактор:**

*Савкин И. А.*

**Художественный редактор:**

*Грызлова О. А.*

**Редакторы:**

*Баталова Н. М.*

*Брылева Т. А.*

**Корректор:**

*Румянцева Л. Ю.*

**Оригинал-макет:**

*Ванчурина Е. Н.*

**Эрик Хобсбаум «Нации и национализм после  
1780 года» (перевод с английского А. А. Васильева)**

**ЛР № 064366 от 26. 12. 1995 г.**

**Издательство «Алетейя»:**

**Санкт-Петербург, ул. 2-ая Советская, д. 27**

**Телефон: (812) 277-2119**

**Факс: (812) 277-5319**

**Сдано в набор 10.08.1997. Подписано в печать 15.09.1998.**

**Формат 70×100/32. Объем 10 п.л. Тираж 1000 экз.**

**Заказ № 3790**

**Отпечатано в Санкт-Петербургской типографии «Наука» РАН:  
199034, Санкт-Петербург, ВО 9 линия, д. 12**

**Printed in Russia**